ОТЕЦ АРСЕНИЙ



ОТЕЦ АРСЕНИЙ



Второе издание

Москва
Православный Свято-Тихоновский
Богословский Институт
Братство во Имя Всемилостивого Спаса
1994

ББК 86.372
О 82

О 82 **Отец Арсений.** 2-е изд., доп. — М: Издательство Свято-Тихоновского Богословского института, 1994. — 288 с.; илл.

ISBN 5 - 7429 - 0004 - X

"Отец Арсений" — это принадлежащий неизвестному составителю сборник литературно обработанных свидетельств очевидцев о жизни современного исповедника — их духовного отца, а также их рассказы о своей жизни. Еще в самиздатской машинописи эта замечательная книга широко распространилась и произвела сильнейшее воздействие на большой круг читателей. Она явила образ святого, внутренне тождественный православной святости всех времен, но имеющего неповторимые черты подвижника нового времени. Второе издание этой книги посвящается памяти новых мучеников и исповедников Российских, подвизавшихся в одном духе с отцом Арсением. В книге приводятся фотографии некоторых из них.

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Немногочисленные жизнеописания подвижников и мучеников XX века хотя и являют торжество любви над злом и смертью, столь характерное для древних житий святых мучеников, но редко в такой степени, как книга "Отец Арсений", принадлежащая неизвестному составителю.

"Отец Арсений" — это сборник литературно обработанных свидетельств очевидцев о жизни современного святого-преподобного, исповедника — их духовного отца, а также их рассказы о своей жизни.

Подлинность описываемых событий (отчасти скрытых измененными именами и названиями) не вызывает сомнений. Кроме подтверждений еще живых учеников отца Арсения есть и внутренняя гарантия этой подлинности — сердце читателя радостно верит всему описываемому, так как не верить невозможно — перед нами истина в ее неподдельной красоте.

Еще в самиздатской машинописи замечательная книга широко распространилась и произвела сильнейшее воздействие на большой круг читателей. Она явила образ святого нашего времени, внутренне тождественный православной святости всех времен, но имеющего неповторимые черты подвижника нового времени. В чем же особенность этого недавнего подвига? Прежде всего — в духе времени. Первые христианские мученики ждали скорого конца света, но они духовно родились в молодой церкви, живущей чистой, духовной жизнью, еще не знавшей пресловутых "исторических грехов". Если тогда из двенадцати учеников один стал предателем, то гонения XX века, образно говоря, часто только одного из двенадцати оставляли верным. Страшная атмосфера общего отречения, измены, предательства, непредставимый масштаб духовной и исторической катастрофы, миллионы людей, плененных ложью и вовлеченных в сатанинскую расправу над Христовой Церковью, над своим народом и своей страной, — все это повергало в уныние и отчаяние, производило ощущение обреченности, безнадежности, оставленности. Потеряв веру в Бога, прежде великая, православная Россия, стала беззащитным объектом для осуществления сатанинского плана небывалого в истории геноцида. Гражданская и Отечественная войны, десятки миллионов жертв искусственно создаваемого голода, десятки миллионов невинных, мучительно уничтожаемых в бесчисленных лагерях и тюрьмах. Прежде православный народ спаивается, приучается к обману, воровству и лжи как способу жизни, к насилию и разбою, к блуду и разврату, к систематическому уничтожению собственных детей. В дьявольском помрачении, увидев друг в друге врагов и ставши врагами, люди отдали свои силы и жизни на вековую бессмысленную войну, жестоко, безжалостно мучая друг друга. Они стали неспособны организовать свою народную жизнь, разучились трудиться, разучились любить, жить семейной жизнью, рожать и воспитывать детей.

Зло в его сущности нельзя победить злом, как огонь нельзя потушить огнем. Только крестная Христова любовь, в своем самоотвержении с верой и смирением претерпевающая любые муки и даже смерть, способна победить зло и вырвать у него уже погибающую, ослепленную и озлобленную человеческую душу. Нет сомнения в том, что Россия и Русская Православная Церковь живет и молится, кается и духовно обновляется только потому, что великое воинство святых мучеников, движимых любовию ко Христу, к Церкви, к заблудшему русскому народу, противостало злу, отдавая себя на крест за веру Христову. Не будь их, давно бы уже не осталось у нас камня на камне. Но сегодня сама жизнь Русской Православной Церкви со всей очевидностью являет нам чудесные плоды подвига своих новых святых мучеников. Тем не менее дух этого мученического подвига очень часто остается непонятым и писателями, и читателями. Вероятно, потому, что в жизни этот дух им не встречался. Часто тех, кто претендует теперь быть преемниками и почитателями святых мучеников, на самом деле пасут уже совсем другие пастыри. Воспоминания оставили лишь немногие свидетели, тогда, когда сами подвижники давно уже переселились в вечные кровы.

В отличие от большей части лагерной литературы, производящей сильное, но тяжелое впечатление, "Отец Арсений" приобщает нас к победному, светлому духу Христовой любви, которая не помрачается окружающим адом, но сияет еще ярче, еще неугасимей.

Всякий, кого сподобил Господь лично общаться с исповедниками того времени, сразу узнает в отце Арсении образ святого старца, исполненного любви, смирения, кротости, христианского трезвения и рассуждения, пребывающего в молитве, давно вручившего себя всецело воле Божией, наделенного благодатными дарами прозорливости и чудотворений. Немногочисленный и потаенный, но все же целый сонм таких старцев-исповедников еще недавно являл собою исполнение древних пророчеств о святых последних времен. Именно через них и осуществилось духовное преемство, соединяющее нас сегодня с полнотой Русской Православной Церкви, с ее святыми.

Рукопись публикуется по существу без редакторской правки ради сохранения ее подлинности. Просим всех, кто знает что-либо о героях этой книги или о других подвижниках XX века, поделиться с нами своими сведениями.

Протоиерей Владимир ВОРОБЬЕВ

*ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ
КНИГИ "ОТЕЦ АРСЕНИЙ"
ПОСВЯЩЕНО ПАМЯТИ НОВЫХ МУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ,
ПОДВИЗАВШИХСЯ В ОДНОМ ДУХЕ
С ОТЦОМ АРСЕНИЕМ*

“Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов” (Гал. 6, 2).

Можно умереть, но остаться жить для людей,
и можно остаться жить, но быть погибшим.

Часть первая

ЛАГЕРЬ



ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ

В последние годы появилось много воспоминаний о жизни политических заключенных во времена "культа личности".

Пишут ученые, военные, писатели, старые большевики, интеллигенты самых разных профессий, рабочие, колхозники. Пишут о своей жизни в лагерях и тюрьмах, о допросах, но никто еще не рассказал нам о миллионах верующих, погибших в этих лагерях, тюрьмах или переживших небывалые страдания на допросах.

Страдали и умирали они за веру свою, за то, что не отреклись от Бога, и, умирая, славили Его, и Он не оставлял их.

"Положить печать на уста своя" — значит предать забвению страдания, муки, подвижнический труд и смерть многих миллионов мучеников, пострадавших Бога ради и нас, живущих на земле.

Не забыть, а рассказать должны мы об этих страдальцах, это наш долг перед Богом и людьми.

Лучшие люди Русской Православной Церкви погибли в это трудное время: иереи и епископы, старцы, монахи и просто глубоко верующие люди, в которых горел неугасимый огонь веры, по силе своей равный, а иногда и превосходящий силу веры древних христиан-мучеников.

В этих воспоминаниях предстает пред нами один, только один из многочисленных подвижников. А сколько было их, погибших за нас!

Двадцать веков копило человечество многочисленные знания, христианство принесло Свет и Жизнь людям, но в двадцатом веке эти люди отобрали из многочисленного арсенала знаний только зло и, помножив на достижения науки, доставили миллионам людей величайшие и длительнейшие страдания и мучительную смерть. Господь привел меня пройти малую часть лагерного пути с отцом Арсением, но и этого достаточно, чтобы обрести веру, стать его духовным сыном, пойти путем его, понять и увидеть его глубочайшую любовь к Богу и людям и познать — что такое настоящий христианин.

Прошлое не должно быть утеряно, на прошлом, как на фундаменте, утверждается новое, поэтому собрать воедино часть жизненного пути о. Арсения я посчитал своим долгом.

Для того, чтобы собрать драгоценные сведения об о. Арсении, мне пришлось обратиться к памяти его духовных детей, письмам, когда-то написанным им друзьям и духовным детям, и воспоминаниям, написанным людьми, знавшими его.

Духовные дети о. Арсения были многочисленны, и там, где поселял его Господь, появлялись они вокруг него, был ли это город, где он, ученый-искусствовед, принял иерейство и организовал в полузабытом приходе общину, деревня, куда его

забросила ссылка, или затерянный в бескрайних лесах Севера маленький городок, или страшный лагерь "особого режима".

Интеллигенция, рабочие, крестьяне, уголовники, политические заключенные — старые большевики, работники органов, соприкасаясь с ним, становились его духовными детьми, друзьями, верующими и шли эа ним.

Да! Многие, узнав его, шли за ним.

Каждый, знавший о. Арсения, рассказывал мне, что он видел и знал о нем.

Встречаясь с о. Арсением, я старался узнать о его жизни, но, хотя он вел со мною много бесед, о себе рассказывал мало. Кое-что мне удалось записать еще при его жизни, и, давая ему на просмотр эаписки, я спрашивал: "Так ли это было?" — и он всегда говорил мне: "Да, было", — но обязательно добавлял: "Господь всех нас водил по многим дорогам, и у каждого человека, если внимательно присмотреться к его жизни, есть много достойного внимания и описания. Моя жизнь, как и каждого живущего, всегда переплеталась или шла рядом с жизнью других людей. Много было всего, но все и всегда было от Господа".

Часто по нескольку раз он исправлял неточности в написанном. Для удобства изложения воспоминаний некоторые события сдвинуты мною во времени, переменены названия мест и имен почти всех участников, так как многие еще живы, а время переменчиво.

Труден был поиск, но в результате появились эти воспоминания, письма и записки, хотя и несовершенные по своему изложению, но воссоздавшие образ и жизнь о. Арсения.

Начиная свою работу, я не представлял вначале, какой соберу материал и объем книги, но теперь отчетливо вижу, что будет три части: "Лагерь" — первая часть, и Вы прочтете ее сейчас, вторая часть — "Путь", в которую войдут отдельные письма, воспоминания, рассказы людей, знавших и знающих о. Арсения. Вторая часть написана, но требует доработки, а для третьей части собран многочисленный материал, над которым надо еще много работать. Молю Господа помочь мне.

Было бы самонадеянным говорить: "Я написал, я собрал". Писали, собирали, посылали мне свои записки многие и многие десятки человек, знающие и любящие о. Арсения, и это им принадлежит написанное. Я лишь пытался, как и все, кого возрастил и поставил на путь веры о. Арсений, трудом своим отдать малую часть неоплатного долга человеку, спасшему меня и давшему мне новую жизнь.

Прочтя записки, помяните о здравии раба Александра, и это будет мне великой наградой.

ЛАГЕРЬ

Темнота ночи и жестокий мороз сковывали все, кроме ветра. Ветер нес снежные заряды, которые, крутясь, разрывались в воздухе, превращались в облака мелкого колючего снега. Налетая на препятствия, ветер кидал клочья снега, подхватывал с земли новые и опять рвался куда-то вперед.

Иногда внезапно наступало затишье, и тогда среди темноты ночи высвечивалось на земле гигантское пятно света. В полосах света лежал город, раскинувшийся в низине. Бараки, бараки и бараки покрывали землю.

Вышки со стоящими на них прожекторами и часовыми уходили за горизонт. Струны колючей проволоки, натянутой между столбами, образовывали несколько заградительных рядов, между которыми лежали полосы ослепительного света от прожекторов.

Между первым и последним рядами колючей проволоки лениво бродили сторожевые собаки.

Лучи прожекторов срывались с некоторых вышек и бросались на землю, скользили по ней, взбирались на крыши бараков, падали с них на землю и опять бежали по территории лагеря, окруженного проволокой.

Часть прожекторов вылизывала пространство за пределами лагеря и, обежав определенный сектор, возвращалась к рядам колючей проволоки, чтобы через несколько мгновений начать повторный бег.

Солдаты с автоматами, стоя на вышках, беспрерывно просматривали пространство между рядами проволочных заграждений. Затишье длилось недолго, ветер опять внезапно срывался, и все снова ревело, гудело, выло, колючий снег заволакивал яркое пятно света, и темнота охватывала долину.

Лагерь особого назначения еще спал, но вдруг раздался удар по висевшему рельсу, сперва один, у входа в лагерь, а затем под ударами зазвенели стальные рельсы в разных местах лагеря.

Прожекторы на вышках судорожно заметались, ворота лагеря открылись, и в зону стали въезжать один за другим крытые грузовики с "воспитателями", надзирателями, работниками по режиму и вольнонаемными.

Машины разъезжались по территории лагеря, останавливались у бараков, из грузовиков выскакивали люди и по четыре человека шли к бараку, обходили его со всех сторон, проверяли сохранность решеток на окнах, наличие замков на дверях, отсутствие подкопов стен или других признаков, свидетельствующих о побегах заключенных.

Осмотрев и убедившись, что ничего не повреждено, надзиратели отпирали двери бараков, и в это время прожекторы еще более судорожно продолжали метаться, а часовые внимательно оглядывали с вышек лагерь. Собаки между рядами проволоки начинали нервно обегать свой участок.

Лагерь особого назначения начинал свой трудовой день. Тысячи, десятки тысяч заключенных приступали к работе.

Темнота медленно светлела, наступал серый северный зимний рассвет, но ветер по-прежнему рвал снег, кидал его в воздух, выл и гудел, встречаясь с малейшим препятствием, и все дальше и дальше нес жесткий, колючий снег.

За пределами зоны лагеря, невдалеке от него, горело несколько костров, пламя которых то вспыхивало, то затухало.

Костры горели и днем и ночью беспрерывно, отогревая мерзлую землю для братских могил, в которых хоронили умерших заключенных. Лагерь ежедневно посылал туда сотни и десятки своих жителей, отдавая этим дань установленному лагерному режиму.

БАРАК

Лагерь "особого режима" ожил. Хлопали двери бараков, заключенные выбегали на улицу для поверки, строились. Раздавались крики, ругань, кого-то били.

Холод, пронизывающий ветер и темнота сразу охватывали заключенных. Строясь побригадно в колонны, шли они на раздачу "пайки" и оттуда к месту работы.

Барак опустел, но запахи прелой одежды, человеческого пота, испражнений, карболки наполняли его.

Казалось, крики надзирателей, отзвуки потрясающей душу ругани, человеческих страданий, смрад уголовщины еще оставались в опустевшем бараке, и от этого становилось до отвратительности тоскливо среди голых скамей и коридора нар. Тепло, оставшееся в бараке, делало его жилым и смягчало чувство пустоты.

Двадцать семь градусов мороза, порывистый ветер были сегодня страшны не только ушедшим на работы заключенным, но и сопровождавшим их и тепло одетой охране.

Те, кто несколько минут тому назад покинули барак, выходили на улицу со страхом, их ждала работа, пугавшая каждого непонятностью требований, бессмысленной жестокостью и непреодолимыми трудностями, создаваемыми лагерным начальством.

Выполняемая заключенными работа была нужна, но все делалось так, чтобы труд стал невыносим. Все становилось

трудным, мучительным и страшным в лагере "особого режима", все делалось для того, чтобы медленно привести людей к смерти. В лагерь направляли "врагов народа" и уголовников, преступления которых карались только смертью — расстрелом и заменялись им заключением в "особый", из которого выход был почти невозможен.

Отец Арсений, в прошлом Стрельцов Петр Андреевич, а сейчас "зек" — заключенный N 18376 — попал в этот лагерь полгода тому назад и за это время понял, как и все живущие здесь, что отсюда никогда не выйти.

На спине, шапке и рукавах был нашит лагерный номер — 18376, что делало его похожим, как и всех заключенных, на "человека-рекламу".

Ночь переходила в темный рассвет и короткий полутемный день, но сейчас фонари и прожекторы еще освещали лагерь.

Отец Арсений был постоянным барачным "дневальным", "колол" около барака дрова и носил их охапками к барачным печам.

"Господи! Иисусе Христе Сыне Божий! Помилуй мя грешного", — беспрерывно повторял он, совершая свою работу.

Дрова были сырые и мерзлые, "кололись" плохо. Топора или колуна в "зону" не давали, поэтому кололи поленья деревянным клином, загоняемым в трещину другим поленом.

Тяжелое и мерзлое полено скользило и отскакивало в слабых руках о. Арсения и никак не могло попасть по торцу забиваемого клина. Работа шла медленно.

Неимоверная усталость, глубокое истощение, изнурительный режим лагерной жизни не давали возможности работать — все было тяжело и трудно. К приходу заключенных огромный барак должен быть натоплен, подметен и убран. Не успеешь — надзиратель направит в карцер, а заключенные изобьют.

Бить в лагере умели и били в основном политических. Начальство било для воспитания страха, а уголовники избивали "отводя душу", и скопившаяся ненависть и жестокость выходили наружу. Били кого-нибудь каждый день, били умеючи, с удовольствием и радостью. Для уголовников это было развлечением.

"Господи! Помилуй мя грешного. Помоги мне. На Тя уповаю, Господи и Матерь Божия. Не оставьте меня, дайте силы", — молился о. Арсений и, изнемогая от усталости, охапка за охапкой переносил к печам дрова.

Пора было затапливать, печи совершенно остыли и не давали больше тепла. Разжигать печи было нелегко: дрова сырые, сухой растопки мало. Вчера о. Арсений набрал сухих щепок, положил в уголок около одной из печей, подумав:

"Положу на сохранение сушняк, а завтра дрова быстро ими разожгу". Пошел сегодня за сушняком, а уголовная шпана взяла и назло облила водой.

Подошло время разжигать печи, запоздаешь — не прогреется барак к приходу заключенных. Кинулся о. Арсений искать березовую кору или сухих щепок в дровах за бараком, а сам творит молитву Иисусову: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Помилуй мя грешного, — и добавляет: — Да будет воля Твоя".

Дрова за бараком перебрал и увидел, что ни коры, ни сушняка нет, как растапливать печи — не придумаешь.

Пока о. Арсений перебирал дрова, из соседнего барака вышел дневальный, старик, уголовник больших статей, жестокости непомерной. Говорили, что еще в старое время на всю Россию гремел. Дел за ним числилось такое множество, что даже забывать стал.

О своих делах не рассказывал, а за то малое, что следователь узнал, дали "вышку" — расстрел, да заменили "особым", что для старых уголовников иногда было хуже. Расстрел получил и сразу отмучился, а в "особом" смерть мучительная, медленная. Те, кто из "особого" случайно выходили, становились полными инвалидами, поэтому, попав сюда, люди ожесточались, и выливалось это ожесточение в том, что били политических и своих же уголовников насмерть.

Этот уголовник держал в строгости весь свой барак, и начальство его даже побаивалось. Случалось, мигнет ребятам — и готов несчастный случай, а там — веди следствие.

Звали старика "Серый", по виду ему можно было дать лет шестьдесят, внешне казался добродушным. Начинал говорить с людьми ласково, с шутками, а кончал руганью, издевательством, побоями.

Увидал, что о. Арсений несколько раз перебирал дрова, крикнул: "Чего, поп, ищешь?" "Растопку приготовил с вечера, а ее водой для смеха залили, вот хожу и ищу сушняк. Дрова сырые, что делать — ума не приложу".

"Да, поп, без растопки тебе хана", — ответил Серый.

"Народ, с работы придя, замерзнет, вот что плохо, да и меня изобьют", — проговорил о. Арсений.

"Идем, поп! Дам я тебе растопку", — и повел о. Арсения к своим дровам, а там сушняка целая поленница.

Мелькнула у о. Арсения мысль: шутку придумал Серый, знал его характер и помощи от него не ждал. "Бери, о. Арсений, бери, сколько надо".

Стал о. Арсений собирать сушняк и думает: "Наберу, а он меня на потеху другим бить начнет и кричать: "Поп вор!", но тут же удивился, что назвал его Серый "отец Арсений".

Прочел про себя молитву, крестное знамение мысленно положил и стал собирать сушняк.

"Больше бери, о. Арсений! Больше!"

Нагнулся Серый и сам стал собирать сушняк и понес охапку следом за о. Арсением в барак. Положили сушняк около печей, а о. Арсений поклонился Серому и сказал: "Спаси тебя Бог".

Серый не ответил и вышел из барака.

Отец Арсений разложил в печах растопку стоечкой, обложил дровами, поджег, и огонь быстро охватил поленья в первой печи, успевай только забрасывать дрова, носил их к печам, убирал барак, вытирал столы и опять, и опять носил дрова.

Время подходило к трем часам дня, печи раскалились, в бараке постепенно теплело, запахи от этого стали резче, но от тепла барак стал близким и уютным.

Несколько раз в барак приходил надзиратель, и, как всегда, первыми его словами была озлобленная матерная ругань и угрозы, а при одном заходе в барак увидел на полу щепку, ударил о. Арсения по голове, но не сильно.

Ношение дров и беспрерывное подбрасывание их в печи совершенно обессилили о. Арсения, в голове шумело от слабости и усталости, сердце сбивалось, дыхания не хватало, ноги ослабли и с трудом держали худое и усталое тело.

"Господи! Господи! Не остави меня", — шептал о. Арсений, сгибаясь под тяжестью носимых дров.

БОЛЬНЫЕ

В бараке о. Арсений был не один, оставалось еще трое заключенных. Двое тяжело болели, а третий филонил, нарочно повредив себе руку топором. Валяясь на нарах, он временами засыпал и, просыпаясь, кричал: "Топи, старый хрен, а то холодно. Слезу — в рыло дам",— и тут же опять сразу засыпал.

Другие двое лежали в тяжелом состоянии, в больницу не взяли, все было переполнено. Часов в двенадцать зашел в барак фельдшер из вольнонаемных, посмотрел на больных и, не прикасаясь к ним, громко сказал, обращаясь к о. Арсению: "Дойдут скоро, мрут сейчас много. Холода". Говорил, не стесняясь, что двое лежащих слышат его. Да и почему ему было не говорить, все равно рано или поздно должны они были умереть в "особом".

Подойдя к третьему больному, повредившему себе руку и сейчас демонстративно стонавшему, сказал: "Не играй

придурка, завтра тебе на работу, а пересолишь, за членовредительство в карцере отдохнешь".

В перерывах между рубкой дров, топкой печей и уборкой барака о. Арсений успевал подходить к двум тяжелобольным, и чем мог, помогать.

"Господи Иисусе Христе! Помоги им, исцели. Яви милость Твою. Дай дожить им до воли", — беспрерывно шептал он, поправляя грубый тюфяк или прикрывая больных. Время от времени давал воду и лекарство, которое фельдшер небрежно бросил больным. В "особом" основным лекарством считали аспирин, которым лечили от всех болезней.

Одному, наиболее тяжелому больному и физически слабому, о. Арсений дал кусок черного хлеба от своего пайка. Кусок составляет четверть дневного пайка.

Размочив хлеб в воде, стал кормить больного, тот открыл глаза и с удивлением посмотрел на о. Арсения, оттолкнул его руку, но о. Арсений шепотом сказал: "Ешьте, ешьте себе с Богом". Больной, глотая хлеб, произнес со злобой: "Ну тебя с Богом! Чего тебе от меня надо? Чего лезешь? Думаешь, сдохну — что-нибудь от меня достанется? Нет у меня ничего, не крутись".

Отец Арсений ничего не ответил, заботливо закрыл его и, подойдя к другому больному, помог ему перевернуться на другой бок, а потом занялся делами барака.

Растопку, что дал Серый, хоронить не стал, а положил на виду, у одной из печей. Чего убирать-то, вчера убрал, а получилось плохо, а сегодня Бог помог.

Собрался было "нарубить" дров на завтра, вышел из барака, но потом решил, что все равно истопники других бараков растащат все до проверки.

Печи накалились, и от них несло жаром.

Отец Арсений радовался — придут люди с мороза, отогреются и отдохнут.

Во время этих размышлений вошел надзиратель, на вид ему можно было дать лет тридцать. Всегда веселый, улыбающийся, радостный, прозванный за это заключенными "Веселый".

"Ты что, поп, барак натопил, словно баню? В карцер захотел? Дрова народные для врагов народа переводишь. Я тебе, шаман, покажу", — и, засмеявшись, ударил наотмашь по лицу и, улыбаясь, вышел.

Вытирая кровь, о. Арсений повторял слова молитвы: "Господи, не остави меня грешного, помилуй".

Филонивший Федька сказал: "Ловко он, подлюга, тебя в морду двинул, с весельем, а за что — и сам не знает". Через час Веселый опять появился в бараке и, войдя, закричал: "Поверка, встать".

С нар соскочил Федька, а о. Арсений вытянулся с метлой, которой только что подметал барак.

"Кто еще в бараке?" — кричал надзиратель, хотя уже утром производил поверку и знал, кто оставался.

"Двое освобожденных, лежачих больных и третий на выписке, ходячий".

Веселый пошел по коридору, образуемому нарами, и, увидев двух лежачих больных, понял, что встать они не могут, но для вида раскричался, однако подойти побоялся — а вдруг зараза какая.

"Ты смотри, поп, чтобы порядок был, скоро позовут куда надо, там запоешь", — и, скверно ругаясь, вышел.

День был на исходе, быстро темнело, и заключенные вот-вот должны были прийти с работы. Приходили обмерзшие, усталые, озлобленные, обессиленные и, добравшись до нар, почти в беспамятстве, валились на них.

С приходом заключенных барак наполнялся холодом, сыростью, злобной руганью, выкриками, угрозами.

Через полчаса после прихода водили на обед. Время обеда для многих заключенных было временем страдания. Уголовники отнимали все, что могли, и били при этом нещадно, те, кто был слаб и не мог постоять за себя, часто лишались еды.

Политических в бараке было значительно больше, чем уголовников, однако уголовники держали всех живущих в бараке, а особенно политических, в жестоком режиме.

Ежедневно какая-то часть политических лишалась пайка, что являлось невыносимым страданием. Усталые, голодные, вечно продрогшие заключенные постоянно мечтали о еде, как о чем-то единственно радостном в этой обстановке. Во время обеда люди отогревались и частично утоляли чувство голода.

Обед был жалким, порции ничтожны, продукты полугнилые и почему-то часто пахли керосином.

И этот скудный обед, который не восстанавливал затраченных сил и был рассчитан на медленное истощение заключенных, ни один политический не был уверен, что сегодня он съест его.

Отец Арсений, попав в "особый", часто лишался обеда, но никогда на роптал. Останется без обеда, придет в барак, ляжет на нары и начинает молиться.

Вначале кружилась голова, знобило от холода и голода, сбивались мысли, но, прочтя вечерню, утреню, акафист Божией Матери, Николаю Угоднику и своему святому Арсению, помянув своих духовных детей, всех усопших, кого сохранила память, и так, бывало, всю ночь молится, а утром встает — и как будто силы есть, спал и сыт.

Духовных детей у о. Арсения было много и на воле и в лагерях, и душа его болела за них. Раньше в простых лагерях получал иногда письма, а когда перевели в "особый", все кончилось.

В "особый" переводили опасных заключенных, переводили умирать без расстрела, а от установленного режима.

Духовные дети о. Арсения считали, что он умер. Обращались в органы, а там ответ один: если перевели в лагерь "особого режима" — "не значится".

...Было темно, колонны заключенных одна за другой входили в зону и растекались по баракам. Бараки оживали. В бараке о. Арсения сегодня было жарко, ребята входили злые, усталые, но, входя в теплый барак, радовались и ругались больше для порядка. О.Арсения не били и при обеде пайку не отняли, то ли случайно, то ли у других шарашили.

Двум лежачим больным досталась от обеда только половина пайкового хлеба, да о. Арсений от себя кусок прогорклой трески спрятал за пазуху.

Придя в барак, о. Арсений стал кормить больных: нагрел воду с хвоей, добавил аспирин и обоих напоил. Хлеб и треску разделил пополам и дал каждому.

Дней через пять пошли больные на поправку, стало видно, что останутся живы, но лежали еще недвижны и шагу сделать не могли. Все зто время о. Арсений урывками и ночами ухаживал за ними и делился частью своего пайка.

Что зто за люди, о. Арсений не знал. Попали в барак больными с зтапа, почти в беспамятстве, и поэтому никто их толком не знал. Заботы о. Арсения больные принимали холодно, но обойтись без него не могли, и, если бы не он, то давно бы им лежать в мерзлой земле. О себе не рассказывали, а о. Арсений и не спрашивал, по лагерным обычаям не полагалось, да и не к чему это было. Сколько таких людей видел он по лагерям, не счесть. Бывало, выходит больного, расстанется и никогда больше не увидит. Да разве всех запомнишь!

Как-то от одного больного о. Арсений узнал, что зовут его Сазиков Иван Александрович. Молча подавая Сазикову, о. Арсений молился по своему обыкновению, и губы его беззвучно двигались, шепча слова молитвы.

Заметив зто, Иван Александрович проговорил:

"Молишься, папаша! Грехи замаливаешь и нам поэтому помогаешь. Бога боишься! А ты Его видел?"

Посмотрел о. Арсений на Сазикова и с удивлением произнес: "Как же не видел, Он здесь посреди нас и соединяет сейчас нас с Вами".

"Да что, поп, говоришь, в зтом бараке — и Бог!" — и засмеялся. Посмотрел о. Арсений на Сазикова и тихо сказал: "Да!

Вижу его присутствие, вижу, что душа Ваша хоть и черна от греха и покрыта коростой злодеяний, но будет в ней место и свету. Придет для тебя, Серафим, свет, и святой твой Серафим Саровский тебя не оставит".

Исказилось лицо Сазикова, задрожал весь и с ненавистью прошептал: "Пришибу, поп, все равно пришибу. Знаешь много, только понять не могу — откуда?"

Отец Арсений повернулся и пошел, повторяя про себя: "Господи! Помилуй мя грешного". Время шло, работы надо было сделать много, и, совершая ее, читал о. Арсений акафисты, правила про себя, по памяти, вечерню, утреню, иерейское правило.

Второй больной был из репрессированных, стал постепенно поправляться. История его была самая обыкновенная, таких историй в лагере были тысячи, все одна на другую похожие.

Революцию Октябрьскую "делал", член партии с семнадцатого года, Ленина знал, армией командовал в 1920 г., в ЧК занимал большой пост, приговоры тройки утверждал, а последнее время в НКВД работал членом коллегии, но теперь его послали умирать в лагерь особого назначения.

В бараке репрессированные разные были, одни за глупое слово умирали, большинство попало по ложным доносам, другие за веру, третьих — идейных коммунистов — кому-то надо было убрать, так как стояли поперек дороги.

Всем им, сюда попавшим, необходимо было рано или поздно умереть в "особом". Всем!

Был идейным и Авсеенков Александр Павлович. Как фамилию эту назвали, сразу вспомнил о. Арсений этого человека. Часто упоминалась эта фамилия в газетах, да и приговор о. Арсению утверждал Александр Павлович. Когда постановление "тройки" о расстреле о. Арсения "за контрреволюционную деятельность" и о замене расстрела пятнадцатью годами "лагеря особого режима" зачитывали, фамилия эта запомнилась.

Авсеенков был уже в летах, с виду лет около сорока-пятидесяти, но лагерная жизнь наложила на него тяжелый отпечаток, в лагере ему было труднее многих.

Голод, изнурительная работа, избиения, постоянная близость смерти — бледнели перед сознанием, что вчера еще он сам посылал сюда людей и искренно верил тогда, подписывая приговоры, на основании решения "тройки", что посланные в лагерь люди или приговоренные к расстрелу были, действительно, "враги народа".

Попав в лагерь и соприкоснувшись с заключенными, отчетливо понял и осознал, что совершал дело страшное, чу-

довищное, послав на смерть десятки и сотни тысяч невинных людей.

Не видя с высоты своей должности истинного положения вещей и событий, утерял правду, верил протоколам допросов, льстивым словам подчиненных, сухим директивам, а связь с живыми людьми и жизнью утерял.

Мучился безмерно, переживал, но ничего решить для себя Авсеенков не мог. Сознание духовной опустошенности и ущербности сжигало его. Был молчалив, добр, делился с людьми последним, уголовников и начальства не боялся.

В гневе был страшен, но головы не терял, за обижаемых вступался, за что и попадал часто в карцер.

Привязался Авсеенков к о. Арсению, полюбил его за доброту и отзывчивость. Бывало, часто говорил о. Арсению:

"Душа-человек Вы, о. Арсений (в бараке большинство заключенных звало о. Арсения — "отец Арсений"), — вижу это, но коммунист я, а Вы служитель культа, священник. Взгляды у нас разные. По идее я должен бороться с Вами, так сказать, идеологически".

Отец Арсений улыбнется и скажет:

"Э! Батенька! Чего захотели, — бороться. Вот боролись, боролись, а лагерь-то Вас с Вашей идеологией взял да и поглотил, а моя вера Христова и там, на воле, была и здесь со мною. Бог всюду один и всем людям помогает. Верю, что и Вам поможет!"

А как-то раз сказал: "Мы с Вами, Александр Павлович, старые знакомые. Господь нас давно вместе свел и встречу нам в лагере уготовил".

"Ну! Уж это Вы, о. Арсений, что-то путаете. Откуда я мог Вас знать?"

"Знали, Александр Павлович. В 1933 году, когда дела церковные круто решались, брата нашего — верующих — сотнями тысяч высылали, церквей видимо-невидимо позакрывали, так я тогда по Вашему ведомству первый раз проходил. Кого, куда?

Первый приговор Вы мне утвердили в 1939 году, опять же по Вашей "епархии". Только одну работу в печать сдал, взяли меня по второму разу и сразу приговорили к расстрелу. Спасибо Вам, расстрел "особым" заменили. Вот так и живу по лагерям и ссылкам, все Вас дожидался, ну наконец и встретились.

Бога ради не подумайте, что я хочу упрекнуть Вас в чем-то, во всем воля Божия, и моя жизнь в общем океане жизни — капля воды, которую Вы и запомнить, естественно, в тысячном списке приговоренных не могли. Одному Господу все известно. Судьба людей в Его руках".

ПОПИК

Жизнь и работа в лагерях нечеловеческая, страшная. Каждый день к смерти приближает и часто года вольной жизни стоит, но, зная это, не хотели заключенные, не желали умирать духовно, пытались внутренне бороться за жизнь, сохранить дух, хотя это и не всегда удавалось.

Говорили, спорили о науке, жизни, религии, иногда читали лекции об искусстве, научных открытиях, устраивали маленькие литературные вечера, воспоминания, читали стихи.

На общем фоне жестокости, грубости и сознания близкой неизбежной смерти, голода, крайней степени истощения и постоянного присутствия уголовников это было поразительно.

"Особый" жил страхом, насилием, голодом, но заключенные часто стремились найти друг в друге поддержку, и это помогало жить.

Авсеенков, наблюдая жизнь заключенных, пришел к выводу, что в среднем больше двух лет редко кто выживал в "особом", и думал, а сколько еще осталось ему? В зависимости от волны арестов в барак попадали инженеры, военные, церковники, ученые, артисты, колхозники, писатели, агрономы, врачи, и тогда в бараке невольно возникали "землячества", состоящие из людей этих профессий.

Все были забиты, но тем не менее можно было видеть желание этих людей не забыть своего прошлого, своей профессии. Все вспоминалось в совместных разговорах.

Особенно жаркими были споры, возникавшие по любому поводу, люди горячились, старались доказать только свое, при этом каждый говорил так, как будто от его доказательства зависит исход любых событий и решений.

О.Арсений в спорах не участвовал, ни к кому не примыкал, был со всеми общителен и ровен. Начнется спор, а о. Арсений отойдет к своему лежаку, сядет на него и начнет про себя молиться.

Интеллигенция барака относилась к о. Арсению снисходительно. "Одно слово попик, да еще притом весьма серенький, добрый, услужливый; но культуры внутренней почти никакой нет, потому так и в Бога верит, другого-то ничего нет за душой".

Такое мнение было у большинства.

Случилось как-то, что собралось в бараке человек десять — двенадцать художников, писателей, искусствоведов, артистов.

Придут, бывало, с работ, в "столовую" сбегают, отдохнут, пройдет поверка, запрут барак, ну и начинаются разговоры: о театре, литературе, медицине, искусстве, оживятся, спорят.

Как-то зашел разговор о древней русской живописи и архитектуре, и один заключенный высокого роста, сохранивший даже в лагере барственную осанку и манеры, с большим апломбом и жаром рассуждал об этих предметах. Собравшиеся с большим интересом слушали его.

Говорил "высокий" веско, со знанием дела и удивительно утвердительно. Во время разговора этого проходил мимо собравшихся о. Арсений, а "высокий", как оказалось впоследствии искусствовед и профессор, снисходительно обратился к о. Арсению:

"Вы, батюшка, очень верующий и духовного звания, так не скажите ли нам, как Вы оцениваете связь православия с древней русской живописью и архитектурой, и есть ли такие связи?" Сказал и улыбнулся. Все окружающие засмеялись. Сидевший невдалеке Авсеенков и слышавший этот разговор тоже невольно улыбнулся.

Таким нелепым показался всем этот вопрос, заданный о. Арсению. Кто пожалел его, а кто и захотел посмеяться.

Все отчетливо понимали, что этот простецкий попик, каким был о. Арсений, ничего не ответит, не сможет ответить, так как ничего не знает. Понимали, что вопрос издевательский. Отец Арсений куда-то шел, остановился, вопрос выслушал, усмешки заметил и сказал:

"Сейчас, я сейчас, только вот дело доделаю," — и побежал дальше.

"А попик-то не дурак, от срама сбежал".

"Да, русское духовенство всегда было некультурным", — бросил кто-то фразу.

Минут через десять к группе интеллигентов подошел о. Арсений и, прервав лекцию "высокого", сказал:

"Кончил я дела свои, прошу Вас повторить вопрос". Профессор посмотрел на о. Арсения так, как он, вероятно, оглядывал невежд, неучей-студентов, и размеренно произнес:

"Вопрос, батюшка, довольно простой, но интересный. Как Вы, представитель русского духовенства, расцениваете влияние православия на древнерусское изобразительное искусство и архитектуру? Хотелось бы услышать.

О сокровищах Суздаля, Ростова Великого, Переяславля Залесского, Ферапонтовом монастыре, возможно, слышали? Иконы Владимирской Божией Матери и Троицу Рублева, вероятно, по церковным литографиям знаете, так вот и скажите, как оцениваете все это с точки зрения связей".

Вопрос был профессорский, и все это поняли, и у большинства мелькнула мысль, что не надо было задавать его такому простецкому, но доброму попику. Ясно, что не ответит, по одному виду определишь.

Отец Арсений как-то выпрямился, даже внешне изменился и, взглянув на профессора, произнес:

"Взгляд на влияние православия на русское изобразительное искусство и архитектуру существует самый различный. Много по этому поводу высказано разных мыслей, и Вы, профессор, по этому поводу много писали и говорили, но ряд Ваших положений глубоко ошибочен, противоречив и, откровенно говоря, конъюнктурен. То, что Вы сейчас говорили, значительно ближе к истине, чем то, что Вы так пространно излагали в статьях Ваших и книгах.

Вы считаете, что русское изобразительное искусство развивалось только на народной основе, почти отрицаете влияние на него православия и в основном придерживаетесь мнения, что только экономические и социальные факторы, а не духовное начало русского народа и благотворное влияние христианства оказали на него влияние — на живопись и архитектуру. Лично я, профессор, держусь другого мнения о путях развития древней русской живописи и архитектуры, так как считаю, что влияние православия было решающим фактором на русский народ и его культуру, начиная с десятого по восемнадцатый век.

Восприняв в десятом веке византийскую культуру, русское духовенство, русское иночество понесло, передало ее в виде книг, живописи — икон, первых образцов возведенных греками храмов, строя богослужения, описания жития святых —русскому народу, и это все оказало решающее влияние на дальнейшее развитие всей русской культуры.

Вы упомянули икону Владимирской Божией Матери, а разве этот образ, как и другие произведения живописи, пришедшие к нам от греков, не явились той основой, на которой в дальнейшем расцвели иконопись и живопись?

Любое творение русской иконописной школы неразрывно связано с душой художника-христианина, с душой верующего, прибегающего к иконе как к духовному символическому изображению Господа, Матери Божией или святых его.

Русский человек приходил к иконе не как к идолу, а как к символу, в котором видел, подразумевал и представлял духовно и внутренне образ, запечатленный в виде изображения. В этом овеществленном символе видел православный образ того, к кому прибегала душа его в горестной или радостной молитве. Русский иконописец с молитвой и постом запечатлевал образ Господа, Божией Матери и святых, и недаром русский народ хранит много прекрасных и дивных преданий о том, как создавались иконы, и верит, что рукою художника-иконописца водил ангел Господень, а не сам иконописец.

Русский иконописец древний никогда не подписывал именем своих икон, ибо считал, что не рука, а душа его с благословения Божия создавала образ, а Вы во всем видите влияние социальных и экономических предпосылок.

Взгляните на нашу древнюю икону Божией Матери и западную Мадонну, и Вам сразу бросится в глаза огромная разница.

В наших иконах духовный символ, дух веры, знамение православия; в иконах Запада дама — женщина, одухотворенная, полная земной красоты, но в ней не чувствуется Божественная сила и благодать, это только женщина.

Взгляните в глаза Владимирской Божией Матери, и Вы прочтете в них величайшую силу духа, веру в безграничное милосердие Божие к людям, надежду на спасение".

Отец Арсений воодушевился, как-то весь переменился, распрямился и говорил ясно, отчетливо и необыкновенно выразительно.

Называя иконы, давая пояснения, он раскрыл душу русской древней живописи и, перейдя к архитектуре, на примерах Ростова Великого, Суздаля, Владимира, Углича и Москвы показал связи ее с православием.

Ответ свой о. Арсений закончил словами:

"Строя церкви, русский человек во Славу Бога заставил петь камень, заставил его рассказывать христианину о Боге и прославлять Бога".

Говорил о. Арсений часа полтора, и слушавшая его группа интеллигентов замерла. Профессор потерял свой полунасмешливый и барственный вид, съежился как-то весь и спросил:

"Простите! Откуда Вы знаете труды мои и русскую древнюю живопись и архитектуру? Где изучали? Ведь Вы священник?"

"Любить надо Родину свою и знать ее. Надо, как изволили сказать о духовенстве, чтобы попик понимал душу русского искусства и, будучи пастырем душ человеческих, показывал им правду и истину в их незапятнанном виде, ибо, профессор, многие люди, и Вы в том числе, облекают измышлением и ложью самое святое, что есть у человека. Делается это ради выгоды или политических, временно возникающих установок и взглядов, ради социального заказа".

Профессор еще более переменился и спросил: "Кто Вы? Фамилия Ваша?"

"В миру был Стрельцов Петр Андреевич, а сейчас о. Арсений, как и Вы, заключенный "особого". Профессор подался вперед и с трудом проговорил:

"Петр Андреевич! Извините меня, извините. Не думал, не мог предполагать, что известнейший искусствовед, автор

многих исследований и монографий по истории русской древней живописи и архитектуры, учитель многих и многих, встретится со мною здесь под видом священника, и я задам ему глупый вопрос.

Несколько лет не было слышно о Вас, только статьи и книги рассказывали Ваши мысли, и я еще год тому назад вступал с Вами в полемику, лично не зная Вас. Как Вы, известнейший ученый, стали духовным лицом?"

"Потому и стал о. Арсением, что вижу и ощущаю Бога во всем и, будучи о. Арсением, особенно понял, что попику надо много знать. А если говорить о русских попах, то Вы должны знать, что они были той силой, которая собрала в XIV и XV веках русское государство воедино и помогла русскому народу сбросить татарское иго.

Действительно, в XVI-XVII веках стало морально падать русское духовенство, и только отдельные светочи русской церкви озаряли ее небосклон, а до этого было оно главной силой Руси".

Сказал и пошел, а профессор и все стоящие, и в том числе Авсеенков, остались стоять, пораженные и удивленные.

"Вот тебе и попик блаженненький, товарищи!" — произнес кто-то из слушающих интеллигентов, и все стали молча расходиться.

Авсеенков заметил, что с этого момента интеллигенция барака и лагеря стала смотреть и относиться к о. Арсению совершенно по-другому. Понятия Бог, наука, интеллигент для многих стали сближаться. Авсеенков, бывший старым идейным коммунистом и почти фанатично веривший в идеи марксизма, в первый год жизни в "особом" пытался жить обособленно от окружающих его людей, но потом сблизился с некоторыми из них, но, увидя, что мысли бывших коммунистов в основном были направлены только на желание вернуться к прежней удобной жизни и совершенно были свободны от идеи добиться справедливости и бороться против произвола Сталина, отошел от этих людей.

Свою прежнюю жизнь Авсеенков пересмотрел и понял, что давно растерял идеи, и их заменили приказы, стандартные прописные истины и циркуляры. Связь с живым народом, массой людей он утерял, доклады и газетные статьи — вот что заменило ему живого человека.

Соприкасаясь с заключенными, увидел Авсеенков жизнь подлинную, не выдуманную, настоящую. К о. Арсению тянулся Авсеенков, необычное отношение ко всем без различия людям, сердечность, доброта, постоянно оказываемая всем помощь в любых ее формах и, как теперь он узнал, глубокая интеллигентность и образованность покорили его.

Беспредельная вера в Бога, постоянная молитва вначале отталкивали его от о. Арсения, но в то же время что-то необъяснимо притягивало его.

С о. Арсением чувствовал он себя хорошо, трудности, тоска, лагерный гнет сглаживались. Почему? Он не понимал.

Сазиков Иван Александрович оказался старым известным уголовником. Был он человек властный, жесткий, уголовную братию знал хорошо и вскоре подчинил себе весь барак и, конечно, установил связь со всеми уголовниками лагеря. Слово его было законом, боялись его, но в дела барака вмешивался он мало и как бы стороной.

В первые месяцы после своего выздоровления отдалился он от о. Арсения и вроде бы замечать не стал, но, повредив как-то себе сильно ногу, пролежал пять дней в бараке, рана стала загнивать, и создалась опасность потери ноги. Освобождение продолжали давать, но положение не улучшилось, и вторично выходил Сазикова о. Арсений.

Попробовал Сазиков дать о. Арсению подачку, но о. Арсений, улыбнувшись, сказал: "Не ради вознаграждения Вам делаю, а ради Вас — человека, ради Вас самого".

Помягчал Сазиков к о. Арсению, мимоходом вроде бы и о своей жизни рассказывал, а однажды вдруг сказал: "Не верю я людям, а попам, говорят, и совсем верить нельзя, а Вам, Петр Андреевич, верю. Не продадите. В Боге своем живете, добро делаете не для своей выгоды, а ради людей. Мать у меня такая же была!" Сказал и пошел.

Записано по воспоминаниям
Авсеенкова Александра Павловича,
рассказам Сазикова Ивана Александровича
и ряда других людей, бывших в то время в лагере.

"ПРЕКРАТИТЕ СИЕ"

Холода стояли страшные, заключенные сильно мерзли на работах, обмораживались, приходя в барак после работы, буквально валились с ног. Умирало много, барак постоянно обновлялся.

Трудно было всем, но особенно доставалось политическим. Все вставали, уходили на работу и приходили с работы озлобленные и вечно голодные, а тут еще при раздаче хлеба уголовники два дня подряд отнимали у политических весь паек. На второй день к вечеру, после кражи и после закрытия барака, произошла в бараке драка не на жизнь, а на смерть между уголовниками и политическими из-за хлеба.

Во главе политических встал Авсеенков, несколько бывших военных и человек пять из интеллигенции, а у уголовников — Иван Карий, отпетый бандит, хулиган и многократный убийца. В лагере убил не одного человека, любил играть в карты на жизнь человеческую. Политические требуют справедливости и порядка, а уголовники со смехом отвечают: "Брали и брать будем". Прекрасно понимая, что лагерная администрация не встанет на защиту политических, а молчаливо одобряет эти кражи.

Сперва началась кулачная драка, а потом в ход пошли поленья, а некоторые уголовники достали ножи. В лагере они запрещались, их постоянно искали, беспрерывно обыскивали заключенных, но почти никогда ножи не находили.

Порезали одного военного, нескольким политическим тяжело повредили головы. Уголовники действуют сообща, а основная масса политических только кричит, боясь помочь своим.

Уголовники бьют жестоко, одолевают политических, кругом льется кровь. Отец Арсений бросился к Сазикову и стал просить: "Помогите! Помогите, Иван Александрович! Режут людей. Кровь кругом. Господом Богом прошу Вас, остановите! Вас послушают!"

Сазиков засмеялся и сказал: "Меня-то послушают, ты вот своим Богом помоги! Смотри! Твоего Авсеенкова Иван Карий сейчас прирежет. Двоих-то уже уложил. Бог твой, поп, ух как далек!"

Смотрит о. Арсений — кровь на людях, крики, ругань, стоны, и так все это душу переполнило болью за страдания людей, что, подняв руки свои, он пошел в самую гущу свалки и голосом ясным и громким сказал: "Именем Господа повелеваю — прекратите сие. Уймитесь!" И положив на всех крестное знамение, тихо произнес: "Помогите раненым", — и пошел к своим нарам.

Стоит весь какой-то озаренный и словно ничего не слышит и не видит. Не слышит, как кладут у выхода из барака мертвых, помогают раненым. Стоит и, уйдя в себя, молится.

Тихо стало в бараке, только слышно, как люди укладываются на нары и стонет тяжело раненный. Сазиков подошел к о. Арсению и сказал:

"Простите меня, о. Арсений. Усомнился я в Боге-то, а сейчас вижу — есть Он. Страшно даже мне. Великая сила дана тому, кто верит в Него. Простите меня, что смеялся над Вами!"

Дня через два, придя с работы, подошел Авсеенков к о. Арсению и сказал: "Спасибо Вам! Спасли Вы меня, спасли! Бесконечно Вы в Бога верите, и я, смотря на Вас, тоже начинаю понимать, что есть Он".

Жизнь в бараке шла размеренно. Одни заключенные приходили в барак и, прожив в нем недолго, ложились в мерзлую землю, другие приходили им на смену.

Воровство хлеба прекратилось, а если и случалось, то уголовники крепко учили своих за это. Отец Арсений работал по бараку, сильно уставал, истощение организма, как у всех заключенных, было предельным, но держался и духом не падал.

В бараке, населенном самыми разными людьми по своим характерам, жизни и настроениям, и при этом людьми, обреченными на смерть, измученными и поэтому озлобленными и ожесточенными, о. Арсений стал для очень многих связующим и сближающим началом, смягчающим тяжесть лагерной жизни.

Добротой своей, теплым ласковым словом согревал он многим душу, и, был ли то верующий, коммунист, уголовник или какой-либо другой заключенный, для каждого из них находил он необходимое только этому человеку слово, и оно проникало в душу, помогало жить, заставляло надеяться на лучшее, вело к совершению добра.

Как-то произошло незаметно, но Сазиков и Авсеенков сблизились. Казалось, что было общего между уголовником и бывшим членом коллегии? Их незримо соединял о. Арсений.

Записано по рассказам Авсеенкова, офицера Зорина, Глебова, Сазикова.

ВЫЗОВ МАЙОРА

Надзиратель Веселый днем, когда барак бывал пуст и о. Арсений топил печи или убирал барак, стал часто проводить "поверку барака" и придирался ко всему, а в этот день, зайдя раза три, беспрерывно матерился, ударил его по лицу, грозился и пугал, а к вечеру о. Арсения вызвали в "особый отдел".

Вызов к вечеру считался плохим признаком. Говорили, что начальником "особого отдела" назначили нового майора. "Особый отдел" в лагере "особого режима" был страшен заключенным.

Вызовы в "особый отдел" всегда сопровождались неприятностями: снимали допросы по какому-либо дополнительному делу, заставляли стать "сексотом" — секретным сотрудником и за отказ били нещадно. Били и при допросах, единственно когда не били — это при зачитывании постановления об увеличении срока заключения.

Заключенные боялись "особого отдела", работало в нем человек двадцать пять сотрудников — в основном проштрафившиеся где-то на службе в органах и переведенные служить в отдаленные лагеря для известного рода "исправления". Было много из них сильно пьющих. Допросы вести умели, били с умением, — "признаешься во всем".

О.Арсения "принимал" лейтенант лет двадцати семи. Началось, как всегда, с шаблонных вопросов: имя, отчество, фамилия, статья, по которой осужден, крики: "все знаем", "давай рассказывай", угрозы, после чего предъявлялась главная цель вызова: "Давай показания о своей агитации в лагере".

Ответив на стандартные вопросы, о. Арсений замолчал и стал молиться. Лейтенант гнусно матерился, бил кулаком по столу, грозил, а потом, встав, сказал: "Сейчас через майора пропустим, заговоришь", — и, выругавшись, вышел.

Минут через десять вернулся и повел к майору — начальнику "особого отдела". Отец Арсений. зная лагерные порядки, понял, что дело его плохо.

"Оставьте нас", — приказал майор, взял дело и протокол допроса. Лейтенант вышел. Майор встал, плотно закрыл дверь кабинета, вернулся, сел в кресло и стал читать дело о. Арсения.

Отец Арсений стоял и молился: "Господи, помилуй мя грешного".

Майор посмотрел дело и вдруг неожиданно, простым, доброжелательным тоном сказал: "Садитесь, Петр Андреевич! Это я приказал Вас вызвать".

Отец Арсений сел, повторяя про себя: "Господи! Помилуй мя грешного! Уповаю на Тебя!" И при этом подумал: "Сейчас начнется".

Майор помолчал, полистал еще раз дело, посмотрел на о. Арсения и на вклеенную в дело фотографию, отстегнул пуговицу верхнего кармана кителя и достал сложенный листок бумаги: "Возьмите, записка Вам от Веры Даниловны, жива и здорова. Прочтите".

"Дорогой о. Арсений! Милость Господа не имеет пределов. Он сохранил Вас. Ничему не удивляйтесь. Доверьтесь. Молитесь о нас грешных. Бог многих сохранил из нас. Молите Бога о нас. Вера".

Почерк был Веры Даниловны, сестры Веры, одной из самых близких духовных дочерей о. Арсения. Сомнений в том, что писала именно она, быть не могло, так как когда-то условились, что при писании особо важных писем в слове "молите" одна из букв делалась измененной.

"Господи! Благодарю, что дал мне узнать о детях моих. Благодарю, Господи, за милость!"

Майор взял записку из рук о. Арсения и сжег. Оба молчали. Отец Арсений — от волнения и неожиданности, а также от непонятности происходящего. Майор молчал, понимая состояние о. Арсения, понимая, что он ошеломлен. Смотря на о. Арсения, майор видел перед собой измученного старика с небольшой бородкой, обритого наголо, в старой залатанной телогрейке и ватных брюках.

Из лежащего перед ним дела майор знал, что прошлое у старика большое: "выходец" из семьи известного ученого, окончил Московский университет, известен как блестящий искусствовед в Союзе и за рубежом, автор глубоких исследований по древней русской живописи и архитектуре и одновременно иеросхимонах, руководитель большой и сильной общины, которая, как предполагали "органы", не распалась даже после его ареста.

И этот старик, живя когда-то на свободе, мог совмещать глубокую веру с наукой и в книгах своих прославлял красоту Родины и призывал любить ее. Сейчас майор видел, что все это умерло в сидящем перед ним человеке, он растоптан и сломлен. Смерть скоро придет к нему, она не заставит себя ждать.

Просьба жены, которую майор беспредельно любил и всегда прислушивался к ее словам, а также просьба Веры Даниловны, оказавшей в прошлом немалую помощь его жене и дочери, побудили майора взяться за это рискованное поручение.

Вера Даниловна была врач, и случилось так, что жизнь самых близких майору людей сохранилась благодаря самоотверженной и бескорыстной ее помощи.

В условиях взаимных доносов и слежки помощь со стороны майора была для него самого крайне опасной, но была еще одна причина, побудившая его связаться в лагере с о. Арсением.

Отец Арсений молился и, казалось, так ушел в себя, что не видел майора, кабинета, в котором находился, забыл обо всем, но вдруг, подняв глаза и смотря на майора, спокойно сказал:

"Благодарю за весть эту добрую, именем Господа благодарю". И майор, взглянув в глаза о. Арсению, понял, что не старик перед ним изможденный, а какой-то особый человек, необычный, и годы лагерной жизни не согнули, а увеличили силу его духа, ибо глаза о. Арсения излучали силу и свет, никогда до того не виданные майором, и в силе и свете были бесконечная доброта и великое знание души человеческой.

Майор понял, почувствовал, что взглянет о. Арсений на любого человека, скажет ему, и будет так, как хочет о. Арсений. Повелит — и любые отворятся ворота и спадут

запоры. Самое сокровенное в душе человеческой видят эти глаза и читают мысль человеческую. Понял также майор, что не будет расспрашивать о. Арсений, почему он, вновь назначенный начальник "особого отдела" лагеря, передал ему записку от Веры Даниловны.

А о. Арсений смотрел куда-то вверх мимо майора и, смотря, встал. Встал, перекрестился несколько раз, поклонился кому-то и, смотря на него, встал майор, ибо предстал перед ним в этот момент не старик в рваной телогрейке, а иерей в полном церковном облачении и совершал таинство молитвы перед Богом.

Майор вздрогнул от неожиданности и непонятности происходящего, и что-то далекое, забытое пришло ему на память — время, когда мать водила его в старую деревенскую церковь, маленьким мальчиком, молиться в большие праздники, и что-то мягкое и доброе охватило его душу.

Отец Арсений сел, и опять перед майором был изможденный старик, но глаза по-прежнему излучали свет.

"Петр Андреевич! Послали работать в лагерь. Узнал, что Вы здесь. Был в Москве, сказал Вере Даниловне и взялся передать Вам записку и, кроме того, прошу Вас помочь одному человеку, живет с Вами в бараке", — и майор замялся.

"Понял я, понял Вас! Александру Павловичу помогу. Все передам. Понимаю, что трудно Вам здесь, Сергей Петрович, не привыкли к новой работе. Трудно привыкнуть. Что здесь делается! Но будьте милостивы в меру сил своих и возможностей, это и то будет большой помощью заключенным".

"Да, трудно! Очень трудно сейчас всюду, — произнес майор, — вот поэтому я здесь и оказался. Сердце кровью обливается, когда смотришь, что делается кругом. Слежка, доносы друг на друга, секретные инструкции одна страшнее другой. Делаешь, но ничтожно мало. Стыдно сказать, но боюсь.

Надзиратель Пупков доносит на Вас все время. Явно не любит. Уберем его, поставим приличного, другого. Тяжело Вам, Петр Андреевич! Тяжело! Помочь, как уже говорил, могу мало, но стараться буду. Вызывать буду через посредство лейтенанта Маркова, это тот, что Вас допрашивал. Человек трудный, подозрительный, но на этом я его возьму. Предложу иметь за Вами особый надзор и после своих допросов ко мне направлять. Не беспокойтесь, особый надзор на Ваших делах не отразится и в дело личное не будет внесен.

Александру Павловичу скажите, что генерал Абросимов. Сергей Петрович, разжалованный теперь в майоры, — здесь. Помнят А. П. в верхах многие, но помочь трудно. Стараются и не один заход к Главному делали, но безрезультатно. Главный отвечает: "Пусть посидит", — а заместитель пытается уничтожить. Много знает Александр Павлович. Идейный,

прямой, а таких не любят. Давали указание убрать, но Главный санкции не дал. Пытаются окольными путями, через уголовников действовать. Уголовника Ивана Карего толкают на это.

Передайте Александру Павловичу записку от жены, это его поддержит. Помогите ему. Пусть остерегается Савушкина, бывшего секретаря обкома, доносы на него строчит, тоже в Вашем бараке живет. Протокол Вам надо подписать, идите, напишу при следующей встрече".

Улыбнулся о. Арсений, взял чистый лист и подписал: "Впишите, что надо".

Майор встал, подошел к о. Арсению и, взяв его за плечи, почему-то неожиданно сказал: "Помните меня".

Полный впечатлений и переживаний, беспрерывно славя Господа, усталый от всего пережитого, пошел о. Арсений и лег на нары.

Ждали его с нетерпением, мог и не вернуться. Лежа читал молитвы и псалмы, благодаря Бога и повторяя: "Господи, славлю дела Твои, благодарю, что показал мне милость Твою, помилуй мя, Боже!"

В лагерях был заведенный порядок — вызвали заключенного в "особый отдел", пришел оттуда, не расспрашивай и не подходи к человеку. Боялись, что на подходящих падет подозрение, что боится он, о нем спрашивали. Придет время, найдет нужным, сам человек расскажет. Глаз не смыкал всю ночь о. Арсений. Промыслу Божию умилялся, славил Бога, молился Божией Матери, а утром встал и с легким сердцем занялся делами.

Надзиратель Веселый (Пупков) раза два забегал в барак, оглядел все бегающим взглядом и спросил: "Ну, что, поп? Не добили тебя в "особом? Добьют!" И, засмеявшись, вышел.

Вечером, после прихода заключенных с работ и получения пайки, о. Арсений обратился к Авсеенкову:

"Александр Павлович! Помогите мне до поверки дров наколоть, а то не успею".

Теперь у о. Арсения заранее нарубленные дрова не воровали, барак за этим смотрел.

Времени до поверки оставалось немногим более часа. Фонари и прожекторы ярко освещали территорию лагеря. Дрова можно было колоть и вечером. Вышли к дровам, тут о. Арсений и сказал:

"Полено буду передавать — записку возьмите, прочтите и проглотите, а потом все расскажу".

"Какую записку? — опешив, спросил Авсеенков. — Какую?"

Схватил и стал деревянным клином колоть поленья, потом встал под фонарь, будто разглядывал полено, и стал читать записку.

Прочел раз, второй, и по лицу потекли слезы. Отец Арсений прошептал: "Проглотите записку". И добавил: "Возьмите себя в руки".

Пока дрова кололи и собирали, рассказал, что говорил Абросимов. Рассказал, что из генералов в майоры разжаловали, что друзья хотят помочь, но трудно, и что есть указание убрать его, Авсеенкова.

"Петр Андреевич! Отец Арсений! Не верю я в Бога, а здесь начинаю верить, надо верить. Письмо от Катерины получил — от жены, и приписка в нем от моего друга, большого, влиятельного человека. Помочь хочет, эта приписка смерти подобна, в случае, если кто узнает. Старый разведчик, бесстрашный. Есть еще люди и там, на воле, не все еще в подлости утонули.

Катерина пишет, что Бога молит обо мне, вероятно, по-настоящему молит, а тут Вы мне в этом аду помогаете, сердце согреваете, одного со своими мыслями не оставляете, да и не только мне — многим. Смотрите! Каким стал Сазиков, жестокий и страшный, а теперь помягчал и верит Вам во всем. Вы не видите, а я вижу! Нет! Не Вы, а, верно, Бог Ваш все это делает Вашими руками. Не знаю, буду ли я глубоко верующим, но знаю и вижу: есть Он — Бог. Есть!"

Внесли дрова в барак. Сазиков слез с нар и тоже пошел помогать носить. Отец Арсений рассказал Сазикову, какой разговор был с начальником "особого отдела", что хотят Авсеенкова руками уголовников убрать, и попросил: "Помогите, Серафим Александрович". Наедине звал Сазикова Серафимом, а не Иваном, именем вымышленным. Рассказывая, знал о. Арсений, что не выдаст и не предаст Сазиков — изменился он сильно.

"Редкий случай, — сказал Сазиков. — Поможем, убережем Александра Павловича. Человек он хороший, стоящий. Убережем, не бойтесь. У нас тоже свои секреты есть. Ребятам скажу, убережем".

Записано по рассказам Авсеенкова, Абросимова, Сазикова и кратким описаниям-воспоминаниям о. Арсения.

Время шло. Зима окончилась, и наступила весна. Болеть и умирать заключенных стало все больше и больше. Цынга в разных ее формах охватила почти всех, лагерная больница переполнилась, люди лежали в бараках.

Отец Арсений совершенно ослаб, но свои обязанности по бараку выполнял. Сильно потеплело, было слякотно, сыро, барак приходилось топить так же часто, как и зимой, чтобы не отсырели стены и вещи.

Истощенный, еле передвигающийся, о. Арсений по-прежнему помогал людям, всем, кому мог, и его помощь несла необыкновенное внутреннее тепло людям. Помогал без просьб — подходил, оказывал помощь и молча уходил, не ожидая благодарности.

Надзирателя Веселого-Пупкова давно заменили и послали начальником лесопункта. Пришел новый надзиратель — молчаливый, требовательный, но справедливый. Заключенные быстро все подметили и дали ему прозвище "Справедливый".

Надзиратель строго требовал выполнения лагерных правил и особенно следил за чистотой. Не бил и почти не ругался.

Прошло лето, короткое, но жаркое, с изнуряющим комариным облаком, вечно висящим над человеком, доводящим до изнурения и нервного расстройства.

Барак уже не топили, и о. Арсения, по преклонности лет и слабости здоровья, на тяжелые работы не посылали, а оставили убирать барак, территорию вокруг него и чистить выгребные ямы.

В "особый отдел" вызывали два раза. Первым допрашивал лейтенант Марков, но к начальству отдела не отправлял, второй раз, допросив, отправил к майору, тот был встревожен, нервничал и сказал:

"Трудное время сейчас. Строгости усилились, друг за другом слежка неимоверная. Лицо я в лагере большое, все боятся, даже начальник лагеря, но никому и ничем помочь не могу. Нет людей верных, нет связующего звена. Когда еще позову? Не знаю! Просто сказать, боюсь, но ни Вас, ни Александра Павловича ни на одну минуту не забываю и из вида не упускаю. Записку опять Александру Павловичу передайте, не забыт он в Москве, протокол допроса подпишите, заранее написал. Делаются кругом дела страшные, и я тоже их пособник".

Записку о. Арсений передал Авсеенкову, и тот опять воспрянул духом.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

Последнее время о. Арсений стал сильно уставать, еле-еле справлялся с уборкой барака, и, видя это, заключенные помогали ему. Держался он одной молитвой. Знающим его казалось временами, что живет он не в лагере, а где-то далеко-далеко, в каком-то особом, одному ему известном, светлом мире. Бывало, работает, губы беззвучно шепчут слова молитвы, и вдруг он радостно и как-то по-особенному светло улыбнется и станет каким-то озаренным, и чувствуется, что сразу прибавится в нем сила и бодрость. Но никогда это внутренне-углубленное его состояние не мешало ему видеть трудности окружающих его людей и стремиться помочь им.

Люди верующие, общаясь с ним, видели, что душа о. Арсения как бы вечно пребывала на молитвенном служении в храме Божием, вечно стремилась раствориться в стремлении творить добро.

Оказывая помощь человеку, о. Арсений не размышлял, кто этот человек и как он отнесется к его помощи. В данный момент он видел только человека, которому нужна помощь, и он помогал этому человеку. Думали когда-то заключенные, что он заискивает, ждет благодарности. Оказалось, не то. Потом стали называть его "блаженненький", и это оказалось не то.

Большинство поняло его, Изменился барак по отношению к о. Арсению. Интеллигенция видела в нем ученого, совместившего веру и знания. Бывшие коммунисты по поведению о. Арсения по-другому стали рассматривать веру и верующего, и многим из них верующий не казался "мракобесом".

Верующие видели в нем иерея или старца, достигшего духовного совершенства и несшего в лагере свой подвиг. Смотря на жизнь о. Арсения в лагере, многие люди находили спокойствие и в какой-то мере примирялись с жизнью в лагере.

Уголовники защищали о. Арсения и относились к нему уважительно — по-своему. Если кто-либо из вновь пришедших заключенных пытался обидеть его, то давали понять, что за это могут избить. Было довольно много случаев, когда уголовники прибегали к духовной помощи о. Арсения, они понимали и видели, что он не избегал и не сторонился их, как другие заключенные. Самое главное, о. Арсений никого не боялся.

В одну из зим поступил с этапа в барак юноша лет двадцати трех, студент, осужденный на 20 лет по 58-й статье. Лагерной житейской премудрости еще в полной мере не набрался, так как сразу после приговора попал из Бутырок в "особый".

Молодой, зеленый еще, плохо понимавший, что с ним произошло, попав в "особый", сразу столкнулся с уголовниками. Одет парень был хорошо, не износился еще по этапам, увидели его уголовники во главе с Иваном Карим и решили раздеть. Сели в карты играть на одежду парня. Все видят, что разденут его, а сказать никто ничего не может, даже Сазиков не смел нарушить лагерную традицию. Закон — на "кон" парня поставили — молчи, не вмешивайся. Вмешался — прирежут.

Те из заключенных, кто долго по лагерям скитался, знали, что если на их барахло играют, сопротивляться нельзя — смерть.

Иван Карий всю одежду с парня выиграл, подошел к нему и сказал: "Снимай, дружок, барахлишко-то".

Ну и началось. Парня Алексеем звали, не понял сперва ничего, думал, смеются, не отдает одежду. Иван Карий решил для барака "комедию" поставить, стал с усмешкой ласково уговаривать, а потом бить начал. Алексей сопротивлялся, но уже теперь барак знал, что парень будет избит до полусмерти, а может быть, и забит насмерть, но "концерт" большой будет.

Затаились, молчат все, а Иван Карий бьет и распаляется. Алексей пытается отбиться, да где там, кровь ручьем по лицу течет. Уголовники для смеха на две партии разделились, и одна Алексея подбадривает.

Отец Арсений во время "концерта" этого дрова около печей укладывал в другом конце барака и начала не видел, а тут подошел к крайней печке и увидел, как Карий студента Алешку насмерть забивает. Алексей уже только руками закрывается, в крови весь, а Карий озверел и бьет и бьет. Конец парню.

Отец Арсений дрова молча положил перед печью и спокойно пошел к месту драки и на глазах изумленного барака схватил Карего за руку, тот удивленно взглянул и потом от радости даже взвизгнул. Поп традицию нарушил, в драку ввязался. Да, за это полагалось прирезать. Ненавидел Карий о. Арсения, но не трогал, барака боялся, а тут законный случай сам в руки идет.

Бросил Карий Алешку бить и проговорил: "Ну, поп, обоим вам конец, сперва студента, а потом тебя".

Заключенные растерялись. Вступись, все уголовники, как один, поднимутся. Карий нож откуда-то достал и бросился к Алешке.

Что случилось? Никто толком понять не мог, но вдруг всегда тихий, ласковый и слабый о. Арсений выпрямился, шагнул вперед к Карему и ударил его по руке, да с такой силой, что у того нож выпал из руки, а потом оттолкнул Карего от Алексея. Качнулся Карий, упал и об угол нар разбил лицо, и в этот момент многие засмеялись, а о. Арсений подошел к Алексею и сказал: "Пойди, Алеша, умойся, не тронет тебя больше никто", — и, будто бы ничего не случилось, пошел укладывать дрова.

Опешили все. Карий встал. Уголовники молчат, поняли, что Карий свое "лицо потерял" перед всем бараком.

Кто-то кровь по полу ногой растер, нож поднял. У Алешки лицо разбито, ухо надорвано, один глаз совсем закрылся, другой багровый. Молчат все. Не сдобровать теперь о. Арсению и Алексею, прирежут уголовники. Обязательно прирежут.

Случилось, однако, иначе. Уголовники поступок о. Арсения расценили по-своему, увидев в нем человека смелого и, главное, необыкновенного. Не побоялся Карего с ножом в руках, которого боялся весь барак. Смелость уважали и за смелость по-своему любили. Доброту и необыкновенность о. Арсения давно знали. Карий к своему лежаку ушел, с ребятами шепчется, но чувствует, что его не поддерживают, раз сразу не поддержали.

Прошла ночь. Утром на работу пошли, а о. Арсений делами по бараку занялся: топит печи, убирает, грязь скребет.

Вечером заключенные пришли с работы, и вдруг перед самым закрытием барака влетел с несколькими надзирателями начальник по режиму.

"Встать в шеренгу", — заорал сразу. Вскочили, стоят, а начальник пошел вдоль шеренги, дошел до о. Арсения и начал бить, а Алексея надзиратели из шеренги выволокли.

"За нарушение лагерного режима, за драку попа 18376 и Р281 в холодный карцер N 1, на двое суток без жратвы и воды",— крикнул начальник.

Донес, наклепал Карий, а это среди уголовников считалось самым последним, позорным делом.

Карцер N 1 — небольшой домик, стоящий у входа в лагерь. В домике было несколько камер-одиночек и одна камера на двоих с одним узким лежаком, вернее — доской шириною сантиметров сорок. Пол, стены лежака были сплошь обиты

листовым железом. Сама камера была шириной не более трех четвертей метра, длиной два метра.

Мороз на улице тридцать градусов, ветер, дышать трудно. На улицу выйдешь, так сразу коченеешь. Поняли заключенные барака — смерть это верная. Замерзнут в карцере часа через два. Наверняка замерзнут. При таком морозе в этот карцер не посылали, при пяти-шести градусах, бывало, посылали на одни сутки. Живыми оставались лишь те, кто все двадцать четыре часа прыгал на одном месте. Перестанешь двигаться — замерзнешь, а сейчас минус тридцать. Отец Арсений старик, Лешка избит, оба истощены.

Потащили обоих надзиратели. Авсеенков и Сазиков из строя вышли и обратились к начальнику: "Гражданин начальник! Замерзнут на таком морозе, нельзя их в этот карцер, умрут там". Надзиратели наподдали обоим так, что от одного барака до другого очумелыми летели.

Иван Карий голову в плечи вобрал и чувствует, что не жилец он в бараке, свои же за донос пришьют.

Привели о. Арсения и Алексея в карцер, втолкнули. Упали оба, разбились, кто обо что. Остались в темноте. Поднялся о. Арсений и проговорил: "Ну! Вот и привел Господь вдвоем жить. Холодно, холодно, Алеша. Железо кругом".

За дверью громыхал засов, щелкал замок, смолкли голоса и шаги, и в наступившей тишине холод схватил, сжал обоих. Сквозь узкое решетчатое окно светила луна, и ее молочный свет слабо освещал карцер.

"Замерзнем, о. Арсений, — простонал Алексей. — Из-за меня замерзнем. Обоим смерть, надо двигаться, прыгать, и все двое суток. Сил нет, весь разбит, холод уже сейчас забирает. Ноги окоченели. Так тесно, что и двигаться нельзя. Смерть нам, о. Арсений. Это не люди! Правда? Люди не могут сделать того, что сделали с нами. Лучше расстрел!"

Отец Арсений молчал. Алексей пробовал прыгать на одном месте, но это не согревало. Сопротивляться холоду было бессмысленно. Смерть должна была наступить часа через два-три, для этого их и послали сюда.

"Что Вы молчите? Что Вы молчите, о. Арсений?" — почти кричал Алексей, и, как будто пробиваясь сквозь дремоту, откуда-то издалека прозвучал ответ:

"Молюсь Богу, Алексей!" "О чем тут можно молиться, когда мы замерзаем?" — проговорил Алексей и замолчал.

"Одни мы с тобой, Алеша! Двое суток никто не придет. Будем молиться. Первый раз допустил Господь молиться в лагере в полный голос. Будем молиться, а там воля Господня".

Холод забирал Алексея, но он отчетливо понял, что сходит с ума о. Арсений, тот, стоя в молочной полосе лунного света, крестился и вполголоса что-то произносил.

Руки и ноги окоченели полностью, сил двигаться не было. Замерзал. Алексею все стало безразлично.

Отец Арсений замолк, и вдруг Алексей услышал отчетливо произносимые отцом Арсением слова и понял — это молитва.

В церкви Алексей был один раз из любопытства. Бабка когда-то его крестила. Семья неверующая, или, вернее сказать, абсолютно безразличная к вопросам религии, не знающая, что такое вера. Алексей — комсомолец, студент. Какая могла быть здесь вера?

Сквозь оцепенение, сознание наступающей смерти, боль от побоев и холода сперва смутно, но через несколько мгновений отчетливо стали доходить до Алексея слова: "Господи Боже! Помилуй нас грешных, Многомилостиве и Всемилостиве Боже наш, Господи Иисусе Христе, многия ради любве сшел и воплотился еси, яко да спасеши всех. По неизреченной Твоей милости спаси и помилуй нас и отведи от лютыя смерти, ибо веруем в Тя, яко Ты еси Бог наш и Создатель наш..." И полились слова молитвы, и в каждом слове, произносимом о. Арсением, лежала глубочайшая любовь, надежда, упование на милость Божию и незыблемая вера.

Алексей стал вслушиваться в слова молитвы. Вначале смысл их смутно доходил до него, было что-то непонятное, но чем больше холод охватывал его, тем отчетливее осознавал он значение слов и фраз. Молитва охватывала душу спокойствием, уводила от леденящего сердце страха и соединяла со стоящим с ним рядом стариком — о. Арсением.

"Господи Боже наш Иисусе Христе! Ты рекл еси пречистыми устами Твоими, когда двое или трое на земле согласятся просить о всяком деле, дано будет Отцом Моим Небесным, ибо где двое или трое собраны во Имя Мое, там и Я посреди них..." И Алексей повторял: "... дано будет Отцом Моим Небесным, ибо где двое или трое собраны во Имя Мое, там и Я посреди них..."

Холод полностью охватил Алексея, все застыло в нем. Лежал ли, сидел на полу, или стоял, он не сознавал. Все леденело. Вдруг наступил какой-то момент, когда карцер, холод, оцепенение тела, боль от побоев, страх исчезли. Голос о. Арсения наполнял карцер. Да карцер ли? "Там Я посреди них..." Кто же может быть здесь? Посреди нас. Кто? Алексей обернулся к о. Арсению и удивился. Все кругом изменилось, преобразилось. Пришла мучительная мысль: "Брежу, конец, замерзаю".

Карцер раздвинулся, полоса лунного света исчезла, было светло, ярко горел свет, и о. Арсений, одетый в сверкающие

белые одежды, воздев руки вверх, громко молился. Одежды о. Арсения были именно те, которые Алексей видел на священнике в церкви.

Слова молитв, читаемые о. Арсением, сейчас были понятны, близки, родственны — проникали в душу. Тревоги, страдания, опасения ушли, было желание слиться с этими словами, познать их, запомнить на всю жизнь.

Карцера не было, была церковь. Но как они сюда попали, и почему еще кто-то здесь, рядом с ними? Алексей с удивлением увидел, что помогали еще два человека, и эти двое тоже были в сверкающих одеждах и горели необъяснимым белым светом. Лиц этих людей Алексей не видел, но чувствовал, что они прекрасны.

Молитва заполнила все существо Алексея, он поднялся, встал с о. Арсением и стал молиться. Было тепло, дышалось легко, ощущение радости жило в душе. Все, что произносил о. Арсений, повторял Алексей, и не просто повторял, а молился с ним вместе.

Казалось, что о. Арсений слился воедино со словами молитв, но Алексей понимал, что он не забывал его, а все время был с ним, и помогал ему молиться.

Ощущение, что Бог есть, что Он сейчас с ними, пришло к Алексею, и он чувствовал, видел своей душой Бога, и эти двое были Его слуги, посланные Им помогать о. Арсению.

Иногда приходила мысль, что они оба уже умерли или умирают, а сейчас бредят, но голос о. Арсения и его присутствие возвращали к действительности.

Сколько прошло времени, Алексей не знал, но о. Арсений обернулся и сказал: "Пойди, Алеша! Ложись, ты устал, я буду молиться, ты услышишь". Алексей лег на пол, обитый железом, закрыл глаза, продолжая молиться. Слова молитвы заполнили все его существо: "... согласятся просить о всяком деле, дано будет Отцом Моим Небесным..." На тысячи ладов откликалось его сердце словам: "... Собраны во Имя Мое..." "Да, да! Мы не одни!" — временами думал Алексей, продолжая молиться.

Было спокойно, тепло, и вдруг откуда-то пришла мать и, как это еще было год тому назад, закрыла его чем-то теплым. Руки сжали ему голову, и она прижала его к своей груди. Он хотел сказать: "Мама, ты слышишь, как молится о. Арсений? Я узнал, что есть Бог. Я верю в Него".

Хотел ли он сказать или сказал, но мать ответила: "Алешенька! Когда тебя взяли, я тоже нашла Бога, и это дало мне силы жить".

Было хорошо, ужасное исчезло. Мать и о. Арсений были рядом. Прежде незнакомые слова молитв сейчас обновили, согрели душу, вели к прекрасному. Необходимо было сделать

все, чтобы не забыть эти слова, запомнить на всю жизнь. Надо не расставаться с о. Арсением, всегда быть с ним.

Лежа на полу у ног о. Арсения, Алексей слушал сквозь легкое состояние полузабытья прекрасные слова молитв. Было беспредельно хорошо. О.Арсений молился, а двое в светлых одеждах молились и прислуживали ему и, казалось, удивлялись, как молится этот человек.

Сейчас он уже ничего не просил у Господа, а славил Его и благодарил. Сколько времени продолжалась молитва о. Арсения и сколько времени лежал в полузабытьи Алексей, никто из них не помнил.

В памяти Алексея осталось только одно — слова молитв, согревающий и радостный свет, молящийся о. Арсений, двое служащих в одеждах из света и огромное, ни с чем не сравнимое чувство внутреннего обновляющего тепла.

Били по дверному засову, визжал замерзший замок, раздавались голоса. Алексей открыл глаза. Отец Арсений еще молился. Двое в светлых одеждах благословили его и Алексея и медленно вышли. Ослепительный свет постепенно исчезал, и наконец карцер стал темным и по-прежнему холодным и мрачным.

"Вставайте, Алексей! Пришли", — сказал о. Арсений. Алексей встал. Входили начальник лагеря, главный врач, начальник по режиму и начальник "особого отдела" Абросимов. Кто-то из лагерной администрации говорил за дверью: "Это недопустимо, могут сообщить в Москву. Кто знает, как на это посмотрят. Мороженые трупы —не современно".

В карцере стояли: старик в телогрейке, парень в разорванной одежде и с кровоподтеками и синяками на лице. Выражение лиц того и другого было спокойным, одежда покрылась толстым слоем инея.

"Живы? — с удивлением спросил начальник лагеря. — Как вы тут прожили двое суток?"

"Живы, гражданин начальник лагеря", — ответил о. Арсений.

Стоящие удивленно переглянулись.

"Обыскать", — бросил начлага.

"Выходи", — крикнул один из пришедших надзирателей.

Отец Арсений и Алексей вышли из карцера. Сняв перчатки, стали обыскивать. Врач также снял перчатку, засунул руку под одежду о. Арсения и Алексея и задумчиво, ни к кому не обращаясь, сказал: "Удивительно! Как могли выжить! Действительно, теплые".

Войдя в камеру и внимательно осмотрев ее, врач спросил: "Чем согревались?" И о. Арсений ответил:

"Верой в Бога и молитвой".

"Фанатики. Быстро в барак", — раздраженно сказал кто-то из начальства. Уходя, Алексей слышал спор, возникший между пришедшими. Последняя фраза, дошедшая до его слуха, была: "Поразительно! Необычный случай, они должны были прожить при таком морозе не более четырех часов. Это поразительно, невероятно, учитывая 30-градусный мороз. Вам повезло, товарищ начальник лагеря по режиму! Могли быть крупные неприятности.

Барак встретил о. Арсения и Алексея, как воскресших из мертвых, и только все спрашивали:

"Чем спасались?" — на что оба отвечали: "Бог спас".

Ивана Карего через неделю перевели в другой барак, а еще через неделю придавило его породой. Умирал мучительно. Ходили слухи, что своя же братва помогла породе придавить его.

Алексей после карцера переродился, он привязался к о. Арсению и всех, находившихся в бараке, расспрашивал о Боге и о православных службах.

Записано со слов Алексея и некоторых очевидцев по бараку.

НАДЗИРАТЕЛЬ СПРАВЕДЛИВЫЙ

Надзирателя Веселого сменили и вместо него назначили нового, которому за неукоснительное требование по выполнению лагерных правил, но справедливое отношение к заключенным дали прозвище "Справедливый".

К о. Арсению новый надзиратель относился безразлично и, если находил какие-то неполадки, то говорил насмешливо:

"Службу, службу, батюшка, надо исправно править".—

Скажет и пойдет, а через час зайдет проверить.

Летом со Справедливым произошел необычный случай. Пошел он осматривать бараки, территорию вокруг них, а о. Арсений в это время подметал дорожки между бараками.

Прошел Справедливый по баракам, остановился на одной дорожке, вынул что-то из кармана бокового, раскрыл бумажник, посмотрев, положил назад и пошел дальше.

Отец Арсений, подметая дорожки, дошел до того места, где стоял надзиратель, и увидел, что на земле валяется красная книжечка, поднял, а это оказался партийный билет Справедливого. О.Арсений поднял билет, положил в карман телогрейки, закончил подметать и пошел убирать барак, но поглядывает в окно, не идет ли надзиратель. Часа через два бежит Справедливый сам не свой. О.Арсений вышел из бара-

ка и пошел ему навстречу. Потерять партийный билет, да еще в лагере, было бы для надзирателя в то время подобно смерти. Справедливый все это понимал. Бежит Справедливый по лагерным дорожкам, лицо от расстройства почернело, под ноги смотрит и все вокруг внимательно рассматривает, а народ по дорожкам уже ходил. О.Арсений подошел к надзирателю и сказал: "Гражданин надзиратель! Разрешите обратиться!" Лицо Справедливого перекосилось от злости, и он закричал: "Прочь, поп, с дороги", — и даже размахнулся для удара, а о. Арсений молча подал ему билет и пошел в барак. Справедливый билет схватил и закричал: "Стой!" И, подойдя, спросил: "Ну! Кто видел?" — "Никто не видел, гражданин надзиратель. Нашел на дорожке часа два тому назад".

Повернулся Справедливый и пошел. Ничего вроде бы не изменилось, но стал надзиратель с о. Арсения все строже спрашивать, и подумалось, уж не хочет ли Справедливый убрать о. Арсения, как нежелательного свидетеля. В лагерях такие дела просто делались, убил надзиратель заключенного, а докладывает начальству: "Напал на меня", и благодарность еще за бдительность получит.

Убрать заключенного в лагере существовала тысяча разных способов, и все они были безнаказанными.

Время шло...

Записано по рассказу Андрея Ивановича, бывшего надзирателя в бараке, где долгие годы провел о. Арсений. Использованы также отдельные рассказы и воспоминания о. Арсения.

"МАТЕРЬ БОЖИЯ! НЕ ОСТАВИ ИХ!"

В основу написанного здесь положены воспоминания о. Арсения, рассказанные им самим близким своим духовным детям, а также и мне.

Мои послелагерные встречи с Авсеенковым, Сазиковым и Алексеем-студентом также послужили основой для восстановления всего происшедшего, так как эти люди присутствовали при физической смерти о. Арсения в бараке, а также были очевидцами его возвращения к жизни.

Написав все это, я счел необходимым показать рукопись о. Арсению. Он, прочтя ее, долго молчал и на мой вопрос: "Разве что не так?" — ответил:

"Великую милость явили мне Господь и Матерь Божия, показав самое сокровенное и великое — душу человеческую, исполненную Веры, Любви и Добра. Показали, что никогда

не оскудеет вера и множество людей несет ее в себе, одни пламенно, другие трепетно, иные несут в себе искру, и необходим приход пастыря, чтобы возгорелась малая искра в неугасимое пламя веры. Показал Господь, что люди, несущие веру, и особенно пастыри душ человеческих, должны помогать и бороться за каждого человека до последних сил своих и последнего своего вздоха, и основой борьбы за душу являются любовь, добро и помощь ближнему своему, оказываемая не ради себя, а ради брата своего. По отношению человека люди судят о вере и Христе, ибо сказано: "От дел своих оправдаешься и от дел своих осудишься". И еще сказано: "Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов".

То, что произошло со мною, было для меня величайшим уроком, наставлением и поставило меня на свое место. Будучи много лет в лагерях и сохраняемый в них милостью Божией, я подумал, что верой я силен, но, когда умер, показали мне Господь и Матерь Божия, что недостоин я даже коснуться одежды многих людей, находящихся в заключении, и должен учиться и учиться у них. Смирил меня Господь, поставил на место, которое должен я был занимать, показал глубокое мое несовершенство и дал время на исправление моих ошибок и заблуждений. Исправил ли я их только? Господи! Помоги мне".

Сказав это, о. Арсений взял рукопись и через несколько дней возвратил мне ее. Читая после просмотра написанное, я увидел внесенные им исправления и дописанные места. Вот в таком виде и лежит перед вами эта тетрадка. Отдавая мне рукопись, о. Арсений сказал: "Пока я жив, не показывайте никому, а умру — тогда и читать можно".

* * *

Жаркое изнурительное лето и вечно жужжащего гнуса сменила промозглая, дождливая и холодная осень. Землю попеременно охватывал то мороз, то потоки оттаявшей грязи. В бараке было сыро и холодно, и поэтому по-особенному тяжко. Одежда на заключенных неделями не просыхала, мокрые ноги были вечно стерты и постоянно болели. Началась повальная эпидемия тяжелого лагерного гриппа.

Ежедневно в бараке умирало по три—пять человек. Дошла очередь и до о. Арсения. Слег он. Температура за сорок, озноб, кашель, мокрота, сердце отказывается работать.

В "особом" при повальных гриппозных заболеваниях в больницу не клали, вот если ногу, руку отрезало или сломали, голова пробита, то клали на излечение, а при любой форме

гриппа лежи и лечись в бараке. В лагерях "закон": на ногах стоишь — работай, упал — докажи, что не симулянт. Доказал — будут лечить, если начальство одобрит.

В лагере установлен план выработки на каждого заключенного, начальство за перевыполнение плана ежемесячную премию получает. Заключенный хотя этого и не видит, но за ним идет контроль рублем. Начальство обязано соблюдать лагерный режим, так что "телячьи нежности" разводить некогда.

Заболел заключенный, температура высокая, надо у надзирателя-воспитателя просить разрешения, чтобы идти в санчасть. Там температуру замерят, если ниже 39 градусов, то топай на работу, а заспоришь — в карцер засадят, и надзиратель в морду даст для повышения твоей сознательности. Если температура выше тридцати девяти — лежи в бараке, но каждый день являйся в санчасть. Когда же лежишь в бараке без памяти, по вызову старшего по бараку придет фельдшер, смеряет температуру, бросит лекарство, ну тогда лежи, выкарабкивайся, но не прозевай, когда температура до тридцати восьми упадет.

В общем, закон: ходить можешь, то иди лучше работай, с лагерными врачами не связывайся. Врачи в "особом" вольнонаемные, дело свое хорошо знали, чуть что крик: "Симулянт! Марш на работу. В карцер пошлю!" В лагере среди заключенных врачей было много, но работать по специальности им не разрешали, а использовали на общих работах, и при этом тяжелых.

Когда заболел о. Арсений, то на третий день врач из заключенных осмотрел его, позвал для консультации профессора-легочника, тот тоже прослушал. Постояли, поговорили между собой и сказали Авсеенкову: "У больного общее воспаление легких, полное истощение, авитаминоз, сердце изношено. Дела его плохи, вряд ли проживет больше двух дней. Нужны лекарства, кислород, уход, но при таком истощении всего организма уже ничего не поможешь".

Отец Арсений почти старик. В "особом" не один год, за это время барак не один раз обновлялся, из "старожилов" осталось человек десять—двенадцать. Глядя на "старожилов", начальство лагерное и сами заключенные искренне удивлялись — как и почему эти "патриархи" барака еще живы.

Вызвали через надзирателя фельдшера, осмотрел он о. Арсения издалека, с расстояния двух метров, бросил аспирин, градусник дал Авсеенкову, чтобы тот измерял температуру о. Арсению, посмотрел, что сорок с лишним и, сказав "грипп", ушел.

О.Арсению все хуже и хуже. Друзья видят, что пришел его черед умирать, пытаются спасти. Окольными путями послали

в больницу ходока, включились в помощь дружки из уголовников, обхаживают надзирателей, где-то достали сухую горчицу, малину, несли все, что могли. Ходок, проникший через верных людей в больницу, просит помощи, лекарства, рассказывает, что с о. Арсением. Врач ходока выслушал и спросил: "Сколько лет зеку и в лагере который год?" Ходок объясняет, что больному сорок девять и в "особом" три года.

Врач на это только ответил: "Вы что, думаете, что лагерь "особого режима" — санаторий и зеки в нем до ста лет должны жить? Ваш больной рекордсмен, три года прожил. Пора и честь знать. Лекарств нет, для фронта нужны".

...Температура поднималась, все чаще и чаще исчезало сознание. Авсеенков аспирином с малиной о. Арсения поит, Сазиков тряпку горчицей обмазал и положил на грудь и спину. Врачи из заключенных, придя с работы, тоже помогают, чем могут, но о. Арсению становится все хуже и хуже, затихать временами стал. Умирает.

Смерть в лагере дело обычное, привыкли все к ней, а тут все, как один человек, как-то по-особому переживали. (Из конца в конец только и слышалось: "Умирает о. Арсений, умирает Петр Андреевич". Ибо для каждого сделал он что-то хорошее, доброе. Уходил человек необычный, понимали это и политические и уголовники.) (Фраза в скобках включена мною в воспоминания только после смерти о. Арсения и принадлежит Сазикову и Алексею-студенту.)

Молится и молится о. Арсений, чувствует помощь друзей своих, но постепенно стал затихать.

"Отходит", — проговорил кто-то. Затих о. Арсений и сам чувствует, что умирает: барак, Сазиков, Авсеенков, Алексей, врач Борис Петрович — все куда-то ушло, провалилось, пропало.

Через какое-то время о. Арсений почувствовал необычайную легкость, охватившую его, и услышал, что его окружает тишина. Спокойствие пришло к нему. Одышка, мокрота, заливавшая горло, жар, сжигавший тело, слабость и беспомощность исчезли. Он чувствовал себя здоровым и бодрым.

Сейчас о. Арсений стоял около своих нар, а на них лежал худой, истощенный, небритый, почти седой человек со сжатыми губами и полуоткрытыми глазами. Около лежащего стояли: Авсеенков, Сазиков, Алексей и еще несколько заключенных, знаемых и любимых о. Арсением. О.Арсений стал вглядываться в лежащего человека и вдруг с удивлением осознал, что это же лежит он, о. Арсений.

Друзья, собравшиеся около нар, огромный барак с его многочисленным населением, обширный лагерь вдруг стали как-то особенно видны о. Арсению, и он понял, что сейчас видит не только физический облик людей, но и душу их.

Сквозь охватившую его тишину он видел движение заключенных, не слышал, но почему-то отчетливо понимал, что говорили и думали эти люди. Со страхом понял о. Арсений, что видит состояние и содержание каждой души человеческой, но, однако, он уже не был с этими людьми, он уже не жил в том мире, из которого только что ушел.

Невидимая черта четко отделяла его от этого мира, и эту невидимую черту он не мог преодолеть.

Вот Сазиков поднес кружку с водой к "его" губам и попытался влить в рот, но не смог. Вода облила лицо. Что-то говорили между собой Авсеенков и Алексей и другие стоящие люди.

Отец Арсений, стоя в ногах своего собственного тела, смотрел на себя и окружающих людей, как посторонний, и вдруг понял, что душа его покинула тело, и он, иерей Арсений, физически мертв.

Отец Арсений растерянно оглянулся, барак уходил в темноту, но где-то в темноте, далеко-далеко горел ослепительный свет.

Сосредоточившись, о. Арсений стал молиться и сразу почувствовал спокойствие, понял, что надо куда-то идти и пошел к ослепительному свету, но, сделав несколько шагов, вернулся в барак, подошел к своим нарам и, смотря на Алексея, Александра Павловича, Иванова, Сазикова, Авсеенкова и многих, многих, с кем проходил в лагере тернистый путь страданий, понял, что не может оставить этих людей, не может уйти от них.

Став на колени, он стал молиться, умоляя Господа не оставить Алексея, Авсеенкова, Александра, Федора, Сазикова и всех тех, с кем он жил в лагере.

"Господи! Господи! Не оставь их! Помоги и спаси!" — взывал он и особенно просил Матерь Божию, умоляя Ее не покинуть, не оставить Милостью Своей заключенных "особого".

Молясь, плача, умоляя и взывая ко Господу, Матери Божией и Святым, просил о. Арсений милости, но все было безмолвным, и только барак и весь лагерь предстали перед духовным взором иерея Арсения как-то особенно. Весь живущий лагерь со всеми живущими в нем заключенными и охраной увидел о. Арсений как бы изнутри. Каждый человек нес в себе душу, которая сейчас была ощутимо видна для о. Арсения.

У одних душа была объята пламенем веры и опаляла этим пламенем окружающих, у других, как у Сазикова и Авсеенкова, горела небольшим, но все разгорающимся огнем, у некоторых искры веры тлели, и нужен был только приход пастыря, чтобы раздуть их в пламя. Но были люди, у которых душа была темной, мрачной, без малейшего намека на искру Све-

та. Всматриваясь сейчас в души людей, раскрывшиеся ему по велению Божию, о. Арсений испытал величайшее волнение.

"Господи! Господи! Я жил среди этих людей и не замечал, и не видел их. Сколько прекрасного несут они в себе, сколько здесь настоящих подвижников веры, нашедших себя среди окружающего мрака духовного и невыносимых человеческих страданий, и не только нашедших себя для себя, но отдающих жизнь свою и любовь окружающим людям, помогающих всем словом своим и делом.

Господи! Где же я был, ослепленный своею гордостью и малое делание мое принявший за большое!"

Отец Арсений видел, что Свет веры горел не только у заключенных, но был у некоторых людей охраны и администрации, по мере сил своих и возможностей совершавших добро, а для них это было большим подвигом.

"К чему все это, — пронеслось в мыслях о. Арсения, — к чему?" Он стоял, всматриваясь в духовный мир людей, людей, с которыми он постоянно жил, общался, говорил или видел, и каким неожиданно многообразным и духовно прекрасным предстал он перед ним. Люди, казавшиеся в общей массе заключенных духовно опустошенными и обезличенными, несли в себе столько веры, столько неисчерпаемой любви к окружающим, совершали добро и безропотно несли свой жизненный крест, а он, о. Арсений, живя с ними рядом, он — иеромонах Арсений — видел только около себя и не заметил их, не увидел этого, не нашел общения с этими людьми.

"Господи! Где же был я? Прости и помилуй мя, что я только видел себя и обольщался собой, мало верил в людей".

Склонившись, о. Арсений долго молился. Поднявшись с колен, он увидел, что стоит еще в лагере, но раскрывшееся ему видение лагеря исчезло, пропали и нары, и барак. О.Арсений стоял у выхода из лагеря, кинжальные лучи прожекторов пробегали по территории его, у ворот стояли часовые. Была ночь, лагерь спал.

Обернувшись к лагерю, о. Арсений благословил его и стал молиться о тех, кто оставался в нем:

"Господи! Как я оставлю их? Как буду без них? Не остави всех здесь живущих Своею милостью. Помоги им", — и, опустившись на колени в снег, стал молиться.

Было холодно, ветер бросал снег, а о. Арсений стоял и ничего не чувствовал. Он долго молился и, поднявшись с колен, вышел из лагеря. Миновал охрану и пошел по дороге. В темноте ночи где-то далеко-далеко горел яркий зовущий свет, вот к нему и пошел о. Арсений. Шел легко, спокойно. Миновал лес, поселок и вдруг вошел в свой город, где была его, именно его церковь. Церковь, где он начинал служение, церковь-храм, в которую он вложил вместе со своими духов-

ными детьми много сил, чтобы восстановить старинное, древнее ее великолепие. "Что это, Господи! Почему я здесь?" — проговорил он про себя и вошел в церковь.

Первое, что он увидел, была икона Божией Матери, та древняя чудотворная икона, скорбный лик которой проникновенно и внимательно взирал на приходящих к Ней. В церкви все было так же, как он когда-то оставил ее, но сейчас она была полна народа, причем собравшихся было необычайно много. Лица молящихся были радостными и смотрели на икону Божией Матери.

Отец Арсений пошел к алтарю, молящиеся расступились, образуя проход, и он, с восторгом и благоговением смотря на иконы, как-то особенно легко шел вперед. Войдя в алтарь, стал готовиться к служению, хотел снять телогрейку, чтобы одеть облачение, но кто-то стоящий рядом повелительно сказал:

"Не снимайте, это тоже облачение для служения".

Взглянув, о. Арсений увидел свою стеганку, но она была какая-то сверкающая, ослепительно белая. Надев епитрахиль, он стал совершать служение и удивился: алтарь был залит ярким светом, вся церковь светилась, иконы как-то особенно выглядели на стенах и, казалось, ожили, молящихся было много, и они все углубились в молитву, и при этом лица их были радостными.

Совершая обедню, о. Арсений увидел, что вместе с ним служат иеросхимонах Герман, иерей Амвросий, дьякон Петр и еще несколько иереев. И он, о. Арсений, знает всех сослужащих с ним, а сбоку в алтаре скромно стоят владыки Иона, Антоний, Борис, его духовный отец и друг владыка Феофил, и они радостно смотрят на него, о. Арсения.

"Господи! — подумалось о. Арсению. — Ведь они давно умерли, а сейчас здесь. Хорошо, что мы вместе".

Служит о. Арсений, а душу его переполняет радость, молитва охватывает всего и поднимает ввысь.

Благословляя молящихся, увидел о. Арсений, что стоящих он тоже знает. Вот дети его духовные, вот прихожане этой церкви, а этих встречал и общался в своих странствиях или лагерях, жил когда-то с этими людьми. И все эти люди за кого-то молятся, просят. Взглянул о. Арсений на этих людей и отчетливо понял, что они, как и владыки и священники, сослужащие с ним, умерли, кто давно, а кто и недавно.

"Матерь Божия, что же это такое?" — пронеслось в мыслях о. Арсения, но, не ответив себе на этот вопрос, весь ушел в служение и молитву. Совершает обедню о. Арсений и чувствует, что сгорает он от радости и тепла внутреннего. Принял Святых Тайн, окончил служение и припал к образу Царицы Небесной Владимирской, моля о прощении грехов своих.

"Призвал меня, Мати Божия, на суд Свой Отец Небесный, ибо умер я, не остави меня грешного и буди заступница и ходатаица о душе моей грешной у Царя Небесного. Не остави меня. На Тя уповаю, аз есмь грешен и недостоин". Молясь о прощении грехов своих, просил он Матерь Божию не оставить Своею помощью всех, кого знал и кто оставался в миру. Просил за детей своих духовных и за тех, кто в лагерях с ним жил и там оставался. Просил за Алексея-студента, Сазикова, Авсеенкова, Абросимова, Áлчевского и многих, многих лагерных. Ушел весь в молитву, забыл о времени и так просил Царицу Небесную, что, казалось, молящиеся в храме слышали его молитву. Беспрерывно повторяя: "Мати Божия! Не остави их, страждущих", — плакал об оставленных навзрыд, заливаясь слезами.

Сжимается, ноет сердце о. Арсения — как же будут жить друзья его, оставленные в лагере? Знает: тяжко там, невыносимо и, припадая к иконе Божией Матери, просит и просит не оставить друзей его, помочь им, облегчить страдания и муки, превышающие меру человеческих тягот... И вдруг услышал голос, исполненной необычайной мягкости, отчетливости и в то же время повелительности:

"Не пришел еще час смерти твоей, Арсений. Должен ты еще послужить людям. Господь посылает тебя помогать детям моим. Иди и служи, не оставлю тебя помощью Своею".

Отец Арсений поднял голову, взглянул на икону и увидел, что Матерь Божия как бы сошла с иконы и стоит на месте ее. О.Арсений, пораженный, упал у ног Матери Божией и только повторяет: "Матерь Божия, не остави их. Помилуй мя грешного", — и опять услышал голос: "Подними лицо свое, Арсений, взгляни на Меня и скажи Мне, что хотел сказать и думал".

Поднял лицо о. Арсений, взглянул на Матерь Божию и, пораженный добротой Ее и величием неземным, склонившись низко, сказал:

"Матерь Божия, Владычица! Да исполнится воля Твоя и Господа, но я стар и немощен. Смогу ли я послужить людям, как Ты, Владычица, хочешь?"

А Матерь Божия продолжала: "Не один Ты у Меня, Арсений, со многими людьми служить Мне будешь, помогут тебе, и ты с ними многим поможешь. Показал тебе Господь сейчас, что у Него помощников много. Показал тебе Господь души людей, населяющих лагерь, не думай, что ты один совершаешь добро, во многих людях живет вера и любовь. Иди и служи Мне. Помогу тебе". И почувствовал о. Арсений, что коснулась головы его рука Матери Божией.

Встал о. Арсений с колен, вознес молитву еще и еще раз, снял епитрахиль, поклонился всем молящимся и священству и опять понял, что всех молящихся в храме знает,

большинство из них провожал он в последний путь и жизнь свою как-то связал с этими людьми.

Подошел к Царским вратам, встал на колени и, поднявшись с колен, обратился к молящимся, прося их молитв и помощи, и пошел к выходу из храма, благословляемый народом. Вышел из храма, душу переполняла радость. Идти было легко, шел к бараку, в лагерь. Лес, дорога, дома — все мелькало и неслось мимо него. Прошел мимо охраны, вошел в барак, увидел свой лежак, тело свое, лежащее на нем, людей, окружавших его. Вошел, лег на лежак и услышал разговор: "Все теперь! Холодеет. Умер наш о. Арсений. Пять часов уже прошло, скоро подъем, придется сообщить старшему".

Кто-то из окружающих продолжал: "Осиротел барак, многим помогал. Мне, боровшемуся всю жизнь против Бога, показал Его, и показал делами своими".

Неожиданно о. Арсений глубоко вздохнул и, испугав и поразив всех окружающих, проговорил: "Уходил я в храм, да вот Матерь Божия сюда к вам послала". И слова эти никому не показались странными или удивительными, так неожиданно поразительным было его возвращение к жизни.

Недели через две встал о. Арсений, но как-то странно ему все стало в бараке, по-другому и жизнь и люди видны. Все ему, чем могут, помогают, кто что может от обеда урвет и несет. Надзиратель Справедливый масла сливочного стал приносить и Сазикову отдавал для о. Арсения.

Встал, ожил о. Арсений. Тяжелая болезнь ушла.

Господь и Матерь Божия послали его служить людям, послали в мир.

МИХАИЛ

Поверка кончилась, заключенных по счету загнали в барак и заперли дверь. Перед сном можно было немного поговорить друг с другом, обменяться лагерными впечатлениями, новостями дня, забить партию в домино или лечь на нары и думать о прошлом. Часа два после закрытия барака еще слышались разговоры, но постепенно они стали стихать и тишина завладела бараком. Заключенные засыпали.

После закрытия барака о. Арсений долго стоял около нар и молился, а потом лег и, продолжая молиться, уснул. Спал, как всегда, тревожно. Приблизительно около часу ночи почувствовал, что кто-то его толкает. Вскочив, увидел незнакомого взволнованного человека, говорящего шепотом:

"Пойдемте скорее! Умирает сосед! Зовет Вас!"

Умирающий находился в другом конце барака, лежал на спине, дышал тяжело и прерывисто, глаза были неестественно широко открыты. "Простите. Нужны Вы мне. Ухожу, — сказал о. Арсению, а потом почти повелительно произнес:— Садитесь".

Отец Арсений сел на край нар. Свет, идущий из коридора, образуемого нарами, слабо освещал лицо умирающего, покрытое крупными каплями пота. Волосы слиплись, губы были болезненно сжаты. Был он измучен, смертельно болен, но глаза, широко открытые глаза, как два пылающих факела, смотрели на о. Арсения.

В этих глазах сейчас жила, горела и металась вся прожитая этим человеком жизнь. Он умирал, уходил из жизни, исстрадался, устал, но хотел отдать во всем отчет Богу.

"Исповедуйте меня. Отпустите. Я инок в тайном постриге". Соседи по нарам ушли и где-то легли. Все видели, что пришла смерть, и надо быть милостивым и снисходительным к умирающему даже в лагерном бараке. Склонившись к иноку, проведя рукой по его слипшимся коротким волосам, поправив рваное одеяло, о. Арсений положил руку на голову, шепотом прочел молитвы и, внутренне собравшись, приготовился слушать исповедь.

"Сердце сдало", — проговорил умирающий, назвав свое имя в иночестве "Михаил", и начал исповедь.

Склонившись к лицу лежащего, о. Арсений слушал чуть слышный шепот и невольно смотрел в глаза Михаила. Иногда шепот прерывался, в груди слышались хрипы, и тогда Михаил жадно ловил открытым ртом воздух. Временами замолкал, и тогда казалось, что он умер, но в эти мгновения глаза продолжали жить, и о. Арсений, вглядываясь в них, читал все то, что хотел рассказать еле слышный прерывающийся шепот.

Многих людей исповедовал о. Арсений в их последний смертный час, и эти исповеди всегда до глубины души потрясали его, но сейчас, слушая исповедь Михаила, о. Арсений отчетливо понял, что перед ним лежит человек необычайной, большой духовной жизни. Умирал Праведник и молитвенник, положивший и отдавший свою жизнь Богу и людям.

Умирал Праведник, и о. Арсений стал сознавать, что иерей Арсений недостоин поцеловать край одежды инока Михаила и ничтожен и мал перед ним.

Шепот прерывался все чаще и чаще, но глаза горели, светились, жили, и в них, в этих глазах, по-прежнему читал о. Арсений все, что хотел сказать умирающий.

Исповедуясь, Михаил судил сам себя, судил сурово и беспощадно. Временами казалось, что он отдалился от самого себя и созерцал другого человека, который умирал. Вот этого умирающего он и судил, вместе с о. Арсением. И о. Арсений

видел, что житейский мир, как корабль со всем его грузом тягот, тревог и горестей прошлого и настоящего, уже отплыл от Михаила в далекую страну забвения, и сейчас осталось только то, что необходимо было подвергнуть рассмотрению, отбросив все наносное, лишнее, и отдать это главное в руки присутствующего здесь иерея Арсения, и он властию Бога должен был простить и разрешить содеянное.

За считанные минуты, оставленные ему для жизни, должен был инок Михаил передать о. Арсению, все открыто показать Богу, осознать свои прегрешения и, очистившись перед судом своей совести, предстать перед судом Господа.

Человек умирал так же, как умирали многие и многие в лагерях на руках о. Арсения, но эта смерть потрясла и повергла о. Арсения в трепет, и он понимал, что Господь даровал ему великую милость, разрешив исповедовать этого праведника.

Господь показывал сейчас Свое величайшее сокровище, которое Он долго и любовно растил, показывал, до какой степени духовного совершенства может подняться человек, бесконечно полюбивший Бога, взявший, по апостольским словам, "иго и бремя" христианства на себя и понесший его до конца. Все это видел и понимал о. Арсений.

Исповедь умирающего Михаила давала возможность увидеть, как в неимоверно сложных условиях современной жизни, во время революционных потрясений, культа личности, сложных человеческих отношений, официально поддерживаемого атеизма, общего попрания веры, падения нравственности, постоянной слежки и доносов и отсутствия духовного руководства человек глубокой веры может преодолеть все мешающее и быть с Богом.

Не в скиту или уединенной монастырской келье шел Михаил к Богу, а в сутолоке жизни, в грязи ее, в ожесточенной борьбе с окружающими его силами зла, атеизма, богоборчества. Духовного руководства почти не было, были случайные встречи с тремя-четырьмя иереями и почти годовое радостное общение с владыкой Федором, постригшим Михаила в монахи, а далее два-три коротких письма от него и неистребимое, горячее желание идти и идти ко Господу.

"Шел ли я путем веры, шел ли я так, как надо, к Богу, или шел неправильно? Не знаю", — говорил Михаил.

Но о. Арсений видел, что не только не отступил Михаил от предначертанного пути, на который направлял его владыка Федор, а далеко, далеко прошел по этому пути, опередив и превзойдя своих наставников.

Жизнь Михаила была подобна битве в пути за духовное и нравственное совершенство среди обыденной жизни века сего, и о. Арсений понимал, что Михаил выиграл эту битву,

битву, где он был один на один со злом, окружавшим его. И живя среди людей, творил добро во имя Бога и нес в душе, как пылающее пламя, слова апостола: "Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов".

Отец Арсений понимал все совершенство и величие Михаила, сознавал свое ничтожество и страстно молил Господа дать ему, о. Арсению, силы облегчить последние минуты умирающего. Временами о. Арсению становилось беспомощно и в то же время восторженно от сознания близости с Михаилом, предсмертная исповедь которого открывала ему сокровенные пути Господни, учила и наставляла на путь глубочайшей веры.

И вот наступил момент, когда Михаил отдал все, что было на душе, о. Арсению и, отдав через него Господу, вопросительно взглянул на о. Арсения. И взяв бремя грехов умирающего и держа в руках своих, принял о. Арсений все на душу свою иерейскую и затрепетал, затрепетал еще раз от сознания своего ничтожества и беспомощности человеческой и, провозгласив молитву отпущения рабу Михаилу, сперва внутренне зарыдал, а потом, не сдержавшись, заплакал на глазах умирающего.

Михаил, подняв глаза и устремив их на о. Арсения, произнес: "Спасибо! Успокойтесь! Настал час воли Божией, молитесь обо мне, пока живете на земле. Ваш земной путь еще долог. Прошу Вас, возьмите шапку мою, записка там к двум людям, души и веры они большой. Очень большой. Адреса написаны. На волю выйдете — передайте, и Вы им нужны, и они Вам. Номер на шапке перешейте. Молите Господа об иноке Михаиле".

Во все время исповеди были в бараке они одни. Барак, люди, его населяющие, обстановка барака — все отдалилось, ушло в какое-то небытие, и только состояние близости Бога, молитвенное созерцание и тишина внутреннего единения охватили их обоих и поставили перед Господом.

Все мучительное, мятежное, человеческое ушло — был Господь Бог, к которому сейчас один уходил, а другой был допущен созерцать великое и таинственное — смерть, уход из жизни.

Умирающий сжал руку о. Арсения, молился, молился столь проникновенно, что отделился от всего внешнего, а о. Арсений, прильнув к нему душой в молитвенном единении, отрешился от всего и благоговейно и безропотно шел за молитвой инока Михаила.

Но вот наступили минуты смерти, глаза умирающего засветились, загорелись тихим светом восторга, и он еле слышно произнес: "Не отрини меня, Господи!"

Михаил поднялся с нар, протянул вперед руки, почти шагнув, и громко произнес дважды: "Господи! Господи!"

И потянувшись еще немного вперед, упал навзничь и сразу вытянулся. Рука, державшая руку о. Арсения, разжалась, черты лица приобрели спокойствие, но глаза еще светились и с восторгом смотрели вверх, и о. Арсению показалось, что он воочию увидел, как душа Михаила покидала тело.

Потрясенный, о. Арсений упал на колени и стал молиться, но не о душе и спасении умершего, а о той великой милости к нему, о. Арсению, милости, даровавшей, сподобившей увидеть Неувиденное, Непознаваемое и самое таинственное из тайн — смерть Праведника.

Поднявшись с колен, о. Арсений склонился над телом Михаила, глаза которого были еще раскрыты и озарены светом, но свет постепенно гас, озаренность пропадала, чуть заметная дымка покрыла их, потом веки медленно закрылись, по лицу пробежала тень, и от этого лицо стало величественным, радостным и спокойным.

Склонившись над телом, о. Арсений молился, и хотя он только что присутствовал при смерти инока Михаила, на душе у него не было скорби, были спокойствие и внутренняя радость. Сейчас он видел Праведника, прикоснулся к Милости Божией и Славе Его.

Отец Арсений бережно оправил одежду умершего, поклонился телу Михаила и вдруг осознал, что он находится в бараке лагеря "особого режима", и мысль, как молния, еще и еще раз пришла к нему, что Бог, Сам Господь был сейчас здесь и принял душу Михаила.

Скоро должен был начаться подъем. О.Арсений взял шапку Михаила, спорол номера со своей и его шапки и пошел к старшому по бараку сказать о смерти Михаила.

Старшой из старых уголовников спросил номер умершего и посочувствовал. Барак открыли, заключенные выбегали на поверку, строились. Перед входом в барак стояли надзиратели, старшой по бараку, подойдя к ним, сказал: "Мертвяк у нас, N 382".

Один из надзирателей вошел в барак, посмотрел на умершего, толкнул тело носком сапога и вышел. Часа через два из санчасти приехали на санях за телом. Вошел врач из вольнонаемных, небрежно скользнул взглядом по телу Михаила, рукавицей поднял веко и брезгливо сказал дневальным: "Быстрее на отвоз".

В санях уже лежало несколько трупов. Михаила вынесли из барака и положили на тела других заключенных. Возница стал усаживаться на перекладину саней, опираясь ногами на окоченевшие тела мертвых. Было морозно и тихо, шел редкий снег и, падая на лица мертвых, медленно таял, от чего каза-

лось, что они плачут. Около барака стояли надзиратели, разговаривавшие с врачом, дневальные и о. Арсений, прижавший к груди руки и молящийся про себя.

Сани тронулись, о. Арсений, низко поклонившись, перекрестил мертвых и вошел в барак.

Возница, дергая вожжами, отвратительно ругаясь, понукал лошадей, и сани, медленно двигаясь, скрылись за бараком.

Записано в 1960 году со слов о. Арсения. В 1966 году разрозненные записи были систематизированы иеромонахом Андреем.

"ТЫ С КЕМ, ПОП?"

В начале заключения считаешь дни, потом недели, но уже на второй год наступает момент, когда ты ждешь только смерти. Изнурительная работа, полуголодное существование, драки, избиения, холод, оторванность от дома отупляли тебя, заставляли думать о неизбежности смерти в течение двух-трех лет лагерной жизни, поэтому основная масса заключенных морально опускалась, внутренне разлагалась.

У большинства из нас, политических, и у всех уголовников мысли менялись в соответствии с лагерной жизнью: приходом надзирателя, отнятым пайком, дракой, работой, которую дали бригаде, карцером, отмороженным пальцем или очередной смертью барачного жителя.

И в этих событиях наши мысли месились, как раствор глины, и от этого становились однозначными, ограниченными страшной лагерной действительностью. Основная масса заключенных мечтала нажраться до отвала, или, как говорили в лагере, "от пуза", выспаться дня два подряд, достать где-то пол-литра спирта, выпить его и опять нажраться. Но все это были несбыточные и неосуществимые мечты.

Очень малая часть политических заключенных старалась сохранить в себе человека, пыталась держаться особняком, поддерживать друг друга, не опускаться до уголовников, держаться с достоинством, насколько позволяла лагерная обстановка.

Эти заключенные собирались в пределах одного барака группой, читали лекции, стихи, воспоминания и иногда даже что-то писали на обрывках грубой бумаги. Часто возникали горячие споры по самым разнообразным вопросам, но особенно ожесточенными были споры на политические темы, в которые нередко ввязывались уголовники и заключенные из

безликой массы опустившихся политических. Спорили со злостью, ненавистью друг к другу. О. Арсений в спорах не участвовал, но один раз его втянули насильно.

Обыкновенно заключенные боялись высказываться, но спор разжигал страсти и заставлял забывать о возможных последствиях в "особом отделе", и иногда кто-нибудь из спорящих говорил: "Была не была, все равно подыхать, так хоть перед смертью выскажусь".

Прошла поверка, барак заперли, за стенами его метался ветер, снег завалил окна, было душно, сыро, но тепло. Лампочки горели в полнакала, и от этого становилось сумрачно и тоскливо, одиночество угнетало.

Заключенные собирались в группы, и начинались разговоры, споры, воспоминания. Уголовники играли в карты или в домино на деньги или пайки. Около одного лежака, недалеко от нар о. Арсения, собралось несколько человек, и в скором времени возник ожесточенный спор на тему: "Отношение зеков (заключенных) к власти".

Минут через пятнадцать народу стало уже человек двадцать, спор приобрел острый характер. Люди перебивали друг друга, угрожали. Собрались бывшие партийцы, интеллигенты разных профессий, несколько бывших власовцев и еще какие-то заключенные. Раздавались крики: "За что сидим? Ни за что. Где справедливость? Расстрелять всех их надо!"

Лица спорящих были озлобленными, раздраженными, и только трое или четверо бывших членов партии возражали и пытались доказать, что все происходящее является какой-то грандиозной ошибкой, которую рано или поздно исправят, и что все происходящее, возможно, является вредительством и что Сталин ничего об арестах не знает или его обманывают.

"Обманывают, а пол-России посадили, это продуманная система уничтожения кадров", — вопил какой-то голос.

"Знает Сталин, это его приказ", — вторил другой.

Один из заключенных, осужденный за агитацию и подготовку покушения на жизнь Сталина, был особенно озлоблен. Лицо его кривилось, голос дрожал. Несколько власовцев так же ожесточенно ругали все и вся.

"Уничтожать их надо, вешать, расстреливать, партийцев этих".

Секретарь одного из ленинградских райкомов, большевик с 17-го года, буквально на кулаках сцепился с каким-то типом, служившим у немцев.

"Предатель, — кричал секретарь, — тебя расстрелять надо, а ты еще живешь!" — "Я-то таких, как ты, повешал и пощелкал не один десяток, жалею, что ты, падло, не попался. За дело сижу, а ты своим задницу лизал и со мной здесь дохнешь, как предатель". — "Я предатель? Я предатель? Да я

советскую власть утверждал!" — "Я да я, а сидишь, как предатель, вот и вся твоя власть в этом сказалась".

Кругом смеются, но спор по-прежнему остается ожесточенным. Один из заключенных проговорил: "Церкви разрушали, веру попрали". Кто-то из собравшихся, увидев о. Арсения, сидевшего на своих нарах, сказал, обращаясь к нему: "А ну-кось, Петр Андреевич! Слово свое о властях скажите. Как церковь к власти относится?"

Отец Арсений промолчал, но его буквально втащили в круг спорящих. Секретарь райкома, друживший с о. Арсением, как-то сразу поник. Что должен был ответить о. Арсений, всем было ясно, слишком уж много натерпелся он в лагерях.

Власовец Житловский, командир какого-то соединения во власовской армии, в прошлом журналист и командир Красной Армии, человек жестокий и властный, державший в своих руках группу власовских офицеров, живших в лагере и бараке, снисходительно смотрел на о. Арсения.

Власовцы держались в лагере независимо, ничего не боялись, так как им все уже было отмерено, конец свой знали и сидели действительно за дело. "Давай, батя, сыпь!"

Отец Арсений, помедлив несколько мгновений, сказал: "Жаркий спор у вас. Злой. Трудно, тяжело в лагере, и знаем мы конец свой, поэтому так ожесточились. Понять вас можно, да только никого уничтожать и резать не надо. Все сейчас ругали власть, порядки, людей и меня притащили сюда лишь для того, чтобы привлечь к одной из спорящих сторон и зтим самым досадить другой.

Говорите, что коммунисты верующих пересажали, церкви позакрывали, веру попрали. Да, внешне все выглядит так, но давайте посмотрим глубже, оглянемся в прошлое. В народе упала вера, люди забыли свое прошлое, забросили многое дорогое и хорошее. Кто виновен в этом? Власти? Виноваты мы с вами, потому что собираем жатву с посеянных нами же семян.

Вспомним, какой пример давали интеллигенция, дворянство, купечество, чиновничество народу, а мы, священнослужители, были еще хуже всех.

Из детей священников выходили воинствующие атеисты, безбожники, революционеры, потому что в семьях своих видели они безверие, ложь и обман. Задолго до революции утратило священство право быть наставником народа, его совестью. Священство стало кастой ремесленников. Атеизм и безверие, пьянство, разврат стало обычным в их среде.

Из огромного количества монастырей, покрывавших нашу землю, лишь пять или шесть были светочами христианства, его совестью, духом, совершенством веры. Это — Валаамский монастырь, Оптина пустынь с ее великими старцами,

Дивеевская обитель, Саровский монастырь, а остальные стали общежитиями почти без веры, а часто монастыри, особенно женские, потрясали верующих своей дурной славой.

Что мог взять народ от таких пастырей? Какой пример? Плохо воспитали мы сами народ свой, не заложили в него глубокий фундамент веры. Вспомните все зто. Вспомните! Поэтому так быстро забыл народ нас, своих служителей, забыл веру и принял участие в разрушении церквей, а иногда и сам первый начинал разрушать их.

Понимая зто, не могу я осуждать власть нашу, потому что пали семена безверия на уже возделанную нами же почву, а отсюда идет и все остальное, лагерь наш, страдания наши и напрасные жертвы безвинных людей. Однако скажу вам, что бы ни происходило в моем отечестве, я гражданин его и как иерей всегда говорил своим духовным детям: надо защищать его и поддерживать, а что происходит сейчас в государстве, должно пройти, зто грандиозная ошибка, которая рано или поздно должна быть исправлена".

"Попик-то наш красненький, — сказал Житловский. — Придавить тебя надо за такую паскудную проповедь. Святошей притворяешься, а сам в агитаторах ходишь, на "особый отдел" работаешь", — и с силой вытолкнул о. Арсения из круга спорящих.

Спор продолжался с прежней силой, но кое-кто из спорящих стал покидать собравшихся.

После зтого спора некоторые заключенные стали преследовать о. Арсения и особенно из группы Житловского. Раза два избили его ночью, облили мочой нары, отнимали пайку. Мы, дружившие с ним, решили оберегать о. Арсения от людей Житловского, зная, что это народ отпетый, который может сделать все, что хочет.

Как-то вечером пришел киевлянин Жора Григоренко, близкий друг Житловского, и позвал о. Арсения к своему шефу. О.Арсений пошел. Житловский, развалившись на нарах, говорил со своими дружками, собравшимися вокруг: "Ну-ка, поп? С нами или с большевиками пойдешь, душа продажная? На "особый отдел" работаешь, исповедуешь нашего брата, а потом доносишь? Пришьем тебя скоро, а сейчас выпорем для примера. Давай, Жора. Хотя дай попу высказаться".

Жора Григоренко был всеми ненавидим. Коренастый, широкий в плечах, с головой без шеи, лицом, прорезанным шрамом, отчего лицо было перекошено и постоянно улыбалось, производя отталкивающее впечатление. Ходили слухи, что у немцев он был исполнителем приговоров, хотя осужден был только за службу рядовым во власовской армии.

Отец Арсений спокойно посмотрел на Житловского и сказал: "Жизнью людей распоряжаетесь не Вы, а Господь. С Вами я не пойду, — и, сев на нары против Житловского, продолжал: — Не пугайте меня, все это было в прошлом: крики, избиения, угрозы смерти. Богом, в Которого я верю, каждому человеку отмерена длина пути его и мера страданий, и если мой путь оборвется здесь, то на это будет Господня воля, а не мне и Вам изменять ее, и каждый из нас в конце концов придет на суд Божий, где от совершенных дел примет меру свою.

Я верю в Бога, верю в людей и до последнего своего вздоха буду верить. А Вы? Где Ваш Бог? Где вера Ваша? Вы много говорите о том, что хотите защитить угнетенных и обиженных людей, но пока Вы уничтожали, убивали и унижали всех соприкасающихся с Вами. Взгляните на руки Ваши, они же у Вас в крови!"

Житловский поднял руки и как-то странно посмотрел на них, потом взглянул на о. Арсения и не опустил, а бросил руки на колени и, сорвавшись на визг, крикнул: "Не заговаривайтесь, полегче!" — и опять впился глазами в лицо о. Арсения.

С верхних нар раздался голос Григоренко: "Аркадий Семенович! Попик-то на разговорном подъеме, может, акцию совершить?"

"Замолчи, Григоренко! — ответил Житловский. — Дадим ему перед издыханием наговориться, попы, как советские профсоюзные работники, всю жизнь болтают". А о. Арсений продолжил:

"Как-то мне сказали, что верующий Вы, но во что? Пытали и убивали людей во имя чего? Помню Ваше упоминание о Достоевском, о котором говорили как о любимом писателе и душе русского народа. Вспомню Вам по памяти слова старца Зосимы из "Братьев Карамазовых", которые он говорил перед смертью, обращаясь к братии: "Не ненавидьте атеистов, злоучителей, материалистов, даже злых из них, не токмо добрых, ибо из них много добрых, наипаче в наше время. Народ Божий любите... Веруйте и знамя держите. Высоко возносите его. Творите добро людям и тяготы их носите". А Ваша жизнь проходит в ненависти и злобе. У каждого человека есть время одуматься и исправиться, и у Вас есть".

Сказав, о. Арсений встал с нар и пошел в свой конец барака, но сверху с искаженным от злобы лицом соскочил Григоренко и бросился душить о. Арсения, и в то же время, расталкивая столпившихся дружков Житловского, появился высокий и мощный заключенный, носивший в бараке прозвище "Матрос". Был он действительно матросом из Одессы, осужденным за "политику" к пятнадцати годам нашего лагеря. Бесшабашный, постоянно веселый, хороший то-

варищ, Матрос, находясь в лагере, почему-то не терял здорового вида, хотя жил, как все заключенные.

Растолкав собравшихся, Матрос схватил Григоренко, приподнял, словно мешок, и бросил в толпившихся дружков Житловского.

"Ты, деточка, забыл, здесь не полицейский участок у немцев, а наш лагерь, — и, обернувшись к Житловскому, схватил его за руки, повернул к себе лицом и сказал с одесским жаргоном: — Милый ты мой! Угомони своих холуев немецких, а то всех перережем. Всех!"

Люди Житловского растерялись, в проходе между нарами появилось много заключенных, готовых вступиться за о. Арсения и Матроса.

Подойдя к поднявшемуся Григоренко, Матрос произнес: "Ты, немецкий прихвостень, Петра Андреевича не трогай, не приведи Бог, что случится, я тебя с Житловским лично пришибу, а перед этим котлету сделаю.

Пошли, Петр Андреевич! А то мы им на нервы действуем. Ну, почтение мое вам, до лучших встреч!"

Недели через три Жору Григоренко перевели в другой барак. Житловский после этого случая затих и в обращении с людьми помягчал. Споры в бараке по-прежнему не утихали. О.Арсений в них не участвовал, но сказанное им однажды мнение по вопросу отношения к власти еще долго жило в бараке.

САЗИКОВ

Время шло, Сазиков все больше и больше привязывался к о. Арсению, заботился о нем, много рассказывал о себе. Говорил о детских годах. Родился в Ростове в интеллигентной семье, кончил ростовский индустриальный институт, стал инженером, и как-то случилось, попал в компанию "друзей", и все вокруг завертелось, закружилось, и почти двенадцать лет прошагал с тех пор Сазиков по уголовной дороге. Шел, шел, оглядывался иногда, задумывался, а свернуть на верную дорогу не мог.

Для следственных органов и для дружков особая жизнь была, а для о. Арсения показывал свою жизнь правдиво, ничего не скрывал. Крещен Серафимом в честь Серафима Саровского, мать верующей была, до 14-ти лет по церквам водила, в вере наставляла. Умерла, когда Серафиму — Симе — было 22 года. Отец бросил семью давно. Закружила компания Серафима, и пошло, как всегда, с маленького, а потом пришли грабежи, разгул, были и убийства. Остановки

нет, такой дорогой пошел, сойти с нее трудно, чуть в сторону — дружки назад ворочают.

Чему мать учила, забылось, выветрилось, жизнь другое показывала. О Боге и не думал, где Его в уголовном мире найти? До этого ли? Забот много, только посматривай.

С Серым "работать" приходилось. Человек Серый страшный, но вдруг иногда и душу покажет. Сложный он.

"Работал" Сазиков по большим делам, деньги брали крупные. Поступал в учреждение большое, магазин крупный, вообще туда, где денег много скапливается, то ли перед получкой, то ли после выручки. Работая, изучал обстановку учреждения, женщины помогали, благо сам высокий, красивый, речь интеллигентная, статный, одевался модно. Работал хорошо, ценили, отмечали, документы всегда имел чистые, верные. Знания имел хорошие, ведь по образованию инженер. Экономику тоже знал, поэтому в больших универсальных магазинах за него держались, как за специалиста. Вот так и бывало — изучит, узнает, что и как? А потом брали большую сумму.

Многое сходило благополучно, но в тюрьмах и лагерях побывал, не на малые сроки. Попадался на мелких делах, о больших не знали. Завалился на ерунде, дружок под нажимом на следствии "разболтался", добрались до одного крупного дела, дали "вышку" (расстрел), но потом направили умирать в "особый".

"Встретился с Вами, о. Арсений, поразили Вы меня, вижу — все для других делаете. Подумал, расчет какой-то хитрый имеете или блажной, но потом понаблюдал за Вами, мать свою покойную вспомнил. Многое, сказанное ею мне в детстве, припомнилось. Поразили Вы меня, назвав Серафимом. Подумалось, в бреду сказал, да вижу, что не только со мной такое у Вас было.

Наблюдать стал за Вами и отчетливо понял: не для себя живете, для людей — во имя своего Бога. Стал я жизнь свою пересматривать и вижу, что она была, как говорится, "хоть час, да мой, а там хоть потоп". Думаю, для чего так жил? Друзей нет, есть дружки, никому я не нужен, если и делают что-нибудь мне, то только из страха.

За сердце взяли меня, примером своим поразили. Решил кончать с прошлым. Трудно это сделать. Кончай, да оглядывайся, свои же убьют. Между прочим, Серый к Вам тоже приглядывается. В лагерях уголовники народ отпетый, а в "особом" тем более. Бояться нечего, все равно смерть. В своих-то бараках мы с Серым порядок навели, но трудно с народом. Знаю, жизнь свою здесь кончу, но хочу Вашим путем пойти, верить хочу".

ИСПОВЕДЬ

Пришел как-то Сазиков. Стоял, мялся, то о том, то о другом разговаривал, а потом сказал: "Отец Арсений! Хотел бы исповедоваться, если допустите. Видно, конец скоро придет, не выйдешь из "особого", а грехов много ношу, очень много".

Трудно в лагере на час, на два из барака вырваться, все время под наблюдением, на то и "особый". Но удалось Сазикову вырваться и прийти к о. Арсению на исповедь. Остались вдвоем, до поверки часа два было. Застанут обоих вместе — карцер на пять суток обеспечен.

Встал Серафим на колени, волнуется, теряется. Положил о. Арсений на голову Серафима руку и стал молиться. Ушел в молитву. Прошло несколько минут. Заговорил Серафим сначала отрывисто, сбивчиво, с большим внутренним напряжением.

Отец Арсений молчал, не направлял, не подсказывал, а, слушая, молился, считая, что человек сам должен найти себя. Исповедовать в лагерных условиях приходилось много, но старых заматерелых уголовников — редко.

В большинстве своем это были люди, потерявшие все на свете, ничего не имеющие за душой. Совесть, любовь, правда, человечность, вера во что бы то ни было давно были утрачены, разменены, смешаны с кровью, жесткостью, развратом. Прошлое не радовало их, оно пугало. Оторваться от своей среды они не могли, а поэтому жили в ней до последнего своего часа жестокими, обозленными, не надеявшимися в лагерях ни на что. Впереди была смерть или удачный побег.

В исповедях своих, если такие случались, были всегда одинаковы. Начало жизненного пути было разным, а все остальное у всех повторялось: грабежи, убийства, разгул, разврат и вечный страх попасться. В зависимости от души человека мера падения была разной, одни сознавали и понимали, что делают, но не могли остановиться и падали все ниже и ниже, другие же упивались содеянным, жили насилием, кровью, жаждали этого и с наслаждением доставляли страдания и муки окружающим, считая свою жизнь правильной и геройской.

Серафим понимал меру своего падения, пытался остановиться, но не мог найти выхода из уголовного мира. Когда приходила старость, многие из уголовников задумывались над своим положением, но решить, что же делать, не могли.

Отец Арсений это знал.

Сазиков говорил, но исповедь не шла. Идя на исповедь, он долго думал, что и как рассказывать, исповедовать, но сейчас все потерял, смешался. Хотелось искренности, но говорил не

от души, то, что хотел сказать, ушло. Потеряла его исповедь связь с душой, и оставался рассказ.

Видел и понимал это о. Арсений и хотел, чтобы в борьбе с самим собой победил сам Серафим. Победил свое прошлое и этим бы открыл путь к настоящему.

Волновался, сбивался и, открыто рыдая, говорил Серафим, а исповедь от души не шла. Борется прошлое с настоящим, и ощутил о. Арсений, что нужна сейчас помощь Серафиму, нужно то "луковое перышко" апокрифической луковки, которое хоть и тонко и непрочно, но спасает тонущего, ухватившегося за него. И протянул о. Арсений это "перышко луковое", сказав: "Вспомни, как умоляла тебя в лесу женщина пощадить, ты не пощадил, и разве потом не стыдился самого себя".

И в одно мгновение понял Серафим, что все видит и знает о. Арсений. Не надо подбирать слов, чтобы показать себя. Надо, не боясь ничего, открыть душу свою, а о. Арсений увидит, поймет и взвесит все сам и скажет, можно ли простить его, Серафима.

Кончил Серафим исповедь, отдал душу и самого себя в руки о. Арсения, стоит на коленях, лицо в слезах. Первый раз в жизни своей открыл самого себя, показал всю, всю жизнь и сейчас ждал приговора, наказания, осуждения.

Отец Арсений, низко склонившись, молился и никак не мог найти самых простых и нужных слов, которые бы очистили, освежили и направили человека на новый жизненный путь.

Искренность исповеди, глубочайшее сознание греховности совершенного и в то же время страшнейшие преступления, доставившие людям страдания, несчастия и муки — все как бы смешалось вместе, и надо было измерить, взвесить, разделить одно от другого и определить меру всему этому.

Иерей Арсений, прощающий и разрешающий грехи человеческие именем Бога, боролся сейчас с человеком Арсением, не могущим еще по-человечески принять, осознать и простить совершенное Серафимом.

"Господи Боже Мой! Дай силу мне познать волю Твою, указать путь Серафиму, помочь найти ему себя. Матерь Божия! Помоги мне и ему грешным. Помоги, Господи!"

И, молясь, понял, что говорить ничего не надо, взвешивать и решать не нужно, ибо исповедь Серафима, человека, ранее утерявшего связь с Богом, была столь глубокой и искренней, обнажившей душу его и показавшей, что этот человек стремится к Богу, нашел Его и уже теперь будет продолжать путь к Нему. За свои дела даст ответ Серафим Самому Господу на Суде Божием и перед совестью своей.



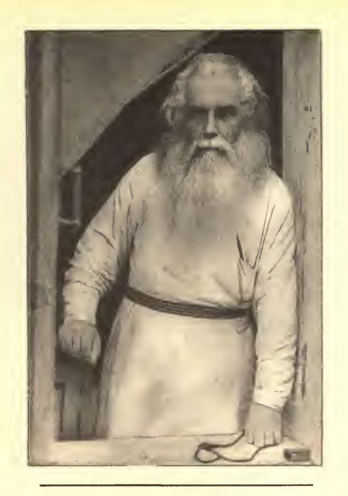
СВЯТАЯ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА
ЕЛИСАВЕТА (ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ
ЕЛИЗАВЕТА ФЕОДОРОВНА),
В ТАЙНОМ ПОСТРИГЕ
СХИМОНАХИНЯ АЛЕКСИЯ.
Основательница Марфо-Мариинской
обители в Москве. Арестована и живой
брошена в шахту 18 июля 1918 года
в Алапаевске.



СВЯТИТЕЛЬ ВЕНИАМИН
(КАЗАНСКИЙ),
МИТРОПОЛИТ ПЕТРОГРАДСКИЙ.
Любимец народа. Арестован
и заключен в Петроградской тюрьме.
Расстрелян в ночь с 12 на 13 августа
1922 года.



МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ
ПЕТР (ПОЛЯНСКИЙ).
Ближайший помощник Святейшего
Патриарха Тихона. Местоблюститель
Патриаршего Престола.
Арестован в 1925 году. Прожил 4 года
в ссылке в зимовье Хэ (в устье р. Оби).
Провел 8 лет в одиночной камере.
Расстрелян 10 октября 1937 года.



МИТРОПОЛИТ КАЗАНСКИЙ
КИРИЛЛ (СМИРНОВ).
Первый кандидат на местоблюстительство
Патриаршего Престола по завещанию
Патриарха Тихона. После революции
почти постоянно находился в ссылках
и лагерях. Расстрелян в тюрьме
в Чимкенте 20 ноября 1937 года.



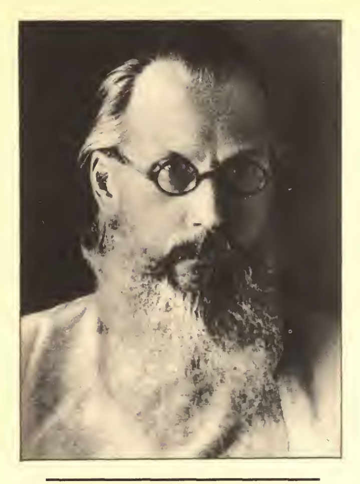
ЕПИСКОП ПЕРМСКИЙ
АНДРОНИК (НИКОЛЬСКИЙ).
Арестован, закопан живым в землю
20 июня 1918 года.



АРХИЕПИСКОП ВЕРЕЙСКИЙ
ИЛАРИОН (ТРОИЦКИЙ).
Арестован в 1923 году и отправлен
в лагерь на Соловки.
Скончался в тюремной больнице
в Ленинграде (в Крестах)
28 декабря 1929 года.



АРХИЕПИСКОП ВОРОНЕЖСКИЙ
ПЕТР (ЗВЕРЕВ).
Арестован в 1926 году и заключен
в Соловецкий лагерь.
Заморожен в карцере 26 января
1928 года.



АРХИЕПИСКОП ВОЛОКОЛАМСКИЙ
ФЕОДОР (ПОЗДЕЕВСКИЙ).
Ректор Московской Духовной Академии,
настоятель Московского Свято-Данилова
монастыря. После революции почти
постоянно находился в тюрьмах,
ссылках и лагерях. Расстрелян
в Ивановской тюрьме
23 октября 1937 года.

Встал о. Арсений и, прижав голову Серафима к своей груди, сказал: "Силою и властию, данной мне Богом, я, недостойный иерей Арсений, прощаю и разрешаю грехи твои, Серафим. Твори добро людям, и Господь простит многие из грехов твоих. Иди и живи с миром, и Господь укажет тебе путь". И невидимые узы навсегда соединили о. Арсения и Серафима.

Окончив исповедь и обняв Серафима, о. Арсений, как бы предвидя будущее, произнес: "Не оставлю тебя в жизни твоей, Серафим. Господь поможет нам".

"НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ"

Во время одного разговора Сазиков как-то сказал: "Вижу, о. Арсений, молитесь Вы по памяти, книг-то церковных у Вас нет, а узнали мы, что кое-что достать можно. Серый с ребятами говорил, а те сказали, что есть".

"Бога ради! Прошу, ни у кого не отнимайте, грех на мою душу не берите".

"Да что Вы, о. Арсений! Все по-хорошему будет, никого не обидим. В зоне складик есть, все, что у заключенных отбирают, особенно у пришедших по этапу, — туда складывают. Узнали через верных людей, что есть там книги. Давно лежат. Решили ребята этот складик взять, ну я и сказал, чтобы книги церковные захватили. Рассказал, что и какие взять ".

Заволновался о. Арсений, как это так? Стал ночью молиться и вроде бы к утру задремал и видит: вошел к нему монах-старец, благословил и говорит:

"Не бойся, Арсений! Возьми, что нужно, и молись митрополиту Алексию Московскому. Господь не оставит тебя". Благословил вторично и ушел, спокойный, величественный.

Дня через два начался в бараке переполох, повальные обыски по баракам, вызовы в "особый отдел", оказывается, уголовники разграбили склад сданных вещей.

Прошло дней десять, и передает Серафим Сазиков о. Арсению две маленькие книжки — Евангелие и Служебник. Взял о. Арсений все с благоговением, отошел к нарам, раскрыл Евангелие и затрепетал от сознания необыкновенной милости Божией. Во внутреннюю сторону переплета врезан кусочек шелка размером сантиметра четыре квадратных, древний, пожелтевший, а под ним надпись: "Антиминс. Мощи святого митрополита Алексия Московского. 1883 год", а рядом врезан овальный серебряный образок размером в 20-копеечную монету.

Припал к святыне о. Арсений и возблагодарил Господа: "Господи! Боже Мой! Милостию Твоей жив, и дела Твои неисповедимы". И заплакал от радости.

"Вы, о. Арсений, как службу справите, так мне или Серому отдавайте, у нас не найдут, а у Вас сразу отберут. Не беспокойтесь, ничего не осквернимм, все будет в целости".

Начались для о. Арсения дни, полные радости, работу дневную переделает, а ночью при моргающем свете читает Евангелие и правит службы, при подъеме на работу отдавал на хранение Сазикову.

Месяца два прошло, обыски утихли, и о. Арсений иногда оставлял на день Евангелие у себя, только прятал его в стенной тайник под доску, Сазиков сделал. Плановые дневные и ночные обыски всегда бывали, но в тайнике было безопасно.

Как-то днем, когда все были на работе, а о. Арсений, работал по бараку и вроде бы все переделал, он достал Евангелие и стал читать. Только сел, дверь барака открылась, и пришел наряд с обыском. Лейтенант, трое солдат и надзиратель Справедливый. О.Арсений растерялся и спрятал Евангелие во внутренний боковой карман телогрейки. Стоит и молится.

Солдаты идут по бараку и все переворачивают, вынимают качающиеся половицы, боковые доски дергают, вещевые мешки трясут. Дошли до о. Арсения, лейтенант из "особого отдела" приказал надзирателю Справедливому: "Попа обыщите, товарищ!" — и пошел с солдатами.

Справедливый стал о. Арсения ощупывать и сразу наткнулся на Евангелие, подержал руку на нем, потом из кармана вынул и быстро к себе в карман переложил и стал дальше обыскивать. Кончил обыск и докладывает: "Товарищ лейтенант! Ничего не обнаружено".

"Больно скоро обыскали. Раздевайся, поп, сами обыщем по-нашенскому". Разделся о. Арсений донага, солдаты одежду осмотрели, швы руками помяли, из карманов на пол все выбросили и, конечно, ничего не нашли. Лейтенант обозлился, обругал о. Арсения матерно и вышел.

Отец Арсений одевается, молится и плачет за великую радость, за веру в человека. Оделся, вещи собрал, швы зашил и пошел барак убирать после обыска.

Часа через полтора заходит надзиратель Справедливый и спрашивает о. Арсения: "Есть кто в бараке?" "Все на работах," — отвечает о. Арсений.

Справедливый обошел весь барак, под лежаки заглянул и вдруг спросил: "Евангелие-то из склада?" О.Арсений молчал. "Сказывайте, сказывайте — откуда?" — "Да, из склада", — ответил о. Арсений. "Вы что, голубчик, о двух головах, что ли. Думать надо. Возьмите Евангелие, а коли взяли, так убирать

надо. Нашел бы лейтенант, насмерть бы забили". А потом тихо проговорил:

"Простите меня, батюшка! Трудно здесь, в лагере, не только заключенным, а и нам, если хоть капля совести осталась. Знаю, все знаю, о. Арсений! Каково здесь всем вам, понимаю, не от трусости и слабости человеческой приходится работать в этом аду. Помогу Вам, чем смогу, может, устрою куда полегче, но время для этого надо. Исподволь буду делать, а на людях нарочно лют буду. Вы уж простите," — проговорил Справедливый и, не оборачиваясь, вышел из барака.

Посмотрел о. Арсений вслед Справедливому и устыдился, что усомнился в великом провидении Божием, в путях Его неисповедимых, и еще, и еще раз понял, как разнообразна и полна душа человеческая, и что в каждой душе можно найти искру Божию и Любовь, и тихо стал произносить молитвы, повторяя: "Помилуй мя, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих... Господи! Господи! Велик Ты и Славен делами Своими. Вот они, помощники Твои, о которых говорила Матерь Твоя. Смог ли я думать, что надзиратель будет помощник Твой. Смог ли?".

И, вспомнив имя Справедливого — Андрей — стал молиться о нем и, молясь, увидел жизнь его, всю жизнь его и понял, что это за человек. Хороший и добрый.

ЭТАП

Прозорливость о. Арсения поражала и подчас пугала людей, приходивших к нему, но сам он не понимал и не чувствовал, что Господь даровал ему великое знание души человеческой.

Постоянно соприкасаясь с о. Арсением, я видел, что он искренне верил, что понимание души является совершенно естественным для иерея, и ему думалось, что, читая мысли человеческие, не он читает их, а сам пришедший рассказывает о себе.

Он оказывал огромное и поразительное влияние на людей, общавшихся с ним, а тех, кто внимательно наблюдал его жизнь, удивлял глубиной и силой провидения, данного ему Богом.

Авсеенков рассказывал мне, что его до глубины души поразили два случая, происшедшие перед его глазами еще тогда, когда он только начинал становиться верующим под влиянием о. Арсения.

Пригнали в лагерь почти перед самой поверкой большую партию новых заключенных. Начальство стало распределять их по баракам на пустые места.

"Человек двадцать пять попало в наш барак, — рассказывал Авсеенков. — Этап, видимо, был тяжелый. Этапников загнали в барак. Вошли не люди, а тени. На ногах не стоят, во многих жизнь еле-еле теплится. На улице мороз, ветер, в дороге два дня не выдавали питание, не спали трое суток. Чем живы, понять нельзя. Народ по составу сборный, большинство интеллигенция, "враги народа": инженеры, агрономы, врачи и несколько человек уголовников.

Пригнали перед поверкой, когда в лагере заканчиваются все дела: хлеб выдан, обед из баланды съеден, начальство ушло или собралось уходить.

Вначале хотели хлеб выдать и обед, но потом поразмыслили — хлопотно. Котлы надо разогревать, кладовки отпирать, хлеб резать да еще ведомости писать, чтобы поставить на довольствие.

Хлопотное, очень хлопотное дело. Решили: подождут, завтра все сделаем — успеют.

Начальник по режиму сказал: "Не баре они, чтобы за ними ухаживать, а враги народа. Проживут". На этом и порешили. Понимали, конечно, что будет в этот день в лагере большая смертность, так что придется по дням расписывать умерших. Этапное начальство людей сдало, теперь лагерному заботиться. Перемрут — лагерю отвечать.

Вошли этапники в барак, а новичков всегда всюду плохо встречают, что в детстве в школе, что на работе, а в лагере и подавно. Смотрим — вошли не люди, а "обноски человеческие", стоять не могут. Трудно понять, как дошли до лагеря. К стенкам прислонились, за лежаки держатся.

Старший по бараку осмотрел их и сказал: "На свободные лежаки разбирайтесь". А свободные лежаки от печей далеко. Холодно там, не согреешься за ночь. Старожилы барака в это время спать устраивались, кто уже лежал, кто в карты поигрывал. Уголовники осмотрели всех этапных, увидели, что взять с них нечего, и занялись своими делами.

Отец Арсений лежал и молился. Когда этапные вошли, встал, осмотрел их и подошел к барачной "головке" — так в бараке называли заправил из "серьезных" уголовников, их слово в бараке — закон для шпаны и политических, которые на них всегда с опаской поглядывали, а проще говоря, боялись."Головку" не послушаешь — все случиться может.

Подошел о. Арсений к "серьезным" и сказал: "Надо этапным помочь, голодные, мерзлые, обмороженные, истощенные. Если не поможем, то часть народа умрет к утру".

"Серьезные" уважали о. Арсения, не один год с ним жили, знали, что за человек, любили по-своему, а тут один из "серьезных" сплюнул, выругался и проговорил: "Да ну их, пусть дохнут. Сами скоро дойдем, от своей пайки жрать не дам. Понял, папаша?!"

Остальные молчали. Кому хочется со своим расставаться, да и закон лагерный — только дружкам помогай. Смотрят все в бараке на о. Арсения и "головку" — чем дело кончится? Этапники у входа в кучку сбились, слушают.

Отец Арсений на людей "головки" взглянул, перекрестился и спокойно сказал: "Этапных положим на лежаки у печей, сами на холодные переляжем, что у кого из еды есть — на стол кладите, а воду в печах нагреем, еще не остыли. Давайте быстрее".

"Серьезные" молча поднялись и пошли по бараку народ перекладывать, что у них из еды было — первые достали и положили на стол. Остальные барачные жители тоже, конечно, класть стали, что у них было из еды. Кто-то из шпаны пытался утаить хлеб, им наподдали так, что надолго запомнили.

Еды по крохам собрали много, накормить 25 человек было можно. Воду в кружках нагрели в печах. О.Арсений собранное разделил, раздал, а ребята развели этапных по теплым лежакам. Все новенькие выжили, не то, что в других бараках. На третий день этапные ожили, а на четвертый уже на работу послали.

Поразило меня спокойствие и сосредоточенность о. Арсения, когда он тихо и просто сказал: "Давайте быстрее!" Сказал людям, у которых, казалось, не было ничего за душой. Сказал — и пошли выполнять, словно приказ".

"Часто задумывался я, — говорил Александр Павлович Авсеенков, — в чем сила о. Арсения? Мог ли он воззвать к совести людей или просто именем Бога потребовать выполнения необходимого долга?"

И Авсеенков решил, что требовал все это о. Арсений от имени Бога.

"ОСТАНОВИТЕСЬ!"

Второй случай, виденный Авсеенковым, еще более поразил его.

"Перед тем, как запирать барак на замок, проводилась поверка. Заключенных из бараков выгоняли на улицу, строили в шеренги и производили перекличку. Был ли мороз сорок градусов, проливной дождь, или беспощадно осаждали

гнус и комар, надо было мгновенно выбегать и вставать на свое место в ряд.

Больные, имевшие освобождение из больницы, оставались в бараке и лежали на нарах. Пока заключенные стояли на поверке, надзиратели осматривали барак и пересчитывали оставшихся.

И на этот раз заключенные выбежали, стали в шеренгу. Было морозно, пересчитывали уже по второму разу, но одного человека не хватало. Люди мерзли, надзиратели злились, начали третий пересчет, и вдруг из барака выскочил парень лет 25-ти и бросился на свое место в ряд, но встать не успел. Надзиратели сбили его и стали бить ногами, парень пытался встать, что-то кричал, но его ожесточенно избивали. Строй стоял молча, не шелохнувшись, у всех сумрачные лица, возмущенные, злые, но сказать, а тем более сделать ничего нельзя.

Я стоял с о. Арсением и вдруг увидел, что тот вышел на шаг из строя, перекрестился, перекрестил надзирателя, избиваемого парня и отчетливо сказал: "Именем Господа говорю вам! Остановитесь! Прекратите!" — и, положив еще раз на всех крестное знамение, встал обратно в строй. И сейчас же прекратили бить парня, надзиратели занялись пересчетом, парень, шатаясь, встал на место.

Я потом спросил своего соседа по шеренге: "Видели, что сделал Петр Андреевич (о. Арсений), когда били парня?"

"Что сделал? Стоял как вкопанный". Я всему этому страшно поразился, поразился той силе, которую дал Бог этому человеку — о. Арсению. Может быть, это гипноз, подумалось мне. И тут же я ответил сам себе: нет, и конечно, нет. Не для себя, а ради других совершает он все эти дела.

Совершаемое о. Арсением часто было необычным, казалось нелогичным, но в то же время все проистекало из самого простого и обычного.

Народ в лагерь попадал самый разный, были и сектанты, фанатичные до безумия и абсурда. Иногда шли на смерть, лишь бы не поступиться малым. В своих убеждениях были совершенно искренни, и поэтому ко всем относились как к заблудшим овцам. Часто эти сектанты помогали людям, но создавалось такое впечатление, что делали они это не ради человека, а ради самих себя.

К о. Арсению относились хорошо и пытались убедить в неправильности его веры, на что о. Арсений всегда говорил: "Разве я убеждаю, что ваша вера плоха? Верьте, как душа ваша велит, и тогда придете к истине. Помните слова апостола Павла: "Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов", побеждайте зло добром".

И мне всегда казалось: именно то, что он нес тяготы других, давало ему возможность побеждать многие трудности, влекло к нему людей, заставляло их следовать за ним, и часто придавало ему ту необыкновенную силу духа, которая невольно вынуждала людей повиноваться ему во имя Бога, а эти два случая, рассказанные мною, были тому примером".

РАДОСТЬ

Лагерь жил своей размеренной жизнью. Одни умирали, другие приходили, чтобы умереть в нем, и ждали своего часа. Из "особого" на свободу почти никогда не выходили. Было несколько случаев освобождения бывших партийных работников из правительственных учреждений или очень видных ученых. Рассказывали, что за последние три года освободили около десяти человек, из которых один умер, когда ему сообщили зто известие.

В 1952 г. о. Арсения вызвали в "особый отдел" лагеря, сначала к лейтенанту, а потом к майору. Майор встретил радостно: "Здравствуйте, о. Арсений! Здравствуйте, Петр Андреевич! Вести у меня сегодня хорошие. Александра Павловича Авсеенкова освобождают. Добились друзья с большим трудом. Завтра к себе вызываю. Боюсь, чтобы зто известие его не потрясло. Сердце у него плохое. Прошу осторожно сообщить ему о предстоящем освобождении. Завтра буду объявлять ему при начальнике лагеря, пусть не волнуется. И не только освобождают, а в партии восстанавливают. Главный разрешил.

А с Вами плохо — церковник Вы. На вашем деле штамп: "Содержать в лагерях бессрочно — до смерти". Хочу Вам помочь и не могу. Из нашего "особого" таких, как Вы, освобождают только по личным разрешениям Берия или его заместителя. С Вашим делом не пойдешь, оснований нет. Освободишь без их разрешения — донесут немедленно, и сам в лагере будешь. Если что-нибудь переменится, все для Вашего освобождения сделаю, а теперь и Александр Павлович включится в зто дело.

Меня тоже в Москву переводят, "простили", так сказать, восстанавливают в генеральском звании и опять посылают в разведку. Всю жизнь государство охранял, Родину любил и своей работой в Отечественную войну не один десяток дивизий спас, а потом кому-то помешал, донесли Главному и чуть было под расстрел не подвели "за связь с немцами".

Главный велел проверить и послать работать в лагерь. Сюда попал — ужаснулся, помочь ничем не могу, следят за

каждым шагом. То, что увидел, даже предположить не мог. При тебе бьют, а ты остановить не имеешь права. Раз остановил, сообщили: "Мешает и задерживает следствие". Страшно! Для чего все это делается, понять сейчас невозможно. Петр Андреевич, уходя отсюда, хочу помочь, кому надо. Скажите, сделаю. Плохо, что Вам не могу помочь".

Отец Арсений задумчиво взглянул на майора и сказал: "Спасибо Вам! Спасибо! Мне помочь нельзя, когда нужно будет, Господь поможет, но помогите выйти из этого лагеря Сазикову, бывшему студенту Алексею Никонову, врачу Денисову и бывшему уголовнику Трифонову. Переведите в простой лагерь, там проще жить и помочь можно".

Уголовника Серого о. Арсений не назвал. Посмотрев пристально на Сергея Петровича — майора, сказал: "Сергей Петрович! Приедете в Москву, сделайте все, чтобы уйти со своей работы, не нужно работать Вам в органах. Перейдите на что-то другое, а то сгорите. Увидев, что происходит здесь, стали сами другим человеком. Спасите душу свою".

Абросимов смотрел на сидящего перед ним старика и думал, что ему еще совсем не ясна его дальнейшая жизнь, а он, о. Арсений, вероятно, знает многое о его прошлой и будущей жизни. И опять воспоминания детства пришли к майору — да, такой человек, как о. Арсений, был настоящий христианин, о которых он читал когда-то.

Чувство глубокой скорби и одновременно радости охватило Сергея Петровича, он встал, подошел к о. Арсению и, волнуясь, сказал: "Встречу ли я Вас еще, не знаю, но Вы оказали на меня неизгладимое влияние. Многое я стал оценивать по-другому. Верю Вам, понимаю, почему верите, понимаю Веру Даниловну и жену свою. Все понимаю. Знаю, что все время молитесь. Не забывайте меня, Петр Андреевич, о. Арсений, не забывайте!"

Отец Арсений поднялся со стула, подошел к Абросимову, обнял его за плечи и сказал: "Да хранит Вас Бог, Сергей Петрович! Не забывайте людей, помогайте им, совершайте добро, где бы Вы ни были. Помогайте людям. Встретимся мы еще с Вами".

Низко поклонился и вышел. Вышел так, что Абросимов почувствовал, что не он вызывал к себе о. Арсения, а о. Арсений пригласил его к себе.

Встречи с о. Арсением Абросимов никогда не забывал. Увидел он старика в рваной телогрейке, изможденного, усталого, и показалось ему, что сломлен он и опустошен, но когда взглянул ему в глаза, понял, что полон он жизни, веры и бесконечной любви к людям, и не сломлен он и не опустошен, а горит силой внутренней, которую отдает людям, облегчая

их страдания и тяготы и отгоняет уныние, страх и несет людям веру.

Абросимов понимал, что, пожелай этот старик выйти на волю или совершить что-то необходимое ему, — все совершится, так велика сила его духа, обогащенная и вскормленная верой.

Здесь, в "особом", совершает он свой христианский подвиг, неся людям помощь и свет Бога ради и людей, при этом наравне со всеми неся страдания и лишения.

Страшна была работа Абросимова, тяжелым был его жизненный путь, в результате чего связь с Богом была утеряна, но встреча с о. Арсением всколыхнула его душу, заставила задуматься над многим, переоценить прошлое. Долго надо было Абросимову еще идти к Богу, но первый шаг на тропу веры он с помощью о. Арсения сделал.

Много лет спустя Абросимов рассказывал: "Возвращение мое в Москву было трудным. Все мне было отдано — и звание, и должность, но что-то встало между моей прежней и настоящей жизнью. Много я думал и ушел с этой работы. Буду откровенен: совершил я раньше много тяжелого, страшного и, делая все это, был уверен, что все делал правильно.

Во многом помог мне и Александр Павлович Авсеенков. Помог разобраться. Осознав многое, подумал я, что нет мне прощения, но однажды Александр Павлович передал мне записку от о. Арсения — он тогда был уже освобожден, в которой были слова: "Помните и не сомневайтесь! Господь, наказующий нас за прегрешения наши, волен и отпустить нам их с присущим Ему милосердием, и нет столь тяжкого прегрешения или проклятия, которых нельзя было бы искупить делами своими и молитвой".

В дальнейшем много помог мне о. Арсений в познании веры. Конечно, не стал я таким, как многие его духовные дети, но пытался идти к Богу.

Отец Арсений, которому я часто говорил о многих своих сомнениях, колебаниях, связанных с вопросами веры и обрядов, всегда говорил мне: "При Вашем жизненном пути, долгих безыдейных скитаниях, внутренней потерянности сомнения и колебания естественны и неизбежны, но разве в этом дело — Вы поняли и ощущаете, что Бог есть, знаете путь к Нему. Верьте, и все наносное отойдет". Замечательный человек о. Арсений, настоящий христианин".

Отец Арсений возвратился в барак. Было радостно за Александра Павловича, Сазикова, Алексея, Денисова, Трифонова, —они покинут "особый" и в конце концов выйдут на волю, но чувство грусти, что друзья уйдут, охватило душу.

Помощников и друзей станет меньше. Верилось, что Господь не оставит его одиноким и придут, найдутся новые люди

и заменят ушедших. Вечером сообщил Авсеенкову об освобождении. Ночь провели в разговорах, а утром простились. Время и дела крепко привязали Авсеенкова к о. Арсению, привязали навсегда. О.Арсений и лагерь полностью переменили образ мыслей, восприятие окружающего и мировоззрение Александра Павловича. Попав в лагерь, хотел кончить жизнь самоубийством, стал беспомощным, безвольным, а уходил из лагеря духовно обогащенным, сильным духом, с крепкой и устоявшейся верой в Бога, человеком, понимающим человеческие страдания.

Ночью долго молились оба. Обнимая о. Арсения, Авсеенков повторял: "Не забывайте меня, о. Арсений, с Вашими, а теперь и моими, буду встречаться. Молитесь о нас". Авсеенков простился с Сазиковым и Алексеем утром, зная, что после объявления сообщения об освобождении ему не дадут вернуться в барак.

Недели через четыре внезапно вызвали Сазикова, Алексея, Денисова и Трифонова в "особый отдел", в барак они не вернулись. Заключенные гадали — что случилось с ними? Майор Абросимов, а теперь генерал, сдержал свое обещание.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Жизнь в лагере продолжалась. Систематически привозили новых заключенных на смену ушедшим на лагерное кладбище. Смерть почти ежедневно посещала то один, то другой барак, унося с собой каждый раз новую жертву.

Завтрашний день был известен, он был голодным, изнурительным, тягостным, наполненным до предела унижениями и тяжелой многочасовой работой. Отупение, безразличие, желание близкой смерти приходили к заключенным. О.Арсений по-прежнему продолжал жить в лагере своей обычной подвижнической жизнью.

Было тяжело без Алексея-студента, Сазикова, Авсеенкова, он полюбил их, привык и опирался на них в своих делах. Появились новые люди, с которыми он сроднился, но они переводились из барака в барак, умирали или угонялись в дальние отделения лагеря, в шахты.

По-прежнему помогая окружающим, неся им добро и духовное утешение, о. Арсений был необходим для многих. Както получилось, что он входил незаметно в жизнь людей, помогая им, облегчая страдания, скрашивая трудности жизни, и примером своего отношения ко всему происходящему показывал, что даже жизнь в "особом" не так страшна, если за тобой стоит Бог, к Которому всегда можно прибегнуть.

Уголовник Серый тяжело заболел. Болело в области живота, обратился к лагерным врачам. Сперва дали аспирин, потом ревень, но ничего не помогало. Лечили чем попало, почти не осматривая, а потом определили запущенный рак печени и метастазы.

Серый умирал тяжело, в больницу не брали и не лечили. Боли были страшные, но приходилось передвигаться по бараку, ходить к парашам, выходить на поверку. О.Арсений терпеливо ухаживал за Серым, старался помочь, чем мог, ходил к врачам — просил наркоз для обезболивания, но ничего не получил.

Серый был озлоблен на всех и вся, но о. Арсения принимал кротко, ждал его прихода и просил сидеть около него. Когда о. Арсений садился около Серого, тот начинал рассказывать о своей жизни и как-то забывал свои боли.

Дня за два до смерти рассказал: "Умираю и мучаюсь за дело. Много людям горя принес, погубил многих. Жизнь не с того конца начал. Каяться не хочу, столько дел в жизни наворочал, не счесть. Знаю, что простить меня нельзя, да и не для чего. Верить в Бога я почти не верю, так, больше приметы какие-то, но знаю и чувствую, что Бог есть, потому что Вы в Него верите и Им живете.

Из поповичей я. Отец дьякон был, в Бога не верил, служил по расчету, деться-то некуда было. В общем, служил, как профессионал.

Когда рос я, то видел кругом ложь и обман, водку пили, развратничали, баб хватали, над Богом и обрядами издевались, а этим же Богом прикрывались. На словах одно, на деле другое. Бывало, отец из церкви после службы придет и начнет доходы считать, за водкой посылает, над верой насмехается, матерится. Рассказывает, как деньги с тарелок таскал или бабу деревенскую облапошил.

Не верил я в Бога, казалось, блажь людская. В семинарии учился, кончил — воровать начал, по тюрьмам пошел, а потом революция, беспорядки, грабежи, разгул. Грабь, режь, Бога нет, сам себе хозяин. Компания подходящая подвернулась мне, ну и началось. Сперва дела маленькие пошли, потом средние, добрался до крови человеческой, где уж остановиться? Так и пошло, о. Арсений.

Много я ее, кровушки, пролил. То о новом деле думаешь, то в загул с бабами попадешь, то от тюрьмы бегаешь. Времени-то не было вспомнить — есть Бог или нет. По правде говоря, и думать о Нем не хотелось. Вас в лагере встретил — подумал, что юродствуете или хотите выгоду какую-то извлечь. Но увидел, как дружку моему Серафиму Сазикову и чекисту Авсеенкову Александру Павловичу душу перевернули, понял: искренне верите в Бога, и сам понял, что Бог,

конечно, есть, ведь недаром в церковь, где отец дьяконом служил, народ валом валил. Видел я все это, когда мальчишкой еще в храме прислуживал.

Знаю теперь, что Бог есть, но мне к Нему дороги заказаны — дела мои прошлые никакими молитвами не замолить и не простить.

Умираю, смерти не боюсь, но чего-то страшно, а вот чего — разобраться не могу. Думал одно время исповедь у Вас принять, да, зная Вас, думал, что не простите мне грехов, слишком уж много натворил, но не жалею. Что было, то было.

Вот только два случая часто перед глазами стоят и ночью во время бессонницы и во сне приходят. Парнишку лет 17-ти пришлось в 30-м году пришить, как-то все по-глупому получилось. В ногах валялся, просил, плакал, а я самогону хватил, перед дружками куражился, хотел храбрость и безразличие свое показать, издевался над ним. Закрою глаза, а он, мальчишечка, так передо мною и стоит, весь заплаканный.

И женщина одна, так просто меня замучила, на неделе раза три придет, а сейчас — так каждый день приходит. Квартиру брали в 20-х годах в Москве, пришли по наводке, думали, пустая, на работе все. Пришли, а там сестра хозяйки, красивая, статная, молодая, как говорят, кровь с молоком.

Вошли мы, а она все поняла, к окну бросилась. Заперли мы ее в комнате. Вещей в квартире много, золотишко тоже было. Стали собирать узлы. Сложили, уходить надо, а женщина видела нас, убрать ее необходимо, выхода нет, опознает после. Ребята мнутся — дело-то мокрое, для них не очень привычное.

Пошел я. Дверь открыл. Взглянула на меня и участь свою поняла. Глаза большие, испуганные. Схватил я ее, взглянул в глаза и решил воспользоваться ею. Ребятам крикнул, чтобы в другую комнату ушли, ну и потащил. Ударила меня в лицо, стала потом вдруг спокойной и говорит презрительно: "Зверь Вы, а не человек. Зверь. Кончайте скорее!" В глазах смертельная ненависть, лютая прямо, а от этого еще красивее стала. Ну, я и снасильничал. Стал нож доставать. Она стоит, прижалась к стене, ждет удара, потом в угол к иконе повернулась, перекрестилась несколько раз и сказала: "Кончайте. Со мной Бог. Матерь Божия, не оставь меня!"

Жалко мне ее стало, да барахла много взяли, я ее и ударил под грудь два раза, а она сползает по стене и быстро-быстро крестится и шепчет: "Господи, помилуй!" Вот так каждый день ко мне и приходит теперь".

Отец Арсений, слушая Серого, все время молился, но от жутких подробностей рассказа его пробирал озноб. Сознательная жестокость, злоба, цинизм, бессердечие даже в лагере встречались нечасто. Умирал Серый мучительно, лицо бы-

ло искажено, то ли от страданий, то ли от злобы к живущим людям. Лицо после смерти так и осталось необыкновенно злым.

Рассказ заключенного Серого записан в 1965 году со слов о. Арсения, но рассказу придан тон и манера, присущие уголовникам. Описание жизни о. Арсения в лагере написано А.Р., жившим в то время в одном бараке с о. Арсением и уголовником Серым.

ДОПРОС

После отъезда Абросимова сменилось два начальника "особого отдела", и назначили пожилого, мрачного подполковника. В "особый отдел" пришло много новых сотрудников. Строгости в лагере усилились, жизнь заключенных стала совершенно невыносимой.

Многих вызывали в "особый отдел" на допросы. Угрозы, избиения, карцер стали массовыми явлениями. Со стороны казалось, что чего-то добиваться от людей, практически обреченных на смерть, нелепо, однако следователи даже здесь пытались создать какие-то новые дела.

"Особый отдел" последнее время "работал" с большой нагрузкой: создавались дела, "раскрывались заговоры", проводились доследования, где-то выносили дополнительные приговоры, кого-то расстреливали.

В марте о. Арсения вызвали на допрос в "особый отдел". Допрашивал майор Одинцов, человек среднего роста, с лысой головой удлиненной формы, отечным лицом, тонкими губами, разрезающими лицо, и бесцветными глазами. Всегда подтянутый, в хорошо отутюженном кителе, неизменно вежливый при встречах, он наводил ужас на допрашиваемых заключенных жестокостью допросов, но почему-то имел прозвище "Ласковый" или второе — "Начнем, пожалуй".

Отец Арсений вошел и встал при входе. Деловито просматривая какие-то бумаги, следователь долго не обращал внимания на о. Арсения, потом, откинувшись на стуле, сказал: "Рад познакомиться, Петр Андреевич! Рад! Обо мне, вероятно, слышали, я Одинцов".

"Слышал, гражданин следователь", — ответил о. Арсений.

"Ну! Вот и хорошо, батюшка! Начнем, пожалуй! Хорошие слова сказал Александр Сергеевич Пушкин, к нашему разговору сказал. Говорить и признаваться у меня надо, а то кровью утретесь. У меня порядочек известный. Начнем! Признавайтесь".

"О чем рассказывать? "

"Рассказывай, поп, об организации, которая действует в лагере и преследует цель покушения на жизнь товарища Сталина. Нам все известно, тебя выдали. Не тяни, раз обо мне слышал".

Собравшись в единый ком нервов, о. Арсений молился, взывая к Матери Божией о помощи, умоляя Ее дать ему силы выдержать допрос. "Господи Боже наш! Не остави меня грешного, укрепи, Владычица Небесная, дух мой немощный".

"Я ничего не знаю ни о какой организации и признаваться мне не в чем".

"Вот что, поп! Играть с тобой не буду, ты и так полудохлый, тебе все равно подыхать, а мне дело позарез нужно. Садись и пиши, что тебе диктовать буду".

"Гражданин следователь! Разрешите обратиться к Вам с вопросом?"

"У меня вопросов не задают, а отвечают, ну а ты давай — задавай, все равно тебе подыхать здесь".

"Гражданин следователь! Прошу Вас, взгляните в мое дело, и Вы увидите, кто допрашивал меня, но я никогда и никого не оговаривал, а меня били, и очень тяжело".

Одинцов тяжело поднялся, обошел стол, подвинул к о. Арсению лист протокола допроса, ручку и сказал:

"Кто бы ни допрашивал, а у меня все напишешь".

"Нет. Ничего писать не буду, в лагере нет никакой организации, Вы хотите создать новое дело и расстрелять безвинных, замученных людей, которые и так обречены на смерть".

Одинцов подошел ближе, губы его задрожали и исказились, тусклый бесцветный взгляд оживился, и, почти заикаясь, он произнес: "Милый ты мой! Ты не знаешь, что с тобой сейчас будет".

"Господи, помоги!" — только успел произнести про себя о. Арсений, как страшный удар в лицо сбросил его со стула, и, теряя сознание от ошеломляющей боли, он понял, что все кончено. Одинцов добьет его.

В какие-то короткие мгновения прихода в себя, он чувствовал удары, наносимые ногами и пряжкой офицерского ремня, которой били по лицу. В эти мгновения о. Арсений молил Матерь Божию, но, не успев произнести двух-трех слов, проваливался в темноту бессознательности и наконец затих.

Очнулся на несколько секунд на улице и только понял, что волокут его в барак. Второй раз очнулся в бараке на нарах. Кто-то мокрой тряпкой протирал его лицо и говорил: "Добили старика, не доживет до утра". И матерно, с ненавистью вспоминали Ласкового — следователя Одинцова.

Третий раз о. Арсений очнулся, как ему почудилось, опять в бараке. Тело нестерпимо болело, и боль гасила все в сознании. Пытаясь что-то припомнить, о. Арсений решил, что его допрашивают, потому что кто-то резал, казалось, голову.

Он захотел призвать имя Божие, молиться, но, ухватившись за начало молитвы, мгновенно терял ее. Боль, невыносимая боль вытесняла все, бросала в беспамятство, раздирала сознание. Он ждал и ждал еще ударов, крика, еще большей боли, ждал смерти.

Возвращаясь десятки раз в сознание на короткие мгновения и теряя его на длительное время, о. Арсений в моменты возвращения сознания все время пытался войти в молитву, но не мог, ожидая новых ударов, неимоверная боль, затуманенность мыслей отводили молитву.

В один из кратких периодов возможности сознавать о. Арсений с испугом понял, что он умрет без молитвы, без внутреннего покаяния. Голову кто-то поворачивал, что-то нестерпимо жгло и кололо, и вдруг о. Арсений услышал: "Быстро два укола камфары, осторожнее с йодом, не попадите в глаза. Накладывайте швы. Как мог этот мерзавец так искалечить человека? Осторожно брейте голову!".

Отец Арсений почувствовал, что чьи-то руки нежно поворачивают его голову, а сам он лежит на чем-то твердом и без одежды.

Сознание надолго покинуло его. Потом ему рассказывали, что пролежал он без памяти больше трех дней на больничных нарах. Придя в себя, пытался понять, где он. У следователя, в бараке или еще где? И с трудом осознал, что в больнице. Начал молиться, но после двух или трех фраз боль опять отбросила его во мрак беспамятства, и эта борьба за молитву с болью и беспамятством продолжалась несколько дней.

С каждым днем он успевал захватить, именно захватить, все больше слов молитвы и наконец молитвой победил все. Глаза были завязаны, но он все время чувствовал прикосновение чьих-то ласковых и заботливых рук, так же кто-то ласково что-то говорил ему и кормил его.

Голос был с легким еврейским акцентом: "Ну! Ну! Ничего, выжили. Не думал, что вырветесь из этой переделки. Завтра развяжу Вам лицо. Сам на допросах бывал, знаю эти легкие разговорчики, но мы Вас починили, почти как новый".

Скоро сняли повязку с глаз и головы. Врач, которого звали Лев Михайлович, заботливо возился с о. Арсением, давал советы, успокаивал. "Тихо, тихо, сейчас посмотрим. Дорогой мой! Лицо у вас почти без единого шрама! Вот и хорошо. Рад за Вас".

На о. Арсения смотрели два больших близоруких глаза в очках. Лицо было мягким и добрым. "Задержу еще Вас здесь,

сколько смогу, — говорил Лев Михайлович. — Задержу, да не попасть бы Вам второй раз к этому зверю. Молитесь своему Богу, а то убьет".

Пробыл о. Арсений в больнице более сорока дней. Расставались со Львом Михайловичем, замечательно добрым человеком и прекрасным врачом, буквально со слезами. Обнимая о. Арсения, Лев Михайлович убежденно говорил:

"Не может так все продолжаться, не может. Обязательно кончится, и мы выйдем с Вами из этого ада и встретимся". И, действительно, в 1963 г. встретились.

Вернулся из больницы о. Арсений в тот же барак, но из старых жильцов его осталось очень мало, большинство угнали на рудник. Говорили, что и следователя Одинцова куда-то перевели.

Месяца через три после выхода из больницы вызвали о. Арсения в "особый отдел" к начальнику. Грузный, неповоротливый человек со свинцовым взглядом, он внимательно осмотрел о. Арсения и сказал: "Живучий ты! И Одинцова перенес, и в лагере зажился, не мрешь, ну это хорошо! Намекали мне тут из Москвы, чтоб тебя не добить, да кто разберет — может, на пушку берут, проверяют. Ну-ну! Живи, на тяжелые работы дам указание не посылать".

После этого разговора до самой смерти Главного в "особый" не вызывали. Шрамы на теле и голове остались воспоминаниями о допросах.

Записано на основе рассказа о. Арсения нескольким своим друзьям и духовным детям.

ВСЕ МЕНЯЕТСЯ

Сообщение о смерти Главного пришло к заключенным лагеря с опозданием на три дня. Пришло случайно, через охрану. Администрация лагеря по неизвестным причинам скрывала это известие.

Был март, стояли большие морозы, снежные вьюги проносились над лагерем, заметая его и временами отрезая от внешнего мира. Вместе с сообщением о смерти в лагерь вошло что-то тревожное, щемящее, неизвестное. Каждый думал: "Что будет? Пойдет ли все, как раньше, или что-то изменится к худшему и всех заключенных уничтожат?" Каждый молчаливо понимал — что-то должно случиться.

Первые два месяца, приблизительно до конца мая, лагерь жил прежней жизнью, но потом в его размеренный ход стало вторгаться что-то новое и почти неуловимое: казалось, что в

хорошо заведенный механизм кто-то вставляет палки и сыплет камни.

Все так же работали, так же плохо кормили, так же умирали заключенные, но не привозили новых. В действиях начальства появилась нотка неуверенности, даже извинительного заигрывания с заключенными.

Приблизительно через год после смерти Верховного стали происходить перемены: улучшилось питание, матерщина и зуботычины исчезли, надзиратели и следователи в "особом отделе" обращались к заключенным на "Вы". Приехали комиссии из ЦК, прокуратуры. Номера с одежды спороли и стали называть не по номерам, а по фамилиям.

Пошли опросы, подымали дела, разговоров было много. На некоторых заключенных дела были уничтожены, и следствие вели заново, отправляя заключенных в те города, откуда они были взяты. Вызывали свидетелей, кого-то запрашивали. Разрешили переписку и даже посылки. За работу стали платить и делать расчеты за питание и одежду.

Первые комиссии, опросив несколько сот заключенных, уехали, месяца через два приехала вторая партия комиссий, осела в лагере и приступила к поголовному пересмотру дел репрессированных. Вначале освобождали бывших военных, старых членов партии, ученых, бывших видных хозяйственных руководителей.

Прошло еще некоторое время, объявили массовую амнистию уголовникам. Лагерь из "особого" стал обыкновенным, но со строгим режимом. В нем остались бывшие полицаи, власовцы, уголовники, не попавшие под амнистию за совершенные тягчайшие преступления, и политические, освобождение которых, по неизвестным причинам, кому-то было нежелательным.

За каких-нибудь полтора-два года лагерь опустел на девять десятых. Бараки пустовали, административный состав сократили наполовину. Начальство решило сузить зону лагеря. Перенесли охраняемые вышки, проволочную ограду. Часть бараков осталась вне зоны, и их сожгли.

Последнее время о. Арсения переводили из барака в барак. Из друзей никого не осталось, но о. Арсений по-прежнему помогал окружающим, постоянно молился, ежедневно писал письма и с нетерпением ждал писем с воли.

Оставшиеся заключенные были крайне озлоблены, и было трудно сейчас войти с кем-нибудь в дружеские отношения. Два или три иерея и несколько верующих заключенных, которых знал о. Арсений, находились в состоянии затравленности, угнетенности, не надеялись на освобождение, но писали всюду заявления и жалобы и из-за этого почему-то держались обособленно и отчужденно.

Пожалуй, это время было самым трудным для о. Арсения, вокруг него образовалась пустота, человеческое безлюдие, но осталась молитва, которой он только и жил. Трудно было потому, что, постоянно горя желанием оказывать человеку добро, он не находил сейчас себе дела.

В середине 1956 года о. Арсения расконвоировали, разрешили выходить за пределы лагеря в жилой поселок, освободили от тяжелых работ и перевели в инвалидную команду.

К марту 1957 года лагерь опустел почти полностью, зону сужали несколько раз, опустевшие бараки сжигали, и теперь за проволочной оградой лагеря чернели десятки остовов печей от сгоревших бараков, валялись жгуты ржавой колючей проволоки, блестели осколки стекол, громоздились остатки кирпичных фундаментных столбов.

Писем приходило много, и это было большой радостью. Первыми были письма от Веры Даниловны, Алексея, Ирины, Серафима Сазикова, Александра Авсеенкова, и пришла с очень сложной оказией записка от Абросимова, теперь генерал-лейтенанта. Абросимов писал: "Помню, ничего не забыл, делаем все, но мешают. Помню и помню Вас. Верю, что скоро встретимся в другой обстановке. Держитесь!"

Отец Арсений отвечал на письма, вдумываясь в судьбы и жизнь людей, и часто письмо человека, которого он не видел много лет, рассказывало ему так много, что, казалось, сам он, этот человек, присутствует здесь.

Надзиратель Справедливый уже более года, как ушел из лагеря, и о. Арсению было трудно и не хватало этого простого душой человека.

Некоторое количество административных уголовников опять возвратились в лагерь, осужденные за вновь совершенные преступления. Уголовники последнее время как-то особенно обнаглели, вели себя вызывающе, не боялись охраны, но вдруг сменили начальника лагеря, и сразу все изменилось. Повысилась требовательность к работе, улучшилось питание, за нарушение режима жестоко наказывали, но не было издевательств, жестокости, грубости.

Жизнь продолжалась, о. Арсений ждал часа воли Божией.

Это был последний барак, в котором жил о. Арсений перед освобождением из лагеря.

Из старых знакомых никого в бараке не осталось. Одних освободили, другие умерли, третьих перевели в другие бараки или лагеря.

ПРОЩАНИЕ

Настал 1957 год, меня расконвоировали и разрешили иногда выходить из охранной зоны. Кончая работу, я покидал лагерь, медленно шел к ближайшему лесу или к таежной болотистой речке, садился на сухой пень и начинал молиться. Голос мой далеко разносился по редколесью, затихая в ветвях берез и склоненных к воде ив, в елях и травах.

Здесь, в лесу, молиться было спокойно и легко: грубость лагерной жизни исчезала и наступала возможность молитвенного единения с Богом. И в это время вокруг меня как бы собирались мои духовные дети и друзья, живущие на воле, вспоминались умершие, которых я любил, или те, кого я проводил когда-то в последний путь, встретив на дорогах ссылок и лагерей.

Было тепло, комары монотонно звенели, вились сероватым облачком, пытаясь проникнуть через сетку накомарника. Внезапно возникший ветер уносил комаров, но через несколько мгновений ветер стихал, и они снова окружали меня. Лагерь, барак, уголовники, постоянный надзор сразу забывались, было только беспредельное синее небо, лес, колыхавшиеся травы, голоса птиц и молитва, объединяющая все и соединяющая с Богом и природой, созданной Им.

Уходить из лагеря разрешали нечасто. День этот был выходным. Я вышел из зоны и пошел далеко в редколесье, раскинувшееся за лагерем, где раньше, когда "особый" был полон заключенных, и в нем кипела лагерная жизнь, постоянно горели костры, оттаивавшие землю для больших, но неглубоких ям, в которых ежедневно хоронили умерших лагерников.

Кладбище было огромным, вся площадь когда-то обнесенная столбами и оплетенная колючей проволокой, теперь была открыта. Местами столбы упали, проволока порвалась и обвисла. Сейчас кладбище было похоже на заброшенное огородное поле, покрытое неровными и расплывшимися грядами, на которых кое-где стояли колья с прибитыми деревянными или жестяными бирками-табличками.

Большинство кольев и табличек валялось на земле, номера захороненных заключенных, написанные на них, стерлись, и только на некоторых виднелись расплывчатые очертания букв и цифр.

Я прошел далеко вперед. Земля была местами мокрой, нога глубоко погружалась в сыроватую глину, смешанную с перегноем из трав и листьев, и с трудом отрывалась при каждом шаге. Перешагивая через поваленные колья, невысокие насыпи, обходя большие по площади, но неглубокие

провалы, образовавшиеся на месте братских могил, хватаясь за стволы чахлых деревьев, шел я по кладбищу.

Весеннее, сегодня теплое солнце постепенно спускалось к горизонту. Я остановился, оглянулся во все стороны, перекрестился, благословляя всех лежащих на смертном поле, и начал молиться. На душе стало тягостно, грустно, печально. Ветер стих, стояли неподвижно травы, мелкий кустарник, хилые березы и ели. Казалось, ветер, тихий и прохладный, скрылся в подлеске и травах, прижался к земле, затаился и чего-то ждал.

Я медленно шел по полю, отдалившись от окружающего, сосредоточившись и молясь об умерших, и передо мною вставали люди, возникали из прошлого воспоминания, мучительные и тяжелые.

Люди, когда-то знакомые и любимые мною, или те, кого я напутствовал, провожая в последний путь, или встреченные мною здесь, в лагере, сдружившиеся со мною и передавшие мне в исповедях свою жизнь, лежали сейчас на этом поле смерти.

Вспоминались усталые, изможденные лица, растерянные, печальные, полные тоски, молящие или горящие неугасимой ненавистью глаза умирающих, и у каждого была жизнь, к которой я прикоснулся и как иерей принял часть ее на себя в исповедный час.

Воспоминания приходили и мгновенно исчезали для того, чтобы сейчас же возникли новые. Я громко молился, и скорбные слова заупокойных молитв разносились над кладбищем, истомляли душу, вселяли чувство тревоги.

Тысячи, десятки тысяч человек, лежавших здесь, убиты режимом лагеря, убиты, медленно умерщвлены другими людьми. Юноши и старики, тысячи верующих, защитники Родины, проливавшие за нее кровь, самые обыкновенные простые люди, попавшие в лагерь по ложным доносам, лежали сейчас в полуболотистой земле.

И здесь же, на этом поле смерти, лежали люди, предавшие Родину, участники массовых казней, полицаи, многократные убийцы-уголовники.

Где-то далеко шумел трактор-бульдозер, сравнивая могильные насыпи и заравнивая ямы, чтобы никто и никогда не вспоминал о тех, кто остался здесь.

Где-то лежали небрежно брошенные в могилы владыка Петр, архимандрит Иона, монах-праведник Михаил, схимник из Оптиной пустыни Феофил, многие великие праведники и молитвенники: друг людей врач Левашов, профессор Глухов, слесарь Степин, до самого последнего часа своего совершавшие добро, и много-много других, когда-то знаемых мною людей.

Я молился, вспоминая усопших, но вдруг слова молитвы иссякли, и я оказался стоящим на поле, растерянным, раздавленным воспоминаниями, сомнениями. Что осталось от погибших? Ржавая табличка со стертым номером, кость, торчащая из наспех засыпанной могилы, обрывок ткани?

Хоронили в спешке, ямы рыли неглубокие. Земля здесь всегда была мерзлой, и ее приходилось сутками оттаивать, чтобы вырыть могилу на несколько десятков человек.

Зимой трупы забрасывали землей и снегом, летом специальная бригада подправляла могилы, засыпая землей выступавшие кости ног и рук. Даже сейчас казалось, что из-под земли тянется запах тления.

Было душно, сыро, тихо. Солнце нагрело землю, и от этого над полем поднимался легкий, еле заметный пар. Воздух дрожал, переливался, и казалось, будто что-то необычайно легкое и большое плыло над кладбищем.

"Господи! Господи! — вырвалось у меня, — это же души умерших поднялись над местом скорби". Тоска, необычайная, щемящая тоска схватила и сжала мне сердце и душу. В горле встал комок рыданий, слезы застилали глаза, а сердце все сжималось и сжималось, готовое остановиться. Состояние полной безнадежности, уныния и чувство скорби охватили меня, я растерялся, упал духом и весь внутренне сник. Отчаянная душевная боль вырвала у меня болезненный стон. "Господи! Зачем Ты допустил это?"

Пронзительный и долгий плач внезапно возник и понесся над полем. Вначале это был низкий вибрирующий и воющий стон, перешедший потом в длительное однозвучное рыдание, временами срывающееся и напоминающее вопль человека. Ноющий и колеблющийся стон был заунывен и долог, он покрывал все бескрайнее поле, сковывая и наполняя душу беспредельной скорбью. Прозвучав над полем, плач неожиданно смолк для того, чтобы через несколько мгновений возникнуть с прежней силой.

"Я, — говорил о. Арсений, — еще более внутренне сжался, нервы напряглись до предела, все во мне наполнилось болезненной тоской. Окружающее потемнело, поблекло, стало гнетущим, я почувствовал себя сломленным, раздавленным. "Господи! Господи! Яви милость Свою!" — воскликнул я, осеняя себя крестным знамением.

И вдруг ветер, затаившийся в перелесках и травах, вырвался на волю, заколыхал травы, закачал деревья и настойчиво повеял мне в лицо, и мгновенно все ожило, пробудилось, двинулось.

Заунывный стон исчез, неожиданно высоко в небе зазвучало пение птиц, дрожащая и парящая волна воздуха рассеялась, растворилась в пространстве.

Состояние растерянности, гнетущей тоски и безнадежности прошло, я распрямился, стряхнул с себя страх и услышал в дуновении ветра движение жизни. Ветер принес свежесть, запахи травы, леса, отголоски далекого детства, неповторимую радость.

Стонущий плач, проносившийся над полем, оказался не чем иным, как вибрирующим звуком циркулярной пилы, работавшей на далекой лагерной лесопилке.Ветер медленно набирал силу, воздух стал упругим и ощутимым. Жаворонок рывками поднимался в вышину, песня его то затихала, то отчетливо звенела в небе, и я осознал, что жизнь сейчас идет так же, как и до гибели всех лежащих здесь людей, и так же будет идти.

Жизнь продолжалась и будет продолжаться всегда, так как это был закон Господа, и природа, созданная Им, выполняла Его предначертания. Охватившее меня состояние растерянности и безысходной тоски было вражеским наваждением, моей слабостью, маловерием.

Я отчетливо понимал, что иерей Арсений поддался духу уныния и тоски. Опустившись на колени на одну из могильных насыпей и прислонившись к стволу невысокой березы, собрав всю оставшуюся силу и волю, стал молиться Господу, Матери Божией и Николаю Угоднику.

Постепенно душевное спокойствие овладело мною, но вначале настоящая молитва приходила с трудом.

По-прежнему передо мною было скорбное поле смерти, расползающиеся насыпи, ямы, наполненные темной водой, жестяные и деревянные бирки, обломки человеческих костей, сломанная лопата, которой когда-то копали землю.

По-прежнему лежали в земле десятки тысяч погибших заключенных, многие из которых навсегда вошли в мое сердце. Все так же душа моя была полна человеческой скорби о погибших, но гнетущее чувство уныния и тоски, охватившее меня, под влиянием молитвы ушло.

Долгая молитва очистила душу и сознание, дала мне возможность понять, что Устроитель жизни Господь призывает не поддаваться унынию и скорби, но молиться об умерших, требует творить добро живущим людям во имя Господа Бога, Матери Божией и во имя самих живущих на земле людей.

Окончив молитву, я медленно пошел с кладбища. Северное закатное солнце неохотно уходило за горизонт, покрытый лесом. Темная гряда леса взбиралась на пологие сопки, потом вдруг сбегала с них вниз, и от этого казалось, что вершины деревьев распиливают небо гигантской пилой. Ветер опять зарылся в перелесках и травах, и сейчас над кладбищем снова стояла тишина. В отдалении еле слышно ворчал трактор, циркулярная пила замолкла.

Со стороны леса доносилось тоскливое кукованье кукушки по растерянным детям. Одна кукушка кончала, и где-то в отдалении начинала другая. Кому считали они годы жизни? Тем, кто лежит на простирающемся передо мной поле смерти, кто нашел свой конец и не вел счет времени? Мне, еще живущему в лагере? Но срок моей жизни знал один только Бог.

Шел я к лагерю, охваченный воспоминаниями. Время от времени мысли мои разрывал голос кукушки, и тогда далекие воспоминания детства и юности проходили перед глазами. Мать, с которой я иду по лесу, она рассказывает мне о лесе, травах и птицах, и так же куковала кукушка. Вспомнилась первая исповедь, давно ушедшие друзья, моя церковь, где много лет я служил. Думал ли я тогда, что услышу голос кукушки на кладбище лагеря особо усиленного режима, где лежат десятки тысяч мертвых, большинство которых безвинно погибли, свидетелем гибели их был и я? Думал ли, что буду участником всего происходящего и так же, как и они, пройду скорбный путь мучений и издевательств?

Для чего все это, Господи? Для чего мучились и погибли те люди, верующие и неверующие, праведники и страшнейшие преступники, злодеяния которых невозможно оценить по человеческим законам? Почему? И сам ответил себе.

Это одна из тайн Твоих, Господи, которую не дано постичь человеку — рабу греха. Это тайна Твоя. Неисповедимы пути Твои, Господи. Ты знаешь, Тебе ведомы пути жизни человеческой, а наш долг творить добро во Имя Твое, идти заповедями Евангелия и молиться Тебе, и отступятся тогда силы зла. Ибо там, где двое или трое собраны во Имя Твое, там и Ты посреди них. Помилуй меня, Господи, по великой милости Твоей и прости за уныние, слабость духа и колебания.

Обернувшись на четыре стороны, благословил я всех, лежащих на поле, и, низко склонившись, простился со всеми. Господи, упокой души усопших рабов Твоих. До конца жизни своей буду помнить я тех, кто остался лежать здесь, в земле.

Перебирая в памяти знаемых мною умерших, тихо поминал я за упокой души и в этот момент отчетливо видел лица их...

Шел 1957 год, лагерь пустел с каждым днем, где-то недалеко от него возник гражданский поселок, в который из разных мест страны ехали вольнонаемные взамен ранее работавших заключенных.

Появились улицы, скверы, длинные вереницы домов, приезжали люди, ничего не знавшие об "особом" и о полуболотистом кладбищенском поле, на котором остались лежать тысячи погибших заключенных.

Прошлое уходило из памяти людей.

ОТЪЕЗД

Подошел конец 1957 г. О.Арсения несколько раз вызывали в управление лагеря. До конца срока оставалось еще шесть лет, так как в 1952 году "добавили" еще десять. Вызывали, расспрашивали, допрашивали, писали протоколы, заполняли анкеты, что-то у кого-то запрашивали и наконец весной 1958 года сообщили, что освобождают по амнистии, хотя основное освобождение всех заключенных прошло уже несколько лет назад.

Сообщили буднично, будто о. Арсений получил сообщение о получении посылки, а не сидел в лагере без всякой вины многие годы, только кто-то из членов комиссии с некоторым удивлением сказал: "Вот поди же, выжил старик! Приходится освобождать!"

Одели, дали на проезд литер, деньги, заработанные за последние годы, справку для получения паспорта по прибытии на место жительства. Место жительства? Где оно было сейчас у о. Арсения? В комиссии спросили, выдавая справку, куда он едет. И о. Арсений назвал маленький старинный городок под Ярославлем, в котором когда-то часто бывал и жил, изучая старину. Он отвык от воли, плохо представлял себе жизнь за пределами лагеря, и сейчас ему было почти безразлично, куда ехать.

Усталость, безграничная усталость давила и сгибала его. "Все в руках Божиих, — решил он.— Бог устроит".

Надо было отдохнуть, собраться с силами, побыть одному и в молитве найти спокойствие, собранность, и тогда можно встретиться со своими духовными детьми. Сейчас сил не было, и только одна молитва поддерживала его.

Внезапно наступила ранняя северная весна, теплые ветры согнали снег с пригорков и дорог. Было сухо, комары и гнус еще не одолевали, прилетели ранние птицы, в воздухе чувствовалась бодрость и свежесть. С вещевым мешком, в новых гражданских ботинках, черных брюках, в новой телогрейке и стандартной шапке-ушанке вышел о. Арсений за ворота лагеря. Теплый весенний ветер налетал на него, шевелил волосы, придавая свежесть утру, чуть-чуть пылил дорогу.

Пройдя контрольный пункт, о. Арсений обернулся лицом к лагерю, низко склонился к земле и, прощаясь, перекрестил лагерь. Охрана не без удивления смотрела на него: уходил старик, много лет пробывший здесь.

Отойдя от ворот лагеря и поднявшись на пригорок, по которому шла дорога, о. Арсений обернулся опять к лагерю и осмотрел его. Сейчас лагерь был жалок, вышки и несколько рядов проволоки охватывали несколько темных бараков. За

пределами лагеря лежали груды кирпича, стояли полусгоревшие столбы от сожженных бараков, поваленные столбы с колючей проволокой, полусгнившие остатки вышек, и о. Арсений вспомнил лагерь "особого режима", когда-то беспредельно громадный, кипучий в своей страшной жизни.

Сойдя с дороги и смотря на лагерь, о. Арсений молился, вспоминая многих и многих людей, оставшихся здесь, и тех, кого Господь увел отсюда. Долгие, томительные годы прошли для о. Арсения здесь. Долгие! Но Господь никогда не оставлял его, и Он сохранил о. Арсения, дал ему возможность в этом море скорби найти много совершенного, прекрасного. Найти людей, у которых о. Арсений по великой милости Бога взял то, к чему стремится и должен стремиться каждый христианин.

Здесь, в окружающем его человеческом горе, он научился молитве "на людях", здесь пример многих и многих праведников и просто обыкновенных людей показал ему, что надо брать тяготы человека на себя и нести их, и в этом закон Христов. Молясь, благодарил о. Арсений Господа, Матерь Божию и всех тех, кто оставался здесь и великой неоцененной помощью своей помогали и учили его.

Попутная грузовая машина подвезла о. Арсения до гражданского поселка, где теперь обыкновенным служащим работал бывший надзиратель лагеря Справедливый. Разыскать дом и квартиру Справедливого было нетрудно. Странным и необычайным показалось находиться вне лагеря — не было крика, уголовников, распорядка дня, ругани.

Справедливый в прошлом, а теперь Андрей Иванович вместе с женой провожали о. Арсения на вокзал. Два дня, прожитых у Андрея Ивановича, дали возможность о. Арсению осознать волю. Андрей Иванович доплатил к литеру, и о. Арсений ехал в купированном вагоне. Расположившись на нижней полке, подложив под голову свой вещевой мешок, он закрыл глаза.

Поезд вздрагивал на стыках, колеса мерно стучали, за окном проносилась тайга, скалы, реки, озера Сибири. Перед мысленным взором сейчас проходило прошлое, люди и люди шли бесконечной вереницей. Погибло большинство, но многие все же выжили, и их о. Арсений увидит. Новая жизнь еще плохо представлялась о. Арсению. Все было неизвестно, но был Бог, и при Его помощи должна была начаться эта жизнь. Мысли, заполнившие сознание, отошли, и о. Арсений стал молиться и вдруг услышал: "Осторожнее, здесь из лагеря, как бы не обворовали", — и второй голос полушепотом произнес: "Удивляюсь! Как их только выпускают. Расстреливать надо". О.Арсений открыл глаза, на противоположном месте устраивалась молодая пара. Поезд шел вперед, мель-

кали станции, реки, леса, города, на перронах свободно ходили и говорили люди. Жизнь шла.

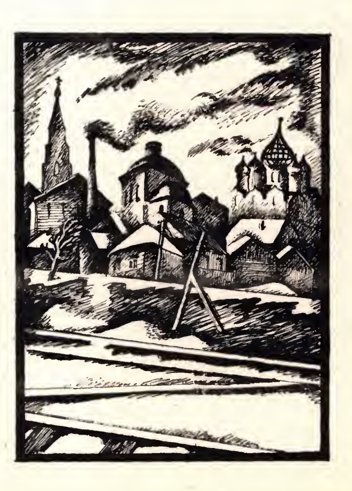
Отец Арсений молился о новой наступающей жизни, о тех, кто остался в "особом" навечно.

Весна полностью вошла в свои права, за окнами поезда по мере приближения к Москве все расцветало яркими красками. Страшное прошлое, связанное с лагерем "особого режима", ушло в невозвратность. Период тяжелых испытаний, выпавших на долю Родины, прошел.

Смотря в окно, но ничего не замечая, о. Арсений молился и благодарил Господа, Матерь Божию и всех святых за великую милость и помощь, оказанную ему, и просил за всех, кого знал и любил. Приближался город, где о. Арсений должен был начать новую жизнь и продолжать служение Богу и людям.

Часть вторая

ПУТЬ



ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ

В этой части собраны воспоминания и рассказы об о. Арсении, а также о людях, так или иначе соприкасавшихся или встречавшихся с ним. Одни больше, а другие меньше.

Вы встретитесь здесь с людьми, имена которых уже встречались в первой части — "Лагерь", встретите и новых людей, то ли духовных детей о. Арсения, то ли тех, кто, однажды узнав о. Арсения, навсегда унес с собой веру в Бога, понял, что такое настоящий верующий человек, несущий людям добро, радость и исцеление от тягот жизни.

Он, о. Арсений, умел брать на себя трудности и грехи других людей, учил их молиться, так что они могли найти путь к Богу, он воспитывал в человеке веру, давал ему понимание радости сотворения добра. Нам не дано знать, скольким людям облегчил он жизненный путь и скольких привел к Господу и дальше вел по этой дороге веры, но мы знаем, что таких людей было много, очень много. Прочтя собранные воспоминания, рассказы и записки, вы поймете и увидите жизненный путь о. Арсения, а также людей, жизнь которых служит для нас примером. Мы должны глубоко благодарить всех духовных детей о. Арсения, знакомых и друзей его, написавших о нем или о своей жизни, связанной с ним в той или иной степени.

Читая воспоминания, рассказы и записки зти, невольно чувствуешь ту необычайную святую любовь и глубокое почитание о. Арсением Матери Божией, к Которой он постоянно возносил молитвы о нас, грешных.

Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!

ВСПОМИНАЮ

Поезд остановился, и о. Арсений вышел из вагона. Шла весна 1958 г, буйная, радостная, веселая. Было утро, яркое, солнечное. Местами на земле лежал нерастаявший снег, блестели голубые от весеннего неба лужи.

Пройдя по перрону и выйдя на привокзальную площадь, о. Арсений осмотрелся. Чистый, прозрачный воздух прочерчивал узоры далеких колоколен, главы церквей с погнутыми крестами на куполах.

В телогрейке, шапке-ушанке, с вещевым мешком за спиной, с небольшой седой бородой о. Арсений, при первом взгляде на него, казался колхозником, приехавшим в город за продуктами, но какие-то еле уловимые черты в одежде, походке, манере общения говорили, что он вернулся из заключения.

Город был тот же, что и два с половиной десятилетия тому назад, но еще больше обветшал, стал грязнее и мрачнее, и даже весенняя погода не оживляла его, а наоборот, подчеркивала убожество давно не ремонтированных домов, разбитых булыжником мостовых, замусоренных дорожных канав, обшарпанность ларьков и палаток, гнетущую одноцветность всего окружающего.

Отец Арсений опустил руку в карман телогрейки, достал записку с адресом и пошел разыскивать дом Надежды Петровны. Все было сейчас новым: люди, разговоры, поведение людей и сам маленький городок, который он когда-то часто посещал и подолгу в нем жил.

Монастырская, Заречная, Посадская улицы стали улицами или проспектами Энгельса, Марата, Советской, Гражданской, Ильичевской.

Отец Арсений долго расспрашивал, ходил, и наконец перед ним появилась, поднимаясь в гору, нужная ему улица. Он разыскал дом и, подойдя к закрытой калитке, дернул ручку звонка в отверстии забора.

Позвонив несколько раз и услышав, как в доме дребезжит колокольчик, но никто не выходит, о. Арсений беспомощно оглянулся, не зная, что же делать. Стало холодно, дорога утомила, пересадки, волнения, томительная неизвестность, оторванность от привычной лагерной жизни, суета свободы заставили потерять внутреннюю собранность и спокойствие. Оставаясь стоять у калитки, о. Арсений растерялся. Куда же идти? Что делать? В городе он никого не знал, был второй адрес, но, обыскав все карманы, не нашел его. Необходим был человек, который помог бы снять в городе комнату. Надо было отдохнуть, пожить одному, привыкнуть ко всему ново-

му, понять, войти в жизнь на воле, от которой он отвык за долгие годы лагерной жизни, и затем уже списаться с духовными детьми и друзьями. Что делать? Может быть, Надежда Петровна уехала? У калитки стояла небольшая скамейка, потерев ее рукавицей, о. Арсений в изнеможении сел.

"Я задумался, — рассказывал потом о. Арсений, — задумался о том, что незаметно поддался духу гордыни, возомнил, что справлюсь с новой жизнью один, без друзей своих и духовных детей, привыкну к новому, а Господь показал сейчас мои заблуждения. Все окружающее пугало, было незнакомо, чуждо. Одна надежда была на Господа".

По улице проходили редкие прохожие, а старик в телогрейке, вещевым мешком за спиной, полусогнувшись, сидел на скамейке, прислонившись к забору, и как будто дремал. Городок, улица, запертый домик — все отдалилось, ушло, и осталась только одна молитва к Господу и Матери Божией, в которой о. Арсений просил простить его за гордость, неверие в помощь близких своих.

Время шло, и часа через три из соседнего дома вышла женщина и спросила: "Вам кого, гражданин?" — и о. Арсений удивленно увидел себя на скамейке, рядом с забором, незнакомую улицу и женщину, стоящую около него, и с трудом осознал, где находится. Разыскав в кармане записку, отец Арсений ответил: "Надежду Петровну", — но вопросы продолжались: "Кто? Откуда, зачем? Давно ли в городе?".

Отец Арсений отвечал односложно: "Знакомый. В гости, давно не виделись". Казалось, что прервать любопытствующий допрос нельзя, но в этот момент подошла женщина к калитке, и о. Арсений понял, что это Надежда Петровна. Так произошел его приезд в город и встреча с Надеждой Петровной, у которой он прожил более 15-ти последних лет своей свободной жизни.

Жизнь Надежды Петровны была далеко не обычна. Дочь учителя, она в 16 лет вступила в партию, участвовала в гражданской войне, руководила женотделом губернии, работала в партийных органах, поступила в Институт красной профессуры, кончила его и перешла на работу на так называемый "идеологический фронт".

Статьи, брошюры, книги, написанные ею, обрели известность. Работала со Скворцовым-Степановым и Варгой, избиралась делегатом различных съездов, но в 1937 году арестовывается и только в конце 1955 года освобождается "по чистой" в возрасте 55 лет. Из троих детей в живых осталась старшая дочь Мария, которая к моменту выхода Надежды Петровны из лагеря уже давно была замужем за военным врачем. Сын Юрий, пробыв несколько лет в детском доме, был взят на фронт, где и погиб 19-ти лет, младший, Сергей.

умер в этом городе в детском доме. Жить в Москве Надежда Петровна не захотела и решила поселиться там, где умер и похоронен маленький Сергей. Убеждения, любовь, интерес к жизни, когда-то волновавшее прошлое — все было вытравлено, стерто допросами, унижением, лагерем. В душе осталась постоянная боль. Дочь и зять купили в этом городке для Надежды Петровны небольшой, но хороший домик с уютным садом. В 1952 году встретил о. Арсений в лагере мужа Надежды Петровны — Павла, тяжело болевшего, но почти до самой смерти продолжавшего работать на тяжелых работах. Павел сдружился с о. Арсением и попросил, если о. Арсению удастся выйти из лагеря, разыскать жену и рассказать о его жизни и, если будет возможно, помочь ей. В конце 1956 года, еще находясь в лагере, о. Арсений списался со своими друзьями, и они с большим трудом нашли Надежду Петровну, которая к этому времени уже жила в своем домике в Р. О.Арсений написал ей обстоятельное письмо об умершем муже, о последних днях его жизни, и вот тогда-то и пригласила она, чтобы после освобождения приехал о. Арсений к ней жить.

Приняла Надежда Петровна о. Арсения хорошо, он подробно рассказал ей о жизни ее мужа в лагере, о его несгибаемой стойкости, мыслях, высказанных им перед смертью. Многое рассказал. Слушая о. Арсения, Надежда Петровна то плакала, то лицо ее становилось гневным, злым, и она повторяла одну и ту же фразу: "Какой человек был Павел! Какой человек! Погубили сознательно, преднамеренно. Мерзавцы!"

Прожил о. Арсений у Надежды Петровны несколько дней и почувствовал, что трудно ему, чуждо все здесь. Молиться стеснялся и все время чувствовал себя гостем, хотя и жил один в комнате, да и второй адрес нашел за это время в кармане телогрейки.

Поблагодарив Надежду Петровну за гостеприимство, ушел жить к Марии Сергеевне, своей хорошей знакомой и духовной дочери из Москвы. "Пришла я, — рассказывает Надежда Петровна, — дней через десять навестить о. Арсения, тогда звала его Петром Андреевичем. Смотрю — домик ветхий; живет в каком-то чулане, кровать складная, ломаная, одеяло старое, ситцевое, а сама Мария Сергеевна от старости еле двигается и не только помочь о. Арсению не может, а и сама требует ухода. В общем, битый битого везет. Стала звать его опять к себе жить, а он посмотрел на меня как-то по-особому, кротко-кротко и сказал: "Возможно ли это? Я ведь священник, иерей, молюсь подолгу и богослужение дома совершаю, а у Вас взгляды другие, вы неверующая, атеистка, кроме того, ко мне и друзья приезжать будут, и не один, а много. Неподходящий я для Вас постоялец".

"Вижу, что и Мария Сергеевна не одобряет его переезда ко мне, но почему-то неизмеримо стало жалко мне его, пришла я на второй день и увела к себе. Поселила о. Арсения в большой комнате, окна в сад выходят, тихо, спокойно там. Стала ухаживать за ним, одна ведь живу. Дочь с мужем хорошо, если один раз в месяц из Москвы приедут, а внучка только на каникулы зимой приезжала. Времени свободного много, читала все больше, а тут вроде бы и занятие, да и вижу — человек он очень интересный и какой-то особенный. Вначале не понимала, что в нем особенного? Первое время все молился — днем, вечером, ночью, утром. Иконочку взял у Марии Сергеевны, повесил в уголок, лампадку постоянно поддерживал горящей. Странно мне все зто было, непонятно. Думала — без образования он, фанатик или лагерь сильно повлиял, но по разговору — интеллигентный. Стала присматриваться к нему, иногда вечерами подолгу разговаривали, и поняла я тогда, что передо мною человек огромных знаний, культуры и какого-то особого, высокого духа и доброты необычной. Поняла все зто в течение полутора месяцев. Присматриваясь к о. Арсению, заметила, что не привык он еще к свободе и лагерь довлеет над ним со всем его страшным прошлым. Хотя и сказал он мне, что будут к нему приезжать друзья, но никто ни разу не приезжал, а писем он также никому не писал и, как потом узнала, запретил и Марии Сергеевне сообщать кому-нибудь, что живет здесь.

Первые три недели на улицу не выходил, а потом стал сидеть на улице на скамеечке. Состояние его было мне понятно, так как и со мною, и с моими друзьями по выходе из лагеря происходило нечто подобное: одни замыкались в себе, а в других просыпалась нервозно-кипучая деятельность, сменявшаяся потом депрессией".

"Стала я,— рассказывала потом Надежда Павловна,— больше говорить с о. Арсением, расспрашивать, рассказывать о себе, а также попросила разрешения заходить к нему, когда он молился или совершал богослужение, и в зти моменты становился он другим человеком, ранее мною не виданным, поражавшим меня.

Помню: как-то вечером охватила меня тоска гнетущая, давящая. Дети Юрий и Сергей неотступно стояли перед глазами, вспоминала все время мужа, и что-то темное заползало мне в душу, хотелось броситься на пол и биться головой, кричать, рыдая, обо всем потерянном, утраченном. Жизнь казалось бесцельной и ненужной теперь. Для чего жить? Для чего? Я металась по комнате, кидалась на кровать, закусывая зубами подушку, вставала и беззвучно плакала, слезы заливали лицо. Кто мне поможет? Кто мне ответит за то, что случилось? Кто?

Было так тяжело, что я хотела умереть. Мне вспоминались страдания детей в детских домах, ужас расставания с ними при аресте, их расширенные глаза, полные страха и мольбы, обращенные ко мне, уходящей с арестовавшими меня работниками НКВД. Смерть мужа в лагере. Допросы и моя жизнь. Все проносилось с какой-то особой четкостью, обостренно, болезненно. Хотелось куда-то бежать и потребовать ответа: ЗАЧЕМ все это было?

Я одна в доме, Петр Андреевич — изможденный и оторванный от жизни человек, не могущий мне помочь, но рядом никого не было, и я, плача, все же пошла к нему. Тоска, скорбь и какая-то особая озлобленность охватили меня. Я вошла без стука. Петр Андреевич стоял в углу перед иконой Божией Матери, неярко горела лампадка, и он в полный голос молился. Я вошла, громко, резко открыв дверь, но он не обернулся. Остановившись, услышала слова молитвы, четко произносимые им:

"Царица моя преблагая, надежда моя Богородица, защитница сирым и странным, обидимым покровительница, погибающим спасение и всем скорбящим утешение, видишь мою беду, видишь мою скорбь и тоску. Помоги мне, немощному, укрепи меня, страждущего. Обиды и горести знаешь Ты мои, разреши их, простри руку Свою надо мною, ибо не на кого мне надеяться, только Ты одна защитница у меня и предстательница перед Господом, ибо согрешил я безмерно и грешен перед Тобою и людьми. Будь же, Матерь моя, утешительницей и помощницей, сохрани и спаси мя, отгони от меня скорбь, тоску и уныние.

Помоги, Матерь Господа Моего!"

Отец Арсений окончил молитву, перекрестился, встал на колени, положил несколько поклонов, прочел еще какую-то молитву, которую я не запомнила, и встал с колен. А я, ухватившись за косяк двери, рыдала громко, обливаясь слезами, и только слова молитвы к Божией Матери отчетливо звучали передо мною. Забегая вперед, хочу сказать, что они запомнились мне на всю жизнь, запомнились мгновенно, навсегда, запомнились так, как я восприняла их тогда. Сквозь охватившие меня рыдания я смогла сказать только одно: "Помогите, мне очень тяжело!"

Ничего не спрашивая, Петр Андреевич оторвал меня от дверного косяка и посадил на стул. Захлебываясь от рыданий, я стала говорить, сперва озлобленно, потом раздраженно и наконец успокоилась. И вся моя жизнь, вся до мельчайших подробностей вставала передо мной, и я выплескивала ее на о. Арсения. Рассказывала о себе, детях, муже, о горе, страданиях, о своей жизни, об ошибках, стремлениях, о прошлой работе. Прошлое, обнаженное прошлое

вдруг предстало передо мной совершенно по-другому. Рассказывая о себе, я увидела не только себя, но и тех людей, которым я приносила страдания, боль, унижение, а возможно, и смерть. Все прошло перед моими глазами. Слова молитвы, услышанные мной во все время моего рассказа, незримо присутствовали, как бы освещая мне путь. Говорила я долго, несколько часов, а о. Арсений, опершись руками на стол, недвижно слушал меня, не прерывая, не поправляя. Когда я кончила, сама удивившись тому, что рассказала, о. Арсений встал, подошел к иконе, поправил лампадку, перекрестился несколько раз и стал говорить. Говорил он, вероятно, недолго, но то, что сказал, еще и еще раз заставило меня понять все свои страдания иначе, чем я понимала их раньше. Ведь страдала и мучилась я и за те дела, которые когда-то совершала, ведь и от моих поступков и действий страдали люди, а я не думала о них, забывая об их мучениях. Почему я должна быть лучше их?

Отец Арсений сказал: "Хорошо, что Вы мне рассказали свою жизнь, ибо полная откровенность — это кладезь очищения совести человека. Вы найдете себя, Надежда Петровна", — и трижды благословил меня. Я не стала сразу верующей, но поняла, что есть многое, то многое, что упущено мною в жизни, и это упущенное и ранее не найденное с помощью Божией и о. Арсения я нашла. Сперва я привыкла к нему, потом привязалась и увидела в нем человека совершенно необычного, несущего в себе глубокую духовность, веру и доброту к людям. Никогда не могла я предположить, что худой, усталый человек, пришедший ко мне в лагерной телогрейке, окажет такое влияние на меня, и я стану верующей, ранее из отрицавшей Бога и гнавшей Его.

Этот разговор в очень большой степени сблизил меня с о. Арсением, и он стал меньше стесняться, постепенно оттаивать, интересоваться окружающим, и к исходу второго месяца написал уже несколько писем, и, вероятно, дня через четыре приехало к нему сразу несколько человек. Нечего греха таить, показались мне эти люди несколько странными, но только вначале, а потом я поняла их, и сама, вероятно, стала такой же, как и они. Со многими сдружилась и полюбила их.

Месяцев через пять-шесть я уже стала духовной дочерью о. Арсения, — рассказывала Надежда Петровна, — но одно событие, происшедшее в это время, особенно повлияло на меня.

Был у нас с мужем большой нам друг и товарищ Николай. Арестован он был одновременно с Павлом — моим мужем — и проходил по одному и тому же делу. В 1955 г. выпустили его, реабилитировали, восстановили во всем и вся. Работая в

Харькове на большой хозяйственной должности, был в он командировке в Москве и решил заехать ко мне. После лагеря не виделись мы, а только переписывались.

Приехал! Я расспрашивать стала, как в лагере жил, о себе рассказываю, почему вдруг в этом городе живу, о детях плачу. Николай о себе рассказывает, конечно, арест, лагерь, допросы, вспоминает, кто донес о несуществующем деле. Стал о моей дочери расспрашивать, а потом вдруг спросил, смеясь: "Надежда, а ты замуж не вышла? Раздевался когда, увидел — мужская шляпа и пальто у тебя в передней висят. Чьи это?"

А я ему ответила что-то резкое, но тут же спохватилась и сказала, что живет у меня жилец, хороший знакомый, с мужем в лагере в последний год его жизни сидел. Николай, вероятно, машинально, спросил: "Кто он?" — Я назвала: "Священник Стрельцов Петр Андреевич, ты его знать не можешь, ведь последних четыре года вы сидели в разных лагерях с Павлом".

Николай буквально подскочил и закричал: "Отец Арсений! Здесь! Где он?"

Ворвался без стука к о. Арсению в комнату, и я слышала, что он кричал: "Отец Арсений! Отец Арсений!"

Я следом за Николаем вошла в комнату и увидела, как Николай обнимает о. Арсения и, что меня крайне удивило, плачет, и еще более удивило, что он вдруг сказал: "Господи! Какая радость, что Вас встретил. Запрашивал о Вас, искал через знакомых, а ответа нет. Благословите меня Бога ради", — и пошел под благословение.

Сели, разговаривают и меня забыли. Вышла я чай приготовить. Готовлю и удивляюсь! Что такое с моим покойным Павлом произошло и с Николаем? Почему они оба от о. Арсения, можно сказать, без ума? Чай я поставила, но о. Арсений и Николай его так и не пили. К ночи Николай пришел. Пока его не было, я все размышляла. Хороший, добрый о. Арсений, но чтобы Николай, коммунист, под его благословение подошел, было мне непонятно.

О чем они тогда говорили несколько часов кряду, я не знала, а уже потом, через несколько лет, Николай сказал мне, что исповедовался.

Пришел Николай какой-то просветленный и первое время молчал, а потом всю ночь говорил об о. Арсении. Вначале это меня даже обозлило. Приехал человек ко мне, не видел бездну лет и внезапно ушел. Конечно, хороший человек о. Арсений, но поступать так по отношению ко мне, столько перенесшей, казалось бестактным и неправильным. Мог бы с о. Арсением и потом поговорить, и я раздраженно сказала: "Послушай, Николай! Сама вижу, что Петр Андреевич человек хороший, но ты-то почему так к нему относишься? Под благо-

словение подошел, меня оставил, к нему бросился! Ведь столько лет меня не видел!"

Посмотрел на меня Николай удивленно и начал рассказывать. Долго говорил, очень долго, и увидела я Петра Андреевича, о. Арсения, совершенно по-другому.

Помню его рассказ: "Лагерь, Надя, мне жизнь по-новому показал: взгляды, людей, идеи, события, свое прошлое и настоящее оценил я иначе, чем раньше рассматривал. Сама в лагерях была, знаешь! На воле человек добрый, верный, отзывчивый, цены ему нет, и веришь в него, а попал этот человек в лагерь — и сразу видишь: шкурник, доносчик, предатель — дрянь. Отца и мать предаст. Мы с тобой таких видели, из-за них сидели многие годы, близких потеряли.

А этот человек, Надя, не одну сотню людей спас от смерти и мук. Чем спас? Добрым словом, заботой, помощью. Ты знаешь, что в лагере значила внутренняя, моральная поддержка? Все значила, больше, чем еда.

Мы в лагерях к своим тянулись: партийный к партийному, интеллигент к интеллигенту, колхозник к колхознику, вор к вору, шпана к шпане, и если помогали, то только своим, да и помогали-то редко, больше предавали, а он, о. Арсений, всем помогал. Не было у него своих и чужих, а просто были люди, которым нужна помощь. Так он и меня с Павлом нашел. Были мы на грани отчаяния, хотели бежать, а ведь это было равносильно смерти. Ничего никому не говорили, а он накануне нашего побега с этапа подошел к нам и заговорил.

Мы смотрим на него как обалделые. Откуда он знает? Растерялись. Страшно нам, Надя, стало с Павлом. Отговорил убежденно, ласково, и успокоились мы.

Когда я в бараке услышал, что он поп, презрительно к нему отнесся, да и вид у него был самый неказистый. Прожил я с ним в бараке около года, и стал он для меня и Павла как звезда путеводная. Присмотрись, Надя, к нему, присмотрись и тоже к нему под благословение пойдешь!"

Сильно повлиял на меня рассказ Николая, да я к тому времени и сама, как уже говорила, к о. Арсению привязалась, это меня просто уход к нему Николая расстроил."

Продолжу рассказ об о. Арсении и его жизни.

Комната, которую ему предоставила Надежда Петровна, была большая. Окна выходили в сад, засаженный яблонями, вишнями, рябиной. Соседний двор был далеко и совершенно не виден, зимой чуть-чуть просвечивал.

Рано утром рыжий петух взлетал на забор и задиристо кричал несколько раз, в это время о. Арсений вставал и начинал утренние молитвы. Потом опять ложился, а в семь утра начинал службу до девяти. От семи до девяти, когда он служил, присутствовали все приехавшие к нему духовные

дети и иногда Надежда Петровна. После службы он беседовал с приехавшими или работал. Писал письма, иногда диктовал их, когда плохо себя чувствовал. Много читал книг по искусству и также писал.

Приезжало очень много народа, именно очень много.

Вера Даниловна. Высокая, седая и внешне строгая и недоступная, а на самом деле милейший и добрейший человек. Самый близкий друг и духовная дочь о. Арсения, пришедшая к нему когда-то одной из первых. Почти все из нас лечились у нее, она была врачом. Приезжали еще два врача — Людмила и Юля, почти одних лет. Приезжала с мужем и детьми Ирина, красивая, лет 45-50. Вместе с Верой Даниловной они лечили о. Арсения и иногда даже увозили его в Москву, чтобы положить то в одну, то в другую клинику. О.Арсений всегда отказывался, не хотел, спорил, но под общим нажимом сдавался. В этих случаях к ним присоединялась Надежда Петровна, собирала вещи, и о. Арсений буквально выставлялся из дома, при этом он всегда, уходя, говорил одну и ту же фразу: "Здоров я, выдумки все это, выдумки".

Ирина была особенной: мягкой, женственной, необычайно доброй, и никто бы не подумал, что это уже известный врач-хирург, имеющий звание профессора и свою кафедру. Жизни Ирины я не знала, но видела, что о. Арсений с каким-то особым уважением относился к ней.

Помню приезды инженера Сазикова, красивого, всегда элегантно одетого человека, буквально обожавшего о. Арсения. Размеренной походкой, бывало, ходили они по саду и часами о чем-то говорили. Сазиков был остроумен, находчив и, казалось, весел, но в его больших карих глазах жила постоянная глубокая скорбь. Приезжал он часто и в один из своих приездов разговорился со мной, сказав, что сидел вместе с о. Арсением в лагере, и что он бывший вор-рецидивист.

Я страшно удивилась и сказала, что он, вероятно, шутит, но Сазиков ответил: "Я не смеюсь, я старый уголовник, которого вырвал из этой среды о. Арсений". Сазиков производил впечатление человека, всецело поглощенного верой и работой. Кто и что он за человек, я не знала, о. Арсений учил нас никогда и никого не расспрашивать, так было заведено, но года через четыре после первого знакомства мы встретились с Сазиковым в Москве, и он стал частым гостем в нашей семье, вот тогда-то он и рассказал мне и мужу свою жизнь.

Помню, приезжал совершенно седой человек с волевым лицом, военной выправкой и проницательными глазами. Проходя к о. Арсению, он молча здоровался со мной и другими людьми, сидевшими в комнате Надежды Петровны.

Отец Арсений встречал всех приезжавших к нему всегда радостно и приветливо, но этого человека как-то особенно и

тепло, и задушевно. Кто был приезжающий, мы не знали, а интересоваться, как я уже говорила, не полагалось, но однажды о. Арсений позвал меня и сказал: "Познакомьтесь! Иван Александрович Абросимов. Меня не будет — не оставляйте его". Я хотела что-то возразить, но о. Арсений настойчиво и требовательно повторил: "Не оставляйте, не оставляйте! Вы Иван Александрович, поддерживайте знакомство с Таней, хорошее, доброе знакомство. Меня не будет — другого иерея ему найдите".

Вот и стали мы знакомы с Иваном Александровичем.

Частым гостем был Алеша, лагерный Алеша-студент. Рассказывать о нем не нужно, так как каждый из нас хорошо его знает как о.Алексея, принявшего паству о. Арсения на свои плечи и руки.

И все-таки я не могу удержаться, чтобы не написать о нашем отце Алексее.

Милый, светящийся, голубоглазый Алеша еще при жизни отца Арсения стал его опорой и надеждой. Мягкий и добрый, он был отзывчив на человеческое горе, ласков с людьми, хорошо знал богослужение и проникновенно молился. Кто бы мог подумать, что Алексей станет духовным отцом многих из нас!

Помню встречу Сазикова и Абросимова у о. Арсения, помню их встречу с Алексеем. Это встречались люди, которых связывало что-то значительно большее, чем дружба, вряд ли так могли встречаться даже любившие друг друга братья. Сына Алексея Петю Сазиков и Абросимов буквально боготворили, задаривали игрушками и еще Бог знает чем.

Иногда приезжал колхозник или агроном, появлялся поэт-писатель или рабочий-токарь, какие-то старушки интеллигентного вида или старый ученый с женой из Ленинграда, а иногда подолгу живал старенький владыка Иона, находившийся на покое, но сохранивший юношескую память и трезвый ум, большой знаток истории Русской церкви и богослужения.

Приезжало много народу, обо всех не напишешь, но хочется вспомнить еще и Наталью Петровну, которая многим из нас помогала, многих спасла и сохранила в то время, когда о. Арсений был в лагерях.

Страстная, порывистая Наталья Петровна всегда была в действии. Как-то мне пришлось наблюдать ее разговор с одной из духовных дочерей о. Арсения. Трудно вспомнить сейчас, о чем происходил разговор, но я почему-то тогда обратила внимание на ее руки. Худая рука ее то сжималась в кулачок, то взволнованно постукивала по ручке кресла, то чертила узоры на столе или нервно теребила кромку скатерти, и было видно, что рука соткана из нервов, нервов,

которые живут одной жизнью с мыслью и движением передают собеседнику весь смысл разговора, пытаются заставить его понять самое главное и основное.

Когда разговор приобретал страстный характер, то и руки начинали передавать напряжение мысли, страстность души, и я, почти не слыша слов, понимала все сказанное, понимала значение спора и его принципиальность для Наталии Петровны. Иногда рука в отчаянии бросалась в пространство — это означало, что собеседник не понимает, но постепенно движение руки замедлялось, и она спокойно ложилась на ручку кресла, и я понимала, что спор окончен, и Наталия Петровна что-то доказала.

Люди входили и уходили, писали и получали ответы и уносили с собой спокойствие, веру, надежду на лучшее и часть души самого о. Арсения. Часто замечала я, что и сам о. Арсений, говоря со своими духовными детьми и друзьями, получал от них что-то новое и с нетерпением ждал приезда многих.

"Каждый человек, с которым ты общаешься, обогащает тебя, приносит тебе кусочек света и радости, и даже если принес он горе свое, ты находишь во всем волю Божию, и видя, как человек вместе с тобой преодолевает горе, радуешься за него.

Но есть среди моих духовных детей такие, которые обновляют меня каждый раз, когда я встречаю их. Они для меня свет и радость!"

Много раз приходилось мне молиться с о. Арсением. Бывало, стоим мы в комнате, полутемно. Освещены лампадками только иконы, о. Арсений служит. Читает отчетливо, ясно, и чувствуется, что весь ушел в молитву, молится так, что и ты, только что приехавший и сошедший с поезда и еще не отрешившийся от дороги и московской суеты, постепенно идешь за ним, забываешь все окружающее и только видишь иконы Божией Матери, вникаешь в слова молитв, и где-то внутри тебя начинает загораться радость общения с великим таинством Господней службы.

Склонившись на колени, читает о. Арсений про себя иерейские молитвы, и тогда входит тишина, и ты начинаешь в это время молить Господа о милости к тебе, о прощении грехов, о даровании исполнения своих просьб. Нет комнаты, нет рядом стоящих с тобой, ты стоишь в храме, горят лампады, лик Божией Матери, Владимирской и Казанской, смотрит с икон, как бы обнимая тебя своей всепрощающей милостью, и о. Арсений ведет к согревающему и освещающему свету молитвы. Молиться рядом с о. Арсением для всех нас всегда было большой радостью.

Много еще можно рассказывать об о. Арсении, очень много, но мне думается, что главное я рассказала.

Приезд о. Арсения в город написан мною на основе его рассказа нам. О Надежде Петровне написала с ее разрешения, остальное — мои личные впечатления, а у тех, кого упомянула, тоже спрашивала, можно ли о них писать. Перечитывая написанное, вижу, что не смогла я рассказать об о. Арсении так, как надо, не хватило у меня нужных слов. Господи, прости меня, грешную Татьяну. Воспоминания мои не могут быть полными, так как я пришла к о. Арсению только в 1959 г., привела меня к нему Юлия, у которой я лечилась долгие годы. Познакомилась я с Юлией Сергеевной как пациентка в 1951 году, и с тех пор связала нас долгая крепкая дружба. Красивая, высокая, стройная, привлекла она меня с первой встречи внимательностью, ласковостью, добротой. Болезнь моя была запущена за военные годы, недоедание также отразилось на здоровье, лечение не помогало. Юлия Сергеевна, а потом для меня Юля, вылечила, помогла мне во многом, привела к церкви, а потом и к о. Арсению. Духовная дочь о. Арсения, она сама заслуживает специального рассказа, но, к сожалению, по многим причинам я не могу этого сделать.

В 1964 году я прочла воспоминания о ссылке Юлии в Корсунь-Ерши. В этих воспоминаниях очень полно раскрыт характер Юлии Сергеевны как человека, воспитанного о. Арсением, и в этих же воспоминаниях показывается то огромное влияние, которое оказывал о. Арсений на своих духовных детей.

Воспоминания написаны Т.П. на основе рассказа о. Арсения и его духовных детей.

ВСТРЕЧИ

Мы были почти одногодки. Петр был старше меня на один год, учились в одной гимназии, но в разных классах. Знали друг друга, но подружились только в последних классах, однако потом пути наши разошлись. Он пошел в Московский Университет на искусствоведческий, а я в высшее техническое.

Был Петр всегда серьезен, добр, зачитывался книгами, любил искусство, театр, живопись, музыку, но я никогда не замечал его приверженности к религии. На несколько лет потерял его из вида и только после окончания мною МВТУ стороной услышал, что Петр досрочно окончил Университет, написал книгу, явившуюся результатом его исследований,

каких, я тогда точно не знал, а еще через несколько лет мне сказали, будто он стал монахом и священником, что меня несказанно удивило.

Я женился, как говорят, "по сильной любви", но через год жена внезапно ушла к моему товарищу, причем это было так неожиданно и непонятно для меня, что я буквально сходил от горя с ума. Не находил себе места, временами меня захватывала мысль о самоубийстве, бросался то к одним, то к другим людям, пытаясь найти помощь, и даже начал временами пить.

Вспомнил о церкви, кинулся поговорить со священником, но ушел неудовлетворенный. Внезапно пришла мысль о Петре, решил разыскать его. Узнал, в каком храме служит. Поехал, нашел церковь — она оказалась небольшой и довольно древней. Помню, пришел в храм, встал в сторонке в одном из приделов. Петр служил обедню, молящихся было много и в основном интеллигенция.

Обедня кончилась, все стали подходить под благословение, и я видел, как люди целовали руку Петру, и он как-то по-особенному добро говорил почти с каждым. Мне это было странно, непривычно и не вязалось с представлением, сложившимся о Петре.

Благословив всех, он ушел в алтарь и через несколько минут вышел оттуда в подряснике и сразу направился ко мне, при этом у него был такой вид, который говорил, что он знал о моем пребывании в храме.

Народу в церкви было еще довольно много. Утром я немного выпил, и от меня, вероятно, пахло вином, поэтому молящиеся сторонились, но мне было безразлично.

"Что случилось?" — спросил Петр, и этот вопрос, и то, что он знал, что я в храме, потому что горе пришло ко мне, сразу обозлили меня, и я ответил:

"Ничего, я попал сюда случайно", — хотя ответ был явно нелеп и глуп.

Не отходя от меня, Петр остановил кого-то из проходящих и попросил позвать священника, находившегося здесь же, в храме, и, когда тот подошел, сказал:

"Отец Иоанн! Прошу, отслужите молебен, я сегодня не могу, — и, обратившись ко мне, произнес:— Пойдемте ко мне домой".

Жил он недалеко от церкви. Шли молча. У него дома я все рассказал, при этом без просьбы с его стороны, а просто вырвалось мое горе наружу, и, рассказывая, плакал надрывно и, вероятно, даже по-пьяному.

Отец Арсений — я уже узнал, что он теперь не Петр, — слушал меня, не перебивая и не утешая. Кто-то во время

моего рассказа приходил, пытаясь что-то сказать, но о. Арсений отвечал, что занят.

Когда я окончил свой длинный и сбивчивый рассказ, о. Арсений просто и обыденно сказал: "А виноват-то ты сам. Ты же оттолкнул жену от себя, забыв про ее душу, стремления, желания". Говорил он недолго, но вдруг мне от его слов стало не по себе, и как будто завеса спала с моих глаз, — я осознал и понял многое, чего раньше не замечал, не хотел замечать, и мне стало почти легко. Прожил я у него три дня и ушел примиренным с жизнью, пришел к вере и в церковь.

Вот с этого-то времени и стал мой прежний товарищ и друг моим духовным отцом и наставником.

Проходили годы, жизнь моя изменилась, я женился, любил вторую жену, шли звания, степени, жизненные успехи часто обгоняли мои способности, я стал известен, но, приходя к о. Арсению, чувствовал себя студентом первого курса перед убеленным сединами профессором, и в то же время это был мой друг и товарищ.

Лагерь и ссылки отрывали его от нас, но не отдаляли, и, когда он после "особого" обосновался в городке Р., я постоянно ездил к нему и вот об этих поездках и хочу рассказать.

...Сегодня я еду к о. Арсению, как всегда, волнуюсь. Жду от этой встречи чего-то большого и радостного.

Поезд еще только подходит к вокзалу, но я уже встаю и одним из первых иду к выходу. Небольшой вокзал городка был шумен и суетлив. Из вагонов выходили люди, таща тяжелые чемоданы, мешки, свертки, корзины, набитые продуктами, закупленными в Москве. Пожалуй, я только один из всех шел всегда с портфелем, где лежали книги и немного конфет, привезти которые всегда и всем наказывала Надежда Петровна.

Городок был по-своему аккуратен, уютен, весел. Главы многочисленных церквей и соборов, хотя и потрепанные временем и усердием человеческого небрежения и равнодушия, как-то по-особому украшали город, придавая ему сказочный вид.

Покинув вокзал, я торопился к о. Арсению. Утренняя свежесть, дыхание далеких лесов и полей, приносимое ветром, несли какую-то особенную бодрость и радость, и я шел, волнуясь, в предчувствии чего-то таинственного и радостного. Шел, ожидая, что встреча принесет мне нечто новое и заставит жить лучше.

Вот и улица, знакомая, милая улица. Одноэтажный домик, где жил о. Арсений. Сейчас он был центром притяжения моей души, источником, откуда я должен был унести ту "живую воду", благодаря которой может жить вера, надежда и человеческая любовь.

Окна блестели, проглядывая сквозь ветви деревьев. Завешенные белыми занавесками, они придавали домику таинственность, привлекательность и уют и заставляли еще больше стремиться в него, и в то же время я иногда боялся войти в его дверь, потому что нес в себе сомнение в правильности совершенных мною поступков и дел.

Вот и калитка с большим железным кольцом, которое держит в зубах оскалившийся лев, — чудо искусства древних русских кузнецов. Звонок прикреплен на заборном столбе. За калиткою дорожка, покрытая крупным речным песком. Я звоню, толкаю калитку, и она, пропев на несколько голосов, открывается, и меня сразу охватывают сладковатые запахи прелых листьев, увядшей травы, еще теплой земли. Посаженные вдоль забора рябины краснеют гроздьями ягод, висящими в воздухе, и кажется, что находишься ты не в городе и сошел не двадцать минут назад с современного поезда, а попал в какое-то необыкновенное, полное очарования царство ожидаемой радости.

Сделав несколько шагов по дорожке, я останавливаюсь у двери и жду, когда Надежда Петровна откроет мне. Слышу шаги, разговор Надежды Петровны с котом, который постоянно вертится у ее ног, и сейчас она боится наступить на него. Дверь открывается, лицо Надежды Петровны, вначале строгое, озаряется доброй улыбкой, и она радостно встречает меня. Прохожу, раздеваюсь, радуюсь предстоящей встрече, волнуюсь. Волнуюсь и думаю: вот иду сейчас к самому близкому мне человеку, которому через несколько минут отдам все свои сомнения, грехи, мысли, раздумья, так чего же волноваться, ближе у меня никого нет. И все равно волнуюсь.

Если в момент моего приезда у о. Арсения находится кто-нибудь из его духовных детей или друзей, я жду, и иногда это бывает долго. Если же он один, то Надежда Петровна тихо стучит к нему и говорит, что я приехал, и тогда через несколько мгновений открывается дверь, и он, мой о. Арсений, идет ко мне, радостный, светлый.

Я подхожу под благословение, потом мы обнимаемся и несколько раз целуемся. Садимся, о. Арсений начинает расспрашивать о Москве, знакомых, друзьях, новых книгах, новостях, и особенно церковных. Задает вопрос за вопросом, я отвечаю. Иногда, услышав что-нибудь смешное, заразительно смеется.

Мы говорим, и я вижу ту же комнату, те же диван и письменный стол с креслом, иконы Божией Матери в углу, горящую лампадку, книги на столике под иконами, знакомые портреты по стенам и опять книги — в шкапах, на полках, на письменном столе. Все, как всегда, и в то же время новое, милое, дорогое, хотя и десятки раз виденное мною.

Все новости мною рассказаны, и я замолкаю. Нет, нет, мне еще многое хочется рассказать, но я просто боюсь утомить о. Арсения, отнять у него время. Замолкает и он, задумчиво смотря на меня и в то же время куда-то поверх меня, и от этого задумчивого взгляда мне делается не по себе. В памяти всплывает все происшедшее за последнее время, и особенно то, что совершено мною плохого.

И вот именно в этот момент о. Арсений скажет мне: "Зачем? Зачем Вы так обидели человека, а мы с Вами христиане, и нам не должно поступать так!"

От ожидания этих слов я и волновался, идя к нему, потому что стыжусь своих поступков: я сделал не так, как он учил. Я, начиная рассказывать, пытался оправдаться, найти извинительные причины, но, слушая сам себя, понимал, что не прав.

Приходил час исповеди, и мне делалось не по себе, о. Арсений становился почти гневен, глаза его темнели, я готов был провалиться сквозь землю от ощущения собственной отвратительности и греховности. Молились мы подолгу и вместе. Молился он необычно легко, молитва с ним очищала, возвышала и поднимала. Он учил, наставлял, вел по пути веры, и в то же время это был самый близкий мой друг, с которым мы по-настоящему дружили, говорили обо всем много, и конечно, о главном — о вере и пути верующего. Он много рассказывал о себе, о своей жизни, о людях, с которыми встречался, унес от них что-то хорошее, научился любить человека, молиться, идти к Богу. О.Арсений бескрайне любил человека, видя в нем образ Божий.

Бывало, после исповеди мы сидели и подолгу разговаривали, и в этих разговорах черпал я знание веры и находил духовные силы.

Я уезжал от него обновленным и от встречи до встречи жил тем, что он мне давал. И мне казалось, что только со мной он был таким особенным и замечательным человеком, но, конечно, это было наивно. Приезжало очень много его духовных детей и друзей, для которых он был тем же духовным отцом и другом, как и для меня, но каждый из нас считал, что только с ним и именно с ним был о. Арсений таким, как я рассказываю. О нем много говорили, рассказывали о чудесах, бывших с ним, и я помню, как в одном из разговоров я спросил об этом о. Арсения. Он сразу погрустнел, задумался, потом сказал мне: "Чудесного, чуда? Нет, со мной ничего такого не было, что бы можно назвать чудом. У каждого иерея — исповедующего, причащающего, напутствующего умирающих, ведущего своих детей духовных, — бывает много замечательных, с духовной точки зрения, событий, так же много необычного происходит и у каждого верующего человека, но часто мы не можем понять и осознать меру происходящего,

раскрыть в них Волю Божию, Его руку, Промысел, Руководство. То, что происходило со мной, или то, что я видел вокруг себя, часто потрясало меня, повергало в трепет, и я начинал отчетливо видеть Волю Господню. Я не раздумывал и не задавал себе вопросов, Чудо ли это Господне или результат необычайного стечения обстоятельств в жизни. Я твердо верил и верю, что Господь привел нас к совершившемуся, а следовательно, какими бы путями мы ни шли, во всем была только Его и Его Воля.

И только так понимая совершаемое, человек постигает Господню Волю. Были ли то действия, происходившие вокруг меня, или события, где я сам был участником, — они глубоко поражали меня, и я говорил себе: это чудо, но, сознавая свое ничтожество и несовершенство, понимал, что не мне созерцать чудесное.

В жизни все является чудом, а самым главным — то, что Волею Господней человек живет на земле. Верьте в это!"

И я увидел, что вопрос мой расстроил о. Арсения.

Как-то я спросил о. Арсения: "О.Арсений! Мы, духовные дети ваши, часто говорим о прозорливости духовных отцов и, нечего греха таить, о том, что и Вы обладаете этим даром, и. . ."

Отец Арсений резко прервал меня, сказав: "Не продолжайте! Вы плохо знаете, что такое прозорливость. Иерей, постоянно общающийся с людьми, выслушивающий их горести, тяжести жизненные, радости, невольно познает душу человеческую, а если он искренен в любви своей к духовным детям и глубоко внимателен к ним и памятлив, то есть все помнит о них, то невольно начинает видеть, подмечать и ощущать любое движение души верующего, которого он знает и с которым постоянно общается.

Возьмите мать малого ребенка, ведь она все видит и подмечает в его поступках и заранее предугадывает его мысли и действия, потому что это ее ребенок, которого она знает и любит. Так и иерей замечает все в пришедшем к нему человеке и часто безотчетно высказывает пришедшему то, что тот хотел сказать, но это не прозорливость, а духовная наблюдательность, которую имеют многие. Прозорливость — это Дар Божий, который дается избранным, таким, как о.Иоанн Кронштадтский, а не нам, грешным. Закончим этот разговор, он ни к чему", — сказал о. Арсений.

Уезжал я всегда от о. Арсения спокойным, радостным, однако расставание с ним расстраивало меня. За несколько дней домик, улица, городок становились родными, а комната о. Арсения была обетованной обителью, но приходилось уезжать. Обнимая о. Арсения, получая прощальное благословение, прощаясь с ним, я что-то терял, но жил ожиданием новой встречи.

ДОЛГИЕ ГОДЫ

Вы просили меня прислать Вам воспоминания об о. Арсении. Я никогда не задумывался, что надо написать воспоминания о человеке, оказавшем на меня огромное влияние, потому что все его действия, поступки, его облик, высказанные им мысли живут для меня в настоящем, а не в прошлом.

Прочтите! То, что я написал, — это рассказ о жизни трудной, убогой, изломанной, не имевшей вначале внутреннего содержания, но в конце жизни освещенной верой, которую мне принес о. Арсений.

...В камере внутренней тюрьмы мне зачитывали приговор. Жесткие официальные слова и фразы бьют меня, как острые камни... Диверсия, враждебная агитация, шпионаж в пользу иностранного государства; передал сведения, признан виновным по статье... Слова падают и падают, однотипно, буднично, и вдруг происходит взрыв... "Приговорен к расстрелу".

...Приговор объявлен, а я стою. Кто приговорен к расстрелу? Я, Сергей Николаевич Денисов?

Откуда-то издалека опять приходит жесткий голос: "Распишитесь", — и передо мною появляется бумага, я тупо смотрю, отталкиваю ее и кричу: "Это ложь, ложь, неправда!!"

Трое вошедших спокойно стоят, они привыкли к зтим крикам. Один из них нарочито громко говорит: "Можно не расписываться, приговор объявлен в законном порядке. Приведут в исполнение в течение десяти дней, на зто время улучшат питание".

Я сажусь на койку, они уходят.

Мне двадцать пять лет — 1913 года рождения, сейчас 1938 год. Я комсомолец, секретарь обкома комсомола. Я люблю Родину, партию, работу. Я делал все, как требовала партия, Сталин. Я знал, что врагов народа стало особенно много с 1934-35 гг., когда убили Кирова. Я сам всюду выступал, требуя их смерти.

Но причем тут я? Я всегда шел с партией. Почему меня били, требовали признания, а я доказывал следователю, что он ошибается? Потом я понял, что он враг и пробрался в органы. Я требую прокурора, пишу в ЦК, Сталину, но следователь смеется, показывает мне мои письма и еще больше бьет меня.

На очной ставке Яшка Файнберг — второй секретарь обкома комсомола, мой лучший друг, — показал, что я хотел убить Сталина и вовлекал его, Яшку, в свою группу. Вид у Яшки смущенный, и, когда я кричу: "Ты врешь, негодяй!" — у

него делается испуганный вид, но он упрямо твердит: "Ты меня вовлекал, вовлекал", — и с опаской глядит на следователя. Приводят других свидетелей, и они тоже говорят, что я враг.

Проходит день, два, десять, кормят меня так же плохо, как и раньше. Каждый раз, как дверь камеры открывается и входит надзиратель, я жду, что меня поведут на расстрел.

На 12-й день входит надзиратель и бросает слова: "Быстро, с вещами!" С какими вещами, у меня их нет, думаю я. Я собираюсь на расстрел, но сейчас мне уже почему-то безразлично.

В "черном вороне" набито много народу, стоим, тесно прижавшись друг к другу. Везут долго. Трясет. Молчим. Слышатся паровозные гудки. Останавливаемся. "Выходи!" — раздается крик. Кто-то плачет. Соскакиваем. Охрана стоит коридором, моросит нудный дождь. Куда-то ведут. Толкают, бьют прикладами, гонят к товарным вагонам.

"Выходи, мать твою..." — я взбираюсь по настилу из досок, удар прикладом в спину — и я влетаю в полунабитый вагон. Заключенных гонят и гонят, уже трудно стоять. Закрывают дверь. Едем. Два дня не кормят. Где-то за Горьким — узнали случайно — отцепляют наши вагоны, выгоняют из них заключенных, дают воду и какой-то селедочной протухшей баланды.

Привозят в этапный лагерь. Опытные заключенные, "зеки", говорят, что расстрел нам заменили работой в тяжелых лагерях: два года в Магадане, на приисках, потом лесоразработки и специальные лагеря "особого режима". Узнаем, что началась война, от вновь прибывших заключенных и по тому, что многих из нас в первые дни войны неожиданно расстреляли.

...Кончилась война, пришли 50-е годы. Я уже многое понял и насмотрелся, но все равно пишу и пишу в прокуратуру и в ЦК. Никто не отвечает, и я знаю, что из этих лагерей не выходят.

Опух, отек, сердце отказывается, мне еще только 38 лет, а я совсем старик, на вид мне далеко за 60. Почему я еще живу и сколько еще проживу, мне непонятно, но конец должен быть скоро.

...Я пишу эти записки через 10 лет после выхода из лагеря. Сейчас 1967 год, мне уже 54 года, а на вид все 70 с лишним, в метро даже уступают место, что теперь делают редко.

Работаю, конечно. Лучшие годы моей жизни прошли в лагерях, но это было у многих. Годы, проведенные в лагере, не прошли для меня даром. Я стал верующим.

Три последних года был в лагере вместе с о. Арсением. Присмотрелся к нему, к его жизни, поступкам, действиям,

увидел веру его, помощь людям. Разговорился с ним, понял его. Невозможно рассказать, сколько он помогал, поддерживал в трудные минуты, отводил от меня опасности, учил переживать неприятности, находить утешение и силы в молитве.

Сам обездоленный, голодный, больной, непонятно, где он находил силы помогать людям и еще по ночам молиться. Но именно в помощи людям и в беспрестанной молитве черпал он силы для себя и других, это давал ему Господь.

Вышел я из лагеря раньше о. Арсения, но разыскал его и встретился только в 1959 году и вот живу теперь от встречи до встречи с ним.

Мне кажется, что большего об о. Арсении не скажешь: Великий Молитвенник у Бога и помощник людям, спасший и помогший множеству страждущих. Молитвой его живу сейчас и буду жить.

Когда он говорит с человеком, то самые простые слова в его устах приобретают другой смысл, очищают, успокаивают и зовут к Богу.

ПИСЬМА

Отрывок из воспоминаний О.С.

...Приезжала я часто, подолгу жила около него и поэтому хорошо знала его жизнь.

Писем приходило к о. Арсению много, они приносили радость людей, волнение, страдание, тоску, горе, страстную мольбу о помощи, боль сердца, сомнение или чувство глубокой веры. В каждом письме жил человек, в той или иной степени отражалась его душа. Одни люди открывали жизнь полностью и не находили нужным щадить себя, другие в отрывочных и подчас неоконченных фразах пытались раскрыть душу, третьи только напоминали о себе, глубоко уверенные, что о. Арсений знает, что волнует писавшего и что сейчас нужно предпринять.

Письма редко приходили почтой, в основном, писались на московские адреса знакомым и привозились оказиями приезжавшими духовными детьми и друзьями и передавались Надежде Петровне. Письма шли из самых разных городов, потому что многие друзья о. Арсения, приобретенные им в ссылках и лагерях, были разбросаны по всей стране, от Владивостока до Калининграда. Каждое письмо читалось внимательно, и писавший знал, что обязательно получит ответ, от содержания которого многое зависело в жизни.

Часто и подолгу живя у о. Арсения и невольно наблюдая, я видела, что, читая письма, он мгновенно внутренним взором охватывал все, что когда-то было связано с жизнью человека, писавшего ему. И этот человек со всей его прошлой и настоящей жизнью, казалось, сейчас же входил в комнату, становился рядом с о. Арсением и продолжал рассказывать о себе даже и то, что не высказал в своем письме.

Прочтя письмо, задумчивый и сосредоточенный, сидел о. Арсений за столом, временами рассеянно вглядываясь в качающиеся за окном ветви деревьев, и, казалось, слушал невидимого собеседника, рассказывающего ему о своих горестях и бедах.

Отрешившись от окружающего, писал он ответные письма, временами осеняя себя крестным знамением, не вставая с кресла, молился и опять продолжал писать.

Для о. Арсения не было простых писем, все они были важными, так как за каждым письмом видел он мечущуюся и страждущую душу человека.

Иногда о. Арсений по нескольку раз начинал писать ответ, но откладывал написанное и снова писал, видимо, что-то заставляло его беспокоиться и сомневаться. Бывало, он подолгу задумчиво сидел в кресле, комнату слабо освещали лампадки, горевшие перед иконами, круг света от настольной лампы вырывал из темноты кусок стола с лежавшим на нем недописанным письмом. В эти минуты лицо о. Арсения становилось усталым и грустным, открытые глаза смотрели на мерцающее пламя лампад, но он не видел ни своей комнаты, ни письменного стола с недописанным письмом, ни меня, вошедшую в комнату. Он видел сейчас только человека, который писал о своих бедах и горе, он был с ним всей душой и, молясь, думал, как вымолить помощь у Господа этому страждущему и заблудшему. Весь охваченный болью за человека, он молился и иногда плакал. Молился за человека, терпевшего духовное или физическое бедствие, которому нужна была помощь. И в этот момент, уйдя в молитву, отрешившись от окружающего, он стоял рядом со страждущим, душой своей ощущая его страдания, волнения, заблуждения, и принимал решение, беря на себя всю ответственность за душу, жизнь и поступки человека.

Наступал момент, когда лицо о. Арсения прояснялось, светлело, он вставал, распрямлялся, подходил к иконам, склонялся в поклонах, осеняя себя несколько раз крестным знамением, прикладывался к образу Владимирской или Казанской Божией Матери и спокойно садился и заканчивал письмо.

Смотря в эти минуты на о. Арсения, я понимала, что это была тяжелая борьба добра и любви со злом и мраком за человека, которому он писал.

Но бывало, что о. Арсений по нескольку раз начинал писать ответ, откладывал написанное, снова начинал. Видимо, ответ не получался, и тогда он глубоко страдал, что-то беспокоило его и не удовлетворяло. О.Арсений оставлял письмо и долго-долго молился и в молитве находил ответ.

Он брал на свою душу страдания и тяготы духовных детей и нес их во имя Бога, Любви, Людей, а мы, отдавая ему грехи, не видели, что перекладываем на него всю тяжесть, даже не думали об этом.

Каждый из приходивших к нему думал, что только его здесь больше всех любят и лучше всех к нему относятся, — такова была неисчерпаемая сила любви к людям, дарованная Богом о. Арсению.

Своей любовью к людям вымаливал он у Господа и Матери Божией помощь, прощение, утешение многим и многим. Безжалостны мы были к нему. Сколько писали ненужного, вздорного, необдуманного, заставляли его страдать за нас, но скольких из нас он спас силою своей молитвы, скольким отдал часть своей жизни, здоровья, тепла! Можно ли сосчитать дни и ночи, что он простоял за нас на молитве, и какой радостью для него было то, что он облегчил нам жизнь, утешил, отвел милостью Божией беду, наставил на путь веры, добра и любви, спас колеблющегося. Он был богат любовью, ее хватало на всех приходящих, но не просто пришла эта любовь к о. Арсению, не просто. Долгими годами внутренней работы, беспрестанной молитвой к Господу и Матери Божией, тяжкими жизненными и лагерными испытаниями, подражанием отцам нашей Церкви, наставлением и заимствованием опыта людей глубокой веры достиг о. Арсений великого дара любви к людям. Милость Господа была с ним!

...Однажды я застала о. Арсения за писанием письма, которое он откладывал несколько раз, и видимо, то, что ответ не получался, беспокоило его. Благословив меня, он сказал: "Простите, не могу говорить с Вами. Расстроен! Наказал Господь: не могу написать письмо, а так нужно ответить, подождите!" Подошел к иконам и стал молиться. Я села в кресло. Молился он долго. Кончив, сел и начал писать. Написав страницу, положил ручку и задумался. Я забылась и очнулась, услышав слова о. Арсения, обращенные ко мне: "Раздваиваюсь временами. Человек и иерей расходятся во мне, а этого не должно быть. Вот и сейчас долг иерея подсказывает одно, а чувства человеческие — другое. Труден и многострадален путь человека. Понять себя, оценить свои силы может не всякий, и духовному отцу надо взвесить, что может

и на что способен его духовный сын или дочь, и вовремя указать правильный путь.

Ошибся духовный отец — и погубил человека, душу его. Мудрствовать или полагаться на свое разумение духовному отцу пагубно, недопустимо. Необходимо опираться только и только на помощь Божию, находя это в молитве, и только в молитве. Вот сейчас получил письмо, в котором очень хороший человек, проживший сложную, в житейском понимании красивую жизнь и в конце концов победивший себя и пошедший по пути глубокой и истинной веры, просит и молит меня благословить его на путь священства.

Путь иерейства, путь истинного священства всегда был труден, а теперь в особенности. Это не одно служение в храме, как часто считают, это трудный и неизмеримо тяжелый подвиг, когда должно отречься от себя во имя других людей. Ты должен принять в свои руки души многих, а потом вести их. Путь истинного священства труден, на него не каждый способен. Многим же думается, что иереем настоящим быть просто. Да! Просто, если ты не отдал всего себя людям, но трудно, когда ты принадлежишь им.

Тяжело писать мне, чтобы этот человек не шел в священники, так он жаждет этого, но это не его путь. Не приняв иерейства, больше принесет людям добра, но люди, окружающие его, советуют стать ему иереем, видя, что он прекрасной души человек,— и, уже не обращаясь ко мне, сказал, подойдя к иконам: — Верую, Господи, что поможешь ему, верую!" — и стал молиться.

Помню, приходили письма, читая которые, он радовался и возносил благодарственные молитвы. Иногда, прочтя письмо, радовался, словно ребенок, молился, благодаря Матерь Божию и Господа.

Я много писала о. Арсению, и часто в письмах моих было много мелкого и ненужного, и только увидев, как он относится к нашим письмам, поняла всю нашу жестокость и безжалостность к нему.

В свои ответы о. Арсений вкладывал душу, он отрывал частицу ее и передавал человеку. Получая от него письмо, ты вдруг со страхом и удивлением узнавал о себе то, что еще еле-еле определилось в тебе, о чем ты никому и ничего не говорил, а только отрывочно думал и даже старался скрыть от самого себя, а даваемый им совет оказывался единственно правильным решением.

Особенностью о. Арсения было то, что он никогда ничего не требовал от человека, а только мягко и вдумчиво советовал тебе, а ты сам делал выбор, но приходившие к нему как-то само собой поступали именно так, как говорил он, ибо все совершалось во имя Божие. Я знаю, только два или три раза

он требовал выполнения данных им советов. Память его была неисчерпаема, помнил он сотни имен, адресов своих духовных детей, помнил всю их жизнь, все, что они говорили и рассказывали о себе, помнил родных их. Он помнил и знал все. Если кто-либо не писал ему, то беспокоился и сам писал этому человеку.

Иногда, служа у себя в комнате обедню, вдруг начинал поминать новопреставленного раба Сергия или болящую Антонину, а дня через три мы узнавали из писем или от приезжих, что умер Сергей Георгиевич, или тяжело больна Антонина, или Антонина приезжала и говорила о болезни. Что это было? Прозорливость, знание совершившегося? Мы никогда не спрашивали об этом о. Арсения, но так было.

Беседы, исповеди, разговоры с ним надолго оставались в памяти. Можно было не видеть о. Арсения месяц, полгода и, приехав к нему, начать рассказывать или исповедоваться, и ты вдруг начинал понимать, что он уже все давно о тебе знает, знает твои поступки, ошибки, грехи.

Бывало, рассказываешь о себе во время исповеди, еще только начинаешь фразу, а он уже, тихо перебивая тебя, полностью ответит на твой невысказанный вопрос или выскажет свое мнение о твоем поступке. Случалось, что только поздороваешься, зайдешь в комнату, а он посмотрит на тебя и скажет: "Не ожидал я ссоры с братом из-за мамы, не ожидал. Вы к матери ближе, чем он, и должны понимать". Стоишь перед ним, готовая провалиться сквозь землю. Так бывало со всеми.

Многие из нас замечали, что у о. Арсения была особая привязанность к "лагерникам", как мы заглазно называли тех его духовных детей, которые сдружились с ним в лагерях и ссылках. В одном из разговоров я как-то сказала об этом о. Арсению, сказала в виде укора. Слушая меня, о. Арсений задумался на минуту, а потом сказал: "Вы правы. Я, действительно, привязан ко многим из них. Лагерь показал мне жизнь и людей по-другому, дал мне возможность понять промысел, и милость Божию, и людей иначе, чем я когда-то знал их в условиях воли.

Все обнажено, обострено до предела, мера страданий человеческих доведена до черты, ты обречен на смерть, медленную и мучительную, и все это сознают. И вот в это время мучительного долговременного умирания найти в себе человека, сохранить веру, помогать другим очень трудно, но были такие люди, много было таких, которые именно в лагерях на грани мучительной смерти находили в себе столько духовных сил, что поражали меня. Эти люди научили меня в условиях лагеря понимать и находить Бога, показали великую силу веры, значение добра, человечности и духовного подвига.

Они — эти люди — спасли меня от смерти, удержали от сомнений и уныния и дали возможность выжить в условиях лагеря, научили молиться среди ругани, драк и разговоров. Да, я бесконечно благодарен моим лагерным друзьям, благодарен Господу и Матери Божией, пославших их мне. Встречаясь и вспоминая этих людей, я каждый раз вижу то большое, что сделали они для меня и многих, многих других. Сделали во имя Господа и Человека. Я их вечный должник, вот почему я так привязан к ним".

Сказал и задумался. Вспоминая жизнь о. Арсения в лагере, думала, скольких людей он сам спас от смерти и привел к вере.

...Во время болезни и в последний год жизни о. Арсений сильно ослабел, я читала ему присланные письма и писала под диктовку ответы. Меня поражала его духовная мудрость. Читая ему письма, полученные от духовных детей, я вначале удивлялась, что ответы часто совершенно не совпадали с вопросами письма, и думала, что о. Арсений ошибается, и два-три раза пыталась его поправить. О.Арсений сразу сбивался и не мог дальше диктовать ответ, так что приходилось откладывать письмо. Потом я поняла, что просто ошибалась. Приходили ответные письма, в них люди благодарили о. Арсения за наставления и советы, которых, как мне казалось, они не просили. Вот тут-то я и поняла всю глубину его прозорливости, мудрости и понимания души человеческой.

Он был необычайно мягок в обращении с людьми, но непоколебимо тверд в избранном пути. Молитва и жизнь для людей были основой его подвижничества.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПРОШЛОГО

О Михаиле

Здоровье и силы возвращались медленно. За три года, прошедших с момента освобождения, о. Арсений изменился мало. Выше среднего роста, худощавый, всегда державшийся прямо, внешне он производил впечатление здорового человека, а приветливость и внимательность к собеседнику заставляли забывать тебя, что он тяжело болен и устал.

Только глаза его часто становились грустными и печальными, и временами казалось, что горе и страдания многих людей, прошедших перед его взором, продолжали стоять перед ним. Мы знали, что встреченных им людей он никогда не забывал. Там, в лагере "особого режима", он не замечал своих болезней, хотя казалось, что именно там они должны

были особенно сказываться. Здесь, на воле, болезни обострились: суставный ревматизм, жестокая, внезапно приходящая стенокардия часто прерывали течение размеренной жизни и приковывали о. Арсения к постели. Годы и болезни наступали неумолимо, но о. Арсений не замечал ни того, ни другого. Болезни он скрывал от окружающих, и только внимательные глаза врача Ирины подмечали его заболевания, и она, не слушая возражений, укладывала его в постель. Но это мало изменяло образ его жизни. Лежа, он говорил с приезжими друзьями, писал или диктовал ответы на письма. Писем приходило много. Ежедневно кто-нибудь приезжал. Хорошо, если это был один человек, бывали дни, особенно выходные, когда приезжало до 10-ти человек. С каждым надо было поговорить, ответить на вопросы, вдуматься в его жизнь и дать совет. Без молитвы о. Арсений не мог жить, а на нее не оставалось времени, поэтому молился он, в основном, ночью, сокращая и без того короткий промежуток, отведенный для сна.

Друзья и духовные дети любили его, но, приезжая или присылая письмо на нескольких страницах, каждый думал, что он только один у о. Арсения, а в результате все это складывалось в огромную, непосильную работу для тяжелобольного человека, и хотя каждый из нас жалел его и старался сделать ему что-то хорошее и приятное, все вместе губили и утомляли его.

Иногда возникала необходимость в поездке о. Арсения в другой город для неотложной встречи с духовными детьми.

В конце 1960 года о. Арсений решил выехать в Ленинград для розыска и встречи с теми двумя людьми, адреса и имена которых назвал умирающий Михаил. (Вспомните воспоминания о Михаиле.) Сопровождала его я. Приехали рано утром. О.Арсений не захотел зайти к знакомым, а прямо с вокзала поехал по адресу, когда-то данному Михаилом. Я отговаривала и предлагала съездить самой узнать, живут ли они еще по этим адресам, но он ответил: "Не надо, поедемте. Они не уехали".

Вышли на вокзальную площадь. Было шумно и, как всегда, когда приезжаешь в новый город, запутанно и бестолково. О.Арсений не захотел ехать на такси, а, спросив, какой троллейбус идет по Невскому проспекту, заторопил меня к остановке. Ехали молча. О.Арсений с особым вниманием рассматривал людей, дома, улицы. Сошли где-то в середине Невского и пошли по улице, отходящей от него в сторону. Дом был большой, шестиэтажный, светлый, с двумя широкими подъездами, у одного из которых висело несколько бронзовых и гранитных досок, говоривших, что когда-то здесь жили известные всему миру ученые. Поднялись на лифте на

четвертый этаж. На входной квартирной двери блестела медная табличка с фамилией разыскиваемого нами человека. Я позвонила. Довольно быстро открылась дверь, и женщина лет сорока пяти, выйдя на площадку, спросила: "Вам кого?" О.Арсений назвал фамилию, имя и отчество хозяина квартиры. Вытирая руки о передник, женщина приветливо сказала: "Проходите". Мы вошли в переднюю. "Подождите, он сейчас выйдет, — и, приоткрыв дверь в одну из комнат, негромко сказала: — Сергей Сергеевич! К Вам пришли". И почти тотчас в переднюю вышел высокий человек, с красивым удлиненным лицом, окаймленным черной бородой. Большие черные глаза его поражали живостью и проницательностью. Окинув нас взглядом, он спросил довольно резко: "Чем могу служить?" — "Я по одному давнему поручению пришел к Вам", — ответил о. Арсений. "Очень рад, очень рад. Прошу, раздевайтесь". Мы разделись, втиснув наши пальто на вешалку, и вошли в большую комнату, из которой перед этим только что вышел Сергей Сергеевич.

Огромный письменный стол стоял у окна и занимал четверть комнаты. Старинная мебель стояла у стен, сплошь завешанных картинами вперемежку со старинными иконами. Тяжелые, высокие шкафы были заставлены книгами. Книги заполняли стол и лежали на некоторых креслах. Середину комнаты занимал небольшой четырехугольный стол, покрытый белой скатертью. Вся обстановка комнаты и ее хозяин как-то особенно врезались мне в память и подчеркивали профессию Сергея Сергеевича. "Чем могу служить?" — спросил Сергей Сергеевич и пригласил нас садиться. Женщина, открывшая нам дверь, также вошла в комнату и остановилась около письменного стола.

"В 1952 году было угодно Богу встретить мне человека, Михаила Терпугова. Встретился с ним в лагере "особого режима", из которого сам вышел только в конце 1957 года. Исповедуясь, Михаил назвал мне Вашу фамилию и адрес и просил обязательно встретиться с Вами, сказав мне, что обоим нам это необходимо. Просил не забывать его в молитвах Ваших и рассказать о последних минутах его жизни".

Сергей Сергеевич почти приподнялся с кресла, весь подался вперед, сжал подлокотники, при этом глаза его стали еще темнее, и в них промелькнуло что-то тревожное. Несколько мгновений смотрел он неподвижно на о. Арсения, потом резко встал и, отчеканивая каждое слово, произнес: "Простите, но не ко мне Вы. Ошиблись, вероятно, адресом".

Женщина, стоявшая около стола, шагнула вперед и, издав что-то похожее на стон, проговорила со слезами в голосе: "Сережа!" — "Оставь, Лиза! Да! Да! Ошиблись. Пришли не по тому адресу. Извините! Не задерживаю! Ошибка у Вас

произошла, государи мои милостивые", — произнес взволнованно Сергей Сергеевич. И в произнесенной им фразе чувствовалось, что слова "государи мои милостивые" звучали насмешкой. Мы поднялись и заторопились к выходу. Все молчали. Я оделась и стала подавать пальто о. Арсению. Женщина оставалась стоять в комнате, но потом быстро подбежала к нам и, схватив о. Арсения за руку, сказала: "Скажите, кто Вы? Ваше имя?"— "Петр Андреевич Стрельцов — иеромонах Арсений, — и также назвал мое имя,— приехали из Р... Специально к Вам!"

"Подождите! Не уходите, вернитесь, сядьте! Подождите 20 минут, не уходите. Не сердись, Сережа!" — И женщина бросилась назад в комнату и стала куда-то звонить по телефону.

Мы растерянно стояли в передней. Из комнаты слышались возгласы: "Это я, Лиза! Прошу тебя, немедленно приходи. Понимаешь, немедленно! Бросай все. Очень, очень надо! Все узнаешь, поможешь". Сергей Сергеевич угрюмо стоял около нас. Кончив говорить, женщина вошла в переднюю и сказала: "Прошу Вас, разденьтесь и подождите минут 20, может быть, я Вам чем-нибудь помогу. Сережа! Не сердись, сейчас все разъяснится".

Мы прошли в комнату и сели за стол, покрытый скатертью, а Сергей Сергеевич беспомощно и рассеянно сел за письменный стол. Женщина побежала на кухню, и минут через пять на столе стоял чайник, чашки и что-то из печенья. Некоторое время все молчали, было тяжело и неудобно. Чтобы разрядить обстановку, я заговорила о картинах, висевших на стене. Сергей Сергеевич, видимо пересиливая себя, рассказал нам о двух или трех пейзажах, назвав имена художников, но о. Арсений, встав, подошел к одной из икон Божией Матери и стал ее внимательно рассматривать, а, рассмотрев, сказал: "Прекрасная икона, такого иконописного и в то же время божественно-человеческого лица Матери Божией редко удается увидеть на иконах".

"Сереже тоже нравится эта икона, но он не может все еще определить точно время и место ее написания. Вы понимаете в иконах?"

"Должен понимать", — ответил о. Арсений и, еще раз подойдя к иконе, стал ее рассматривать. "Разрешите снять и взять в руки", — обратился он к Сергею Сергеевичу, тот недовольно поморщился, подошел к иконе, снял ее со стены и стал показывать о. Арсению. О.Арсений протянул к иконе руки, Сергей Сергеевич отстранился, видимо, не желая, чтобы незнакомый человек брал икону, но, взглянув на о. Арсения, сразу бережно передал ему ее.

Я и стоявшая женщина с удивлением смотрели на о. Арсения. Протянутые им руки, наклон головы и облик всей его фигуры были так молитвенны, благостны, что казалось, брал он "Пречистую Чашу с Кровью и Телом Спасителя", и это, конечно, понял и увидел Сергей Сергеевич.

Держа икону в руках и подойдя с ней к окну, бережно осматривал ее о. Арсений. Взгляд его, строгий и молитвенный, долго и пытливо задерживался на изображении; наклоняя икону к свету, он долго всматривался в лик, медленно повернул обратной стороной, осмотрел врез шпонки, а потом торцы, но не возвратил икону Сергею Сергеевичу, а положил ее аккуратно на стол.

Свет из окон падал на белую скатерть и лежащую икону, и мне захотелось вскрикнуть — таким несказанно дивным оказался вдруг лик Божией Матери. Там, на стене, этого не было видно. На руке Матери Божией свободно сидел Младенец, и Она, Мать, прижимала Его к Себе и смотрела взором, полным нежности и любви на Младенца Своего, и в то же время в глазах Ее лежала затаенная скорбь, ибо знала участь Сына Своего и знала, для чего должна была растить Его. Знала о предстоящей крестной Его смерти. И казалось, материнская любовь, и божественное знание, и предначертание жизни Сына и Его страданий жили вместе. Весь лик был полон материнского счастья и в то же время скорбен.

Отец Арсений молчал, а Сергей Сергеевич смотрел на икону, полный восторга. Он увидел Ее такой впервые.

Нежная кружевная вязь золота, разбежавшаяся по одежде Матери и Младенца, подчеркивала и усиливала впечатление красоты и неземного величия. В мягкой полуулыбке Матери была милость, и лицо говорило: "Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные. Придите, и Я успокою вас!".

Оторвав глаза от иконы, я взглянула на Сергея Сергеевича, он смотрел, пораженный, на лежащую на скатерти икону, он не видел ее такой раньше. Медленно подняв голову, он посмотрел на о. Арсения, и я уже поняла, что он верит ему и хочет, чтобы о. Арсений оказался именно тем человеком, который знал Михаила.

Отец Арсений распрямился и, смотря на икону, произнес: "Разве важно время и место написания, разве надо знать мастера — это нужно искусствоведам. Вы взгляните на лики Младенца и Матери Божией и, если Вы верующий, поймете, что один человек, без помощи Божией, не мог бы написать такую икону. Взгляните!

Когда писана? В начале XVII века в Великом Устюге. Мастер? Знает Бог один, который вдохновлял иконописца. Доска очень старая и много раз записанная, а эта запись реставрировалась, но очень давно. Все это неважно, в этой

иконе живет Дух Божий. Взгляните! Каким беспредельным душевным миролюбием веет от Ликов Младенца и Матери Божией. Иконописец был полон любви и веры Христовой, и свой великий талант он умножил верой и любовью, и поэтому лик Богоматери стал духовно-вещественен, он утешает всех, кто изнемогает в скорби и печали, кто обездолен, наг, сир, находится в узах, кто терял веру в людскую справедливость, кто немощен. Он ободряет людей этих, он вселяет в них надежду, напоминает им, что есть другая жизнь, очищенная от скверны и страха, от крови и злобы мира сего. Лик Матери Божией зовет нас к Себе, дает нам надежду на спасение".

В передней раздался звонок. Елизавета Андреевна — так нам представил ее потом Сергей Сергеевич — кинулась открывать дверь. В передней разговор велся шепотом. Говорили две женщины, слышалось, что снимали пальто. Сергей Сергеевич напряженно смотрел на дверь, весь вид его говорил, что для него будет ужасно, если о. Арсений окажется не тем человеком, за которого он несколько минут тому назад принял его.

Дверь в комнату порывисто открылась, вошла Елизавета Андреевна и за ней женщина, которая, взглянув на о. Арсения, бросилась к нему: "Отец Арсений! Отец Арсений! Как же Вы не сообщили о своем приезде! Господи! Как хорошо, что Вы приехали. Лиза говорит, что Сергей Сергеевич Вас за шпика принял! Я о Вас Лизе рассказывала, вот она и догадалась позвонить мне. Давно хотела Сергея с Лизой к Вам привезти, а Вы сами приехали. Господи! Это же замечательно. Благословите!" И все сразу переменилось. О.Арсений прожил у Сергея Сергеевича четыре дня. Второго знакомого Михаила я разыскала и пригласила к о. Арсению.

На обратном пути о. Арсений сказал мне: "Неисповедимы пути Господни! Сколько прекрасного, нужного дала мне эта встреча". Потом в течении многих лет встречала я у о. Арсения Сергея Сергеевича, Лизу и третьего ленинградского друга инока Михаила.

1967 г.

ПОМНЮ

...Я помню! Я никогда не смогу забыть лагеря "особого режима". Даже теперь, через много лет, вся обстановка лагеря и жизнь в нем постоянно возникают передо мною. Вспоминается все до мельчайших подробностей, а ночью все это переходит в повторяющиеся кошмары.

Арест, беспрерывные допросы с применением физического воздействия, тюремная камера, долгий пеший переход в колонне, окруженной конвойными с автоматами и сторожевыми овчарками, моросящий осенний дождь, крики охраны перед началом движения: "Два шага в сторону — стрельба без предупреждения!" Все это было пугающим, страшным, но постоянно жила надежда на какое-то лучшее будущее. И вот, наконец, лагерь особо усиленного режима, и я только в нем понял, что все предыдущее было еще не самым страшным. Восемь месяцев, прожитые в "особом", оказались тяжелейшими, непереносимыми испытаниями.

Ночь. Барак заперт. Вдоль коридора, образованного уходящими в темноту нарами, тускло светят электрические лампочки, то почти затухая, то наливаясь красноватым, еле тлеющим огнем. Полутемно, только сквозь забитые снегом и льдом окна вдруг пробьется скользящий луч прожектора, захватит кусок стены или нар и мгновенно исчезнет. За стенами барака 30-градусный мороз, ветер бьется в окна, рыскает, стонет и плачет на тысячу ладов. В бараке люди, их много, но ты один, совсем один, чужой для всех, и для тебя все чужие. Ночь, у которой нет конца, охватывает тебя. Звуки постепенно смолкают, и ты начинаешь прислушиваться, как тишина окружает, подступая к нарам, стенам, окнам, как она выходит из темноты и становится рядом с тобой, и тогда ужас охватывает все твое существо, и сознание беспомощности и безысходности не покидают всю ночь. В тишине отчетливо возникало прошлое, безысходное настоящее и будущее, и даже отдельные бредовые крики, стоны и ругань спящих заключенных не отгоняли тишины, а еще более подчеркивали твою отрешенность от жизни. Временами создавалось впечатление, что ты мог бы тронуть руками окружающую ночную тишину, облепившую твои мысли тоской и страхом. Барак молчал. Ушедший день вспоминался как тяжелый, давящий кошмар. Смерть все время стояла рядом с тобой, сопровождаемая побоями, унижением, голодом, осквернением и унижением человеческой души.

"В карцер тебя, гнида! На расстрел пошлю!" — с искаженным от злобы лицом кричало лагерное начальство. "Убью, пришибу!" — ежеминутно орали уголовники, и это были не пустые угрозы, а реальные действия, совершаемые ежечасно перед глазами. Ночь не возвращала сил, она истомляла, заставляла страдать больше, чем ушедший тяжелый день. Заключенный "особого" жил без срока, один срок кончался — добавляли неведомо за что новый, и так, пока не умрешь. Надеяться не на что. Сотни дней, каждый из которых прожит на грани смерти и похож один на другой.

...Перевели меня в новый барак. На четвертый день замечаю, идя к парашам, недалеко от входа в барак человека, постоянно стоящего около своих нар. Что он делает ночью и стоя? Когда же спит? Случайно узнаю, что этот заключенный молится. Иногда уголовник, проходя мимо старика, скажет: "Шаманишь, поп?"

Все равно мы должны здесь сдохнуть, а этот еще молится. Зачем? Для чего молитва? Там, на воле, до лагеря я слышал, что есть верующие, и их ссылают, потому что они борются против власти. У нас в семье религия и суеверие считались признаком отсталости, некультурности. Что может дать человеку вера вообще, и во что можно верить здесь, в лагере "особого режима", где все мы должны обязательно погибнуть? Отчаяние все сильнее охватывало меня, жить не хватало сил. Я решил умереть. Для родных я давно уже умер, в Москве на их запрос, вероятно, уже дан ответ: "Не числится". Решение принято: так жить нельзя. Я хочу умереть не тогда, когда захочет охрана или уголовники, добьет мороз или голод. Я хочу умереть сейчас, теперь. Отмучился — и конец. Может быть, это трусость? Нет, необходимость. Бороться за жизнь можно тогда, когда есть надежда. В "особом" нет этой надежды — впереди мученическая смерть. Ночью я иду к парашам, там выступает балка, она уже испытана многими. Веревку я украл на работах, обмотал вокруг себя и пронес. Скорее кончать, а потом меня не будет — и хорошо.

Иду по коридорам между нар, мимо старика. Он стоит и молится по-прежнему. Кругом спят. Старик, как всегда, ничего не замечает, он целиком ушел в себя. Хочу быстро пройти и кончить. Иду, но старик вдруг оборачивается, шагает ко мне в проход между нарами, берет за руку и говорит: "Садитесь! Вы не один здесь, нас таких много, но с нами Бог!"

Я сажусь, а он говорит тихо, спокойно, проникновенно и доброжелательно. Слушаю старика и вдруг начинаю полушепотом отвечать ему. Сейчас я ненавижу его, он мешает мне, это не его дело, как я распоряжусь со своей жизнью. Но он говорит о моей жизни и почему-то знает ее, знает настолько подробно, что это пугает. Откуда он может знать?

Разговор его спокоен. Да! Он понимает — мне трудно. Я болен, истощен, оскорбления, унижения, голод страшны, но все это можно победить, и надо обязательно победить, и, если я захочу, то победа останется за мной.

Я озлобленно отвечаю, оскорбляю, стараюсь уйти, а он, сжимая мне руку, тихо и спокойно говорит. Прерываю его, но он продолжает говорить о жизни, о том, что человек не имеет права сам уничтожать ее, а должен сделать все, чтобы сохранить. И вот наступает минута, когда я уже слушаю старика и начинаю отчетливо понимать, что он неведомыми путями

уже подал мне руку помощи. Ничего не изменилось для меня в "особом", но я уже не одинок.

Он не навязывает мне своего Бога, он только упомянул о Нем. Сейчас старик просто помогает мне, и я вижу и понимаю, что он имеет какую-то особую внутреннюю силу, которой у меня нет. Я начинаю чувствовать, что этот человек берет на себя все мое безысходное горе и тяжесть лагерной жизни, он понесет это вместе со мной, и я не иду больше к балке и навсегда остаюсь с этим стариком. Потом я узнаю, что он совсем не старик, а просто прожил несколько лет в "особом" и изможден до последней степени. Одни зовут его "Петр Андреевич", другие "отец Арсений", и это имя, образ и жизнь его забыть никогда нельзя.

Отец Арсений открыл новую жизнь, привел к Богу, заново создал мое внутреннее "я".

Поэтому хочу рассказать о нем самое главное, самое основное. Говорить о нем можно бесконечно, дела его беспредельны, и имя им — Господь и Любовь, творимая во имя Бога, ради людей. Помню его слова: "Каждый человек что-то должен оставить в жизни: построенный своими руками дом, посаженное дерево, написанную книгу — и все это необходимо совершить не для себя, а для человека. Чего бы ни касались твои руки, после твоей смерти найдет прибежище часть тебя. Люди будут смотреть на взращенное тобою дерево или сделанную вещь, и в эти минуты ты снова будешь жить, так как принесешь им радость, и, вспомнив тебя, они призовут Господне благословение. Неважно, что именно делаешь, важно — к чему ты прикасался, что меняло форму, становилось не таким, как раньше, а лучше, чтобы в этом новом оставалась частица тебя самого, и все совершалось бы во имя Господа и любви к людям". "Но самое главное, — говорил о. Арсений, — в любом своем делании помогать человеку, облегчать его страдания, молиться за него".

Так поступал о. Арсений и учил тех, кто приходил к нему. Он отдавал самое лучшее, самое сокровенное тепло своей души, веру, опыт исповедания веры, учил молиться и разжигал в соприкасающемся с ним человеке искру Божественного. Кто из знающих его забудет дела, совершенные им? Сколько людей пришло к нему и унесло с собой все это, и сколько радости, умиротворения и спокойствия взяли мы у о. Арсения!

Я пережил все это сам, я видел, как на моих глазах перерождались, созидались и обновлялись души людей, и люди уходили верующими, унося с собой тепло, взятое у него. Вспоминая прошедшее и видя свое настоящее, я и сам начинал передавать людям Свет Веры, любовь и доброту, полученные от о. Арсения.

Много людей, живших с ним рядом, ушло из жизни, но они уходили уже не озлобленными и ожесточенными, а озаренными и освященными верой в Бога, и прошедшая мучительная жизнь не казалось им страшным кошмаром, а воспринималась как неизбежное испытание, как путь к Богу.

И часто, перед тем как уйти из жизни, эти люди сами успевали осветить своими делами путь другим. Если же человек встречался с о. Арсением в свой последний смертный час, то и тогда он облегчал его страдания, и уходил этот человек со светлой, успокоенной душой. Дар души, данный о. Арсению Господом, был так велик и приумножен трудами и жизнью, что, щедро раздавая людям свое богатство, этот человек не беднел, а только увеличивал его, сам не ведая того. Когда он говорил, то ты сам отчетливо понимал, что он знает о тебе больше, чем ты сам. Он знал, что будет с тобой. Глаза его смотрели открыто, внимательно, ласково. Смотря в них, ты начинал черпать силы и спокойствие, а когда он говорил, голос его убеждал, и человек верил ему и убеждался потом, что он прав.

Он был мужественный и сильный во всем, он ничего не боялся в жизни. Бог, Бог и Бог был его знаменем, силой, прибежищем и упованием, и с этим он шел среди тягот, мучений, страданий.

В монашестве ему дали имя Арсений, что значит мужественный, и это было символично.

Я вышел из лагеря на несколько лет раньше о. Арсения, много писал ему, а после освобождения разыскал и встретился с ним в старинном русском городке.

Небольшой домик, комната, где он прожил последние годы своей жизни, не изгладятся из моей памяти. Сколько радостных дней и часов было проведено здесь, разве можно когда-нибудь забыть!

Вы входили в комнату о. Арсения, и первое, что видели, — это иконы Владимирской и Казанской Божией Матери, Нерукотворный Спас, Николая Угодника и Иоанна Богослова. Иконы были древнего письма, необычной тонкой работы, перед ними постоянно горели две лампадки: красная и зеленая, стоял хрустальный стакан, в котором всегда было несколько живых цветов. Здесь же, на столике, покрытом белой скатертью, лежали: Евангелие, Псалтирь, Служебник и очередная Минея, на письменном столе, стоявшем у окна, лежали книги — богословские, по искусству и древней архитектуре, стихи современных и старых поэтов, технические труды и брошюры по атеизму.

У одной из стен стоял шкаф, забитый книгами, у другой стены располагался диван, на котором о. Арсений отдыхал днем и спал ночью. Три удобных старинных кресла допол-

няли обстановку, на стенах висело несколько картин, подаренных известными художниками, с которыми дружил о. Арсений. Почти все картины изображали природу, и только на одной была написана женщина на фоне лагерного барака. Красивое и привлекательное лицо было изможденным, усталым и почти серым от страданий, и только в глазах жили убежденность, сила и несгибаемая воля. Портрет был написан до пояса. Фоном картины служил серый барак, на женщине была серо-зеленая телогрейка, коричневая мятая шапка-ушанка. Все зто создавало впечатление безысходного страдания человека, но стоило только взглянуть в глаза, и ты сразу видел, что человек жив, дух его не сломлен, он живет, несмотря на страдания, ожидание смерти, и ты понимал, что женщина никогда не согнется, не сдастся, не отречется. Сейчас она немощна, физически раздавлена, но дух Божий живет в ней и никогда не умрет, и глаза, смотрящие с портрета, рассказывали об зтом. Портрет писал большой художник, друг о. Арсения.

Кого изображал портрет, мы не знали, но было известно, что это была духовная дочь владыки Макария, погибшая в лагере.

Вернувшись из лагеря, о. Арсений не стал служить в церкви. Первые месяцы после выхода из лагеря жил уединенно, но потом центром его жизни стала большая духовная семья, разбросанная по разным местам Советского Союза.

Люди приезжали, писали (эта фраза ошибочна, писали очень много, но не в г. Р., а московским духовным детям, привозившим полученные письма о. Арсению, в среднем в день получалось 18-20 писем. — *От составителей*). Приезжали каждый день не менее одного-двух человек, в субботу и воскресенье приезжало иногда недопустимо много — 8-10 человек, и хозяйка дома, Надежда Петровна, в зти дни волновалась за о. Арсения.

Духовных детей было много, и почти каждый приезжал два раза в год. В одной из комнат домика Надежды Петровны стояли две кровати, на которых спали приезжие, если же народу бывало много, то приходилось располагаться на полу.

Свою работу искусствоведа о. Арсений не забыл и посвящал ей свободное время, но практически зтого времени не бывало. Он написал несколько статей, но не смог опубликовать. Печататься не давали, хотя бывшие "лагерники" помогали, кое-кто из них вернулся к работе в издательство, имя искусствоведа Петра Андреевича Стрельцова не было забыто.

Вставал о. Арсений в шесть утра, ложился в 12 ночи. Молился беспрерывно, каждый день совершал богослужение, исповедовал и беседовал с приезжающими.

Горели лампадки, и в тишине комнаты слышался его негромкий голос, произносящий слова молитвы. Молиться с ним было необыкновенно радостно, благодать Господня осеняла тебя. Как-то особенно тепло, духовно, с чувством глубочайшей любви и в то же время величественности молился он Госпоже нашей Владычице Богородице — Матери Божией.

Акафист Владимирской Божией Матери читал так, что ты начинал забывать, где находишься и что вокруг тебя. Произнося заключительные слова икоса: "Радуйся, Пресвятая Владычица Богородица, благодать и милость иконою Твоею нам являющая",— он прославлял все безначальное совершенство Царицы Небесной, а, умоляя и обращаясь к Ней, он просил и говорил от имени всех детей своих духовных.

Раз в неделю он служил панихиду, и зто было моление о тысячах душ, и зти панихиды потрясали нас, молящихся. Слыша и видя, как он молился об умерших, мы отчетливо понимали, что о. Арсений видит каждого поминаемого, чувствует его душу. Временами о. Арсений плакал, и мы, присутствующие, понимали, что произносимые им имена умерших не что-то ушедшее, а родное, близкое, любимое, знаемое.

Приезжали и уезжали друзья и духовные дети, унося с собою полученный запас сил, веры, желания помогать другим, желание быть лучше.

Когда-то большая, собранная о. Арсением община за долгие годы его ссылок и заключения уменьшилась, одни умерли или сильно состарились, другие тяжело болели, третьи отошли из страха, но все же большая часть осталась. Много пришло и новых, значительно больше, чем утратилось. Пришли те, которых о. Арсений встретил в ссылках, лагерях или те, кого привели его прежние духовные дети или лагерники, вроде меня.

Я знал и помню многих, но кратко расскажу только о тех, кого часто встречал в свои приезды к о. Арсению или встретил в лагере и там полюбил, а потом так же, как и они, стал его духовным сыном.

Врач Ирина, отец Алексей, раньше называемый Алексеем-студентом, Абросимов, Сазиков, Авсеенков, хозяйка домика Надежда Петровна и многие, многие другие вспоминаются мне, добрые, хорошие, замечательные люди. О них много написано и рассказано их друзьями.

Вспоминается приезд к о. Арсению в 1962 году владыки Н., зто был серьезный богослов и философ и, как многие говорили, хороший духовник. Приехал для исповеди. Многие духовные дети о. Арсения ходили в церковь, где служил владыка.

Прожил он два дня, исповедовался и сам исповедовал о. Арсения. Много говорил о судьбах Русской церкви в настоящее время, о том, что важно сейчас для верующего и, смотря на обилие книг в комнате, сказал: "Только Евангелие, Библия и Творения Святых Отцов нужны верующему, а остальное не стоит внимания".

Отец Арсений, помолчав несколько мгновений, ответил: "Вы правы, Владыка, главное в этих священных книгах, но человек бурно развивающегося века резко отличается от верующего IV века. Горизонт знаний необычайно раздвинулся, понятия стали иными, наука раскрыла много неизвестного, обилие знаний внесло массу противоречий. Современный иерей и верующий должны много знать для того, чтобы разобраться в окружающем. Теория относительности, современное состояние воинствующего атеизма, знания по биологии, медицине, а тем более современная философская наука должны быть известны ему. К иерею приходят: студент, врач, ученый-физик, рабочий, и часто каждому из них надо ответить, ответить так, чтобы Бог, вера не звучали анахронизмом или полуответом".

Молитва и молитва всегда была с о. Арсением, размышлял ли, шел, или куда ехал, он все время молился, и в еле уловимом движении губ угадывались слова: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного".

Помощь людям, помощь в любой ее форме была основой его жизни. В тяжелейших условиях лагеря, будучи истощенным, больным, находясь на грани смерти, он отдавал себя людям, делая за них работу, ухаживая за больными, заботился о немощных и вновь пришедших в барак, делился своим скудным пайком с обездоленными.

Здесь, на воле, он по первому зову ехал куда угодно, лишь бы помочь, отдавая все, что имел. Мы часто старались уберечь его от таких поступков, понимая, что, отдав последнее, он останется ни с чем. Материальную помощь он не принимал, считая, что сам должен обеспечивать себя, но мы через хозяйку домика — Надежду Петровну — пытались незаметно заботиться о нем, хотя он, вероятно, и догадывался об этом. Неисчислимому количеству людей помог он, помог именно так, как сказано в Евангелии — неся тяготы человеческие и этим исполняя закон Христов.

Вот таким я знаю о. Арсения, другие люди, знающие и любящие его, еще много расскажут о том, что он сделал для них, но я думаю, что для меня он сделал самое основное, главное — вдохнул в душу мою Веру и Любовь.

Великий Молитвенник и подвижник, о. Арсений осветил и освещает духовный путь многих и многих людей...

Взято из книги воспоминаний Ш-ва А.Р.
1967-1969 гг.

ИРИНА

Декабрь 1956 года уходил в морозах и вьюгах. Лагерь опустел, и о. Арсений находился в преддверии освобождения. Переписка была разрешена, и тяжесть заключения скрашивали письма, а их приходило много.

Одно из писем пришло от Ирины, и было оно порывистым, радостным, добрым. Казалось, вся Ирина с ее характером жила в этом письме.

"Петр Андреевич!

От бабушки Любы узнала, что Вы живы. Бог сохранил Вас. Я чувствовала, знала, что Вы переживете все трудное, ужасное, страшное, потому что Господь должен был сохранить Вас. Вы нужны людям, а как необходимы мне! Прошлое — мучительное, кошмарное — постепенно уходит, верю в хорошее будущее. Дети выросли, Таня уже большая. Алексей в пятом классе. Вы не видели его. 15 лет я ничего не знала о Вас, за это время многое переменилось в моей жизни, по Вашему совету стала врачом. С мужем по-прежнему большие друзья. В нем есть искры веры, которые я стараюсь раздуть в пламя. Он все знает о Вас и всегда говорит мне: "Помни о. Арсения, хорошее не забывай, будь с людьми как он".

Скорее приезжайте, скорее, хотя это и не зависит от Вас. Встречу и заставлю жить у себя. Матерь Божия всегда с нами. Она привела меня к вере, спасла Татьяну и неотступно помогает семье. Сколько хорошего дала мне Ваша бабушка Люба! Мама умерла, и она заменила мне ее.

Господи! Какая я счастливая, что встретила Вас!

Анна".

Это небольшое письмо наполнило сердце о. Арсения воспоминаниями и дало возможность еще раз окинуть внутренним взором прошлое и неисповедимость путей Господних.

Шел 1939 год. Несколько лет назад кончился лагерный срок, начались ссылки: Кострома, Архангельская, Пермская, Вологодская области. Отдаленные районы, и только в этом году пришлось жить близко от железнодорожной станции. Поселок был небольшой, а хозяйка домика, где поселился

о. Арсений, оказалась верующей, доброй и отзывчивой женщиной, ставшей его духовной дочерью.

Тайно, в день Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня, первого августа по старому стилю приехал к своим в город о. Арсений и остановился у Наталии Петровны Астаховой, одной из самых близких духовных дочерей.

О приезде его знали только семь человек, глубоко преданных вере и ему духовных детей и друзей. Квартира Астаховых находилась на третьем этаже большого каменного дома. Приехав, о. Арсений на улицу не выходил, Наталья Петровна с мужем уходили на работу, а о. Арсений оставался в квартире один и дверь никому не должен был открывать. На случай экстренного прихода кого-либо из "семерки" договорено было давать условный звонок, на который о. Арсений открывал дверь, не спрашивая, кто пришел. Пребывание о. Арсения в городе скрывалось, и для всех он жил на Севере в ссылке. Приезд его в родной город был вызван встречей с двумя Владыками и несколькими иереями для решения вопросов о жизни Церкви в эти трудные для нее времена. Встреча была назначена на 25 августа на даче в поселке Абрамцево, у одного художника. Было 19 августа по новому стилю, праздник Преображения Господня. Все дни, прожитые у Астаховых, о. Арсений посвятил писанию писем духовным детям и своим друзьям. Письма передавались знавшим о приезде о. Арсения, а те, в свою очередь, отдавали их верным друзьям для передачи адресатам. Получавшие письма считали, что они привезены из ссылки с оказией.

Шесть дней, прожитые в городе, прошли спокойно. Вечером о. Арсений служил предпраздничную вечерню и утреню, исповедовал. Утром торжественно отслужил обедню, причастил Наталию Петровну с мужем и всех остальных шесть человек, бывших у обедни и исповедовавшихся вечером.

Затем все ушли на работу, и о. Арсений остался в квартире один. После торжественной службы на душе было радостно и спокойно. Оснований для тревоги не было. Марфа Андреевна — хозяйка домика на севере, где жил о. Арсений, условной телеграммы не давала, значит, о нем не спрашивали. Здесь также оснований для волнений не было — как будто никто не следил.

Опустившись на колени, о. Арсений долго молился, благодарил Господа за милости Его: приезд в город, встречу с любимыми духовными детьми, радость общения с ними и за то, что Господь сподобил его, грешного иерея, торжественно отслужить обедню Преображения Господня. В квартире было тихо и спокойно. О.Арсений сел за стол и стал писать маленькие короткие записочки на тонких полосках тонкой, но

плотной бумаги. Мелкий убористый почерк заполнял всю полоску, и сколько важного, огромного таили эти письма для духовных детей. Ответы наставляли, предостерегали, уговаривали, требовали, успокаивали. Мы все с нетерпением ждали этих маленьких узких полосок бумаги, которые несли нам свет и жизнь, освещенные словами духовника. Время от времени о. Арсений вставал и ходил по комнате, иногда подходил к окну и, становясь за занавеской, смотрел на противоположную сторону улицы, где находился большой продовольственный магазин, и ему казалось, что около него то прохаживалась, то стояла одна и та же фигура женщины. Эта женщина несколько дней подряд появлялась в одно и то же время и внимательно смотрела на окна дома, где жил о. Арсений.

"Следят, или кажется мне?" — думалось о. Арсению. Из дома он не выходил, в дороге слежки не замечал, а здесь о его приезде знали только самые близкие люди. "Мнительность", — ответил он сам себе и, помолившись, сел писать. Время подходило к одиннадцати дня. О.Арсений поправил лампадку и стал молиться. Маленький язычок лампадного огонька то вспыхивал, то еле-еле мерцал. Уйдя в молитву, забыв обо всем окружающем, о. Арсений читал акафист Владимирской Божией Матери, прославляя, величая и смиренно моля Владычицу.

И вдруг молитву разорвал резкий звук входного звонка. Звонили условным способом, длинный, три коротких, продолжительный и опять короткий. "Кто это? — подумал о. Арсений.— Сегодня никто не должен прийти! Что случилось?"

Звонки повторялись, настойчиво, требовательно.

Встревоженный, о. Арсений пошел открывать дверь, звонить могли только свои, значит, что-то случилось.

"Вероятно, пришла телеграмма с севера от Марфы Андреевны".

Войдя в переднюю, перекрестившись и возложив упование на Матерь Божию, о. Арсений быстро открыл дверь, и сейчас же, отталкивая дверь ногой, вошла, ворвалась женщина, лет двадцати-двадцати двух. Быстро закрыв дверь и наступая на о. Арсения, она прошла в комнату.

"Я из органов, вот удостоверение, смотрите. Вы — Стрельцов Петр Андреевич, называемый о. Арсением, живете здесь шесть дней. Я веду за Вами наблюдение днем, ночью и вечером ведут другие".

Отец Арсений растерялся: на столе лежали письма, он без разрешения приехал из ссылки. Получилось плохо, он подвел многих людей.

"Господи, Матерь Божия, помогите!" — мысленно произнес он, но уже отчетливо понял — все погибло, арестуют многих.

Женщина, молодая и красивая, с явно интеллигентным лицом, была одета слишком обыкновенно и серо, казалось, для того, чтобы не выделяться из общей массы людей, раствориться в толпе, стать незаметной.

"Понимаете, я из органов, веду наружное наблюдение за Вами, но у меня случилось несчастье. Заболела дочь, звонила домой, температура за 40 градусов, распухло внутри горло, посинела, хрипит, задыхается. И все так внезапно, утром уходила из дома — была здорова, а сейчас мама только повторяет по телефону: "Таня умирает!" Звонила в управление, просила заменить, отказали. Нет подменщика, который бы всех вас в лицо знал. Приказали не уходить. Что делать? Дочь умирает. Надо срочно оказать помощь, позвать врача, а мама совершенно растерялась. Умирает Татьяна! Мне надо домой, а сменщик придет только в 17 часов. У меня к Вам просьба — не уходите никуда. Дайте слово, что не уйдете. Очень прошу не уходить, если уйдете, погубите меня. Еще просьба, если кто придет к Вам, пока меня не будет, скажите, ведь того, кто придет к Вам, могут "вести" до квартиры, а я должна сообщить потом, что были люди. Ваши, которые работают у нас, говорят, что Вы добрый, помогаете людям.

Не уходите, прошу Вас. Скажите, что сделаете. Плохо Татьяне, а управление не отпускает".

Отец Арсений уже все понял, и эта женщина, говорившая отрывочными фразами, могла больше ничего не говорить. В ее глазах он прочел во много раз больше, чем она могла рассказать о себе.

"Идите к дочери, я никуда не пойду, а если кто придет, то скажу Вам. Идите!"

"Спасибо, гражданин Стрельцов! Спасибо. Я только до 15-ти часов, а потом опять встану на наблюдение, — и, заканчивая разговор, почему-то сказала: — Меня зовут Анной".

Дверь хлопнула, и о. Арсений остался один. Горела лампадка, лежал открытый молитвенник, пачка написанных писем была на столе.

Все открыто. НКВД знает, что он здесь, и ведет наблюдение за ним и остальными, оно хочет выявить всех людей общины и общающихся с ним для того, чтобы взять их потом.

Эта Анна, ворвавшаяся в дом и знающая условный звонок, отказ начальства ее сменить, брошенная ею фраза: "Ваши, которые работают у нас", назначенная встреча с Владыками, неожиданная болезнь дочери Анны — было цепью одних событий, руководимых Промыслом Божиим.

Тяжесть происшедшего навалилась на о. Арсения, придавила и смяла его в сумятице мыслей и переживаний. Пугала, страшила ответственность за судьбы людей, муки их,

переживания. Да, конечно, приезжать было нельзя, это было ошибкой.

Отец Арсений подошел к раскрытому молитвеннику, тяжело опустился на колени и стал читать акафист Владимирской Божией Матери с того места, где его прервал звонок Анны.

Путались фразы, не понимались знакомые и любимые слова, путались мысли, но, постепенно овладевая собой, о. Арсений отбросил житейское и ушел в молитву. Почти четыре часа молился о. Арсений, прочитаны были акафист, молитвы, отслужен благодарственный молебен.

То, что произошло сейчас, было великой милостью Божией, Его заботой, Произволением о тех, кто был вместе с о. Арсением. Страхи, тревоги, волнения ушли.

В три часа раздался условный звонок. О.Арсений открыл дверь, вошла Анна.

"Слава Богу! Вы здесь", — вырвалось у нее.

"Здесь, никуда не уходил, и ко мне тоже никто не приходил. Идите на свой пост, Ирина".

Женщина была измучена, но когда о. Арсений назвал ее Ириной, она выпрямилась, вздрогнула и голосом, в котором слышалось удивление и испуг, спросила: "Почему вы назвали меня Ириной?"

"Идите, Ирина! Идите!" — ответил о. Арсений.

В глазах ее появились слезы, и она еле слышно сказала: "Спасибо Вам".

Отец Арсений закрыл дверь и вернулся в комнату.

"Господи! Это Ты повелел мне назвать ее Ириной. Тебе ведомо все, Господь Вседержитель".

На противоположной стороне улицы, около магазина ходила Ирина, в пять вечера ее сменил мужчина.

Наталье Петровне и ее мужу, а также пришедшим в этот вечер друзьям о. Арсений рассказывать ничего не стал. Его рассказ ничего бы не изменил, а только встревожил бы всех и испугал. Внутренний голос говорил о. Арсению, что надо ждать завтрашнего дня — все в руках Божиих.

Отец Арсений приготовился к худшему, сжег письма и попросил Наталию Петровну так же уничтожить все лишнее.

20-го августа отслужил ранним утром обедню и после ухода Наталии Петровны и ее мужа встал на молитву, но молитва не шла. Одолевало беспокойство, тревога, душевное смятение. Около 11-ти часов раздался звонок, о. Арсений открыл дверь, на пороге стояла Ирина.

Пропустив ее в комнату, о. Арсений сел около стола.

"Я к Вам. Таню с большим трудом удалось положить в больницу. Беспокоюсь, волнуюсь страшно, что-то будет? Спасибо за вчерашнее, звонила вечером в управление, до-

кладывала, сказали, что к Вам никого "не вели". Не был у Вас никто".

"Садитесь, Ирина! Удивился я, как Вы решили зайти ко мне, к человеку, за которым ведете наблюдение. Вы меня, вероятно, врагом считаете?"

"Я пришла поговорить с Вами, не бойтесь меня. Поверьте, я сама пришла, и болезнь дочери не выдумка. Расскажите мне, кто и что Вы за люди? Почему с Вами так борются? Ваши, что дают о Вас сведения, много рассказывают о каких-то добрых делах, помощи, взаимных заботах. О Вас лично много хорошего говорят, но нам разъясняли, что Вы фанатик, классовый враг, сколачиваете враждебную группу из церковников, а добро Ваше вредное, для агитации. У меня сейчас три часа свободного времени, никто не придет проверять. Проверки бывают очень редко и, как правило, в 14 часов. Расскажите о себе. Временами буду смотреть в окно и, если потребуется, срочно уйду".

Смотря в лицо Ирины, о. Арсений начал рассказывать о вере, верующих, потом — почему борются с верой и о том, что верующие люди не против власти.

Рассказывая, о. Арсений ничего не боялся, да и чего он мог сейчас бояться, когда видел, что Ирина знает про общину и отдельных людей значительно больше, чем он мог рассказать ей. Рассказывая, о. Арсений так увлекался, что забыл о времени, забыл, кто такая женщина, сидящая перед ним, он говорил человеку, говорил убежденно в своей правоте, защищая веру.

Ирина внимательно, но, казалось, недоверчиво вслушивалась в каждое слово. Знала она про общину много, по-своему — одно слово, враги, а здесь о. Арсений рассказывает все по-иному, и получаются две правды. Кто прав, возникал вопрос?

Там, в НКВД, знали многое, но пока выжидали, надо было забрать всех людей общины, послать в лагеря, ссылки. Надо было взять не за веру в Бога, а за борьбу с властью, но борьбы не было, никто не боролся, была только вера в Бога, объединяющая людей.

"В органах с нами ведут систематические занятия и говорят, что вы враги, но Вы рассказываете по-другому, да и я, наблюдая за вами, вижу в вас только несовременных людей. На занятиях нам подробно рассказывали о Вашей организации, о Вас, демонстрировали Ваши письма, из которых можно понять, что кто-то о ком-то заботится, есть поручения, много о Боге. Может быть, зто шифр?

Несколько человек "Ваших" давно работают в органах, в основном все сообщения идут от них. Я назову их фамилии".

"Не надо, не называйте, не хочу!" — воскликнул о. Арсений.

"А я назову! Назову! Не люблю предателей, эти люди так же легко предадут нас, как предали своих. Я присутствовала однажды на допросе. Противно смотреть, глаза бегают, извиваются, словно ужи, боятся, а пишут. Я слушала, сидя в стороне, и мне казалось, что многое было полуправдой. Вот фамилии тех, кого я знаю: Кравцова, диакон Камушкин, Гуськова, Полюшкина".

Отец Арсений вздрогнул, внутренне возмутился и вскрикнул: "Вы говорите неправду, они не могут предавать", — но, взглянув на Ирину, понял: "правда" и вдруг заплакал. Заплакал по-настоящему, навзрыд.

"Что Вы? Что Вы, гражданин Стрельцов, я правду говорю. Шестнадцатого августа я Кравцову сама вела в управление. Правда это все, правда. Успокойтесь, дрянные они люди.

Не должна была говорить Вам, но жалко мне Вас. Не расстраивайтесь. Я пойду. Зайду завтра. Вас еще не скоро должны взять, хотят выявить все связи. Позвоню из автомата маме, что с дочерью. Расстроила я Вас".

Потрясенный и раздавленный, остался о. Арсений.

Слезы заливали лицо, и мысли одна тяжелее другой приходили и приходили.

Катя! Катя Кравцова — один из самых близких ему людей, неутомимая помощница, добрейшей души человек, молитвенница, знаток церковной службы. Она знала все об общине. Все знала. Что толкнуло ее на путь доносов, предательства? Катя, которую в общине называли "Катей беленькой", в отличие от других Екатерин. Красивая, умная Катя. Что толкнуло ее — страх, разочарование, обида, испуг, временное малодушие, угрозы?

Отец диакон Камушкин, его духовный сын и раньше постоянный сослужитель на всех богослужениях, и эти двое Лидия Гуськова и Зина Полюшкина, верные его духовные дочери. Да! Они были верными, любящими, глубоко верующими и любимыми его духовными детьми, но что произошло, почему они так пали? Только ли страха ради? Не я ли, духовный отец, проглядел где-то, не уберег овец стада своего от падения? Не я ли виновен в этом? Господи! Прости меня грешного, научи, наставь! Моя вина, спаси их, останови и сохрани остальных.

Вспоминая исповеди, разговоры, письма этих духовных детей своих, о. Арсений по отдельным крупицам попытался восстановить прошлое и определить начало падения.

Да! Он, иеромонах Арсений, должен был вовремя заметить колебания детей своих, их ошибки и остановить.

Упав на колени, плача молился о. Арсений, умоляя Господа и Царицу Небесную о помощи, восклицая: "Господи! Господи! Не остави меня! Простри руку помощи Твоей, будь милостив. Спаси детей моих от погибели!"

21 августа Ирина также пришла. Дочери стало совсем плохо. Нарыв в горле резко увеличился, крупозное воспаление легких развивалось, дыхание было прерывистым. Врачи предупредили, что состояние безнадежное.

С поста Ирину не отпускали, днем в больнице дежурила бабушка, ночью Ирина. Войдя в комнату, Ирина заплакала.

"Успокойтесь! Успокойтесь! Господь милостив. Таня поправится", — говорил о. Арсений и, смотря на Ирину, видел растерянную, убитую безутешным горем молодую женщину, опустошенную, не имеющую ни на что надежды.

"Безнадежна Татьяна, умрет. Две болезни сразу. Сказали, умрет, а я не могу днем быть около нее", — проговорила она и, рыдая, упала головой на стол.

Отец Арсений подошел к шкафчику с иконами, открыл его, зажег вторую лампадку и сказал: "Буду молиться о Тане, буду просить Господа".

"Я тоже буду просить Вашего Бога, я готова делать все, лишь бы спасти Таню, но не умею молиться и не знаю Бога".

Пламя лампадок тихо колебалось, освещая то одну, то другую икону, но наиболее ярко выделялась икона Владимирской Божией Матери.

"Будем, Ирина, просить Матерь Божию, Заступницу нашу, о выздоровлении Тани", — и начал молиться громко и отчетливо. Молясь, о. Арсений не видел Ирины, забыл о ней, он помнил только о безутешном человеческом горе, страдании. Моля Царицу Небесную исцелить младенца Татиану, всю свою душу, всю свою духовную силу иерея вложил о. Арсений в эти молитвы. Рассказывая мне об этой молитве почти через 25 лет, о. Арсений говорил: "Вы знаете, что я редко плачу, а здесь плакал, умолял Господа и Матерь Божию о помощи, просил как иерей, дерзновенно просил и — страшно сказать — требовал, да, именно требовал, так велико и безысходно было горе Ирины. Не было у нее ни надежды, ни веры, но в глазах ее я видел доброту и любовь. Я умолял Господа исцелить Таню, просил Матерь Божию осенить светом Своим, светом веры Ирину, зажечь в ней веру Христову, дать ей Надежду. Потом я каялся владыке Ионе за свою дерзновенность".

Прошло два часа, кончив молиться, о. Арсений обернулся и увидел Ирину — она стояла на коленях с лицом, залитым слезами, и, не отрываясь, смотрела на икону Владимирской Божией Матери, ничего не замечая вокруг себя и что-то шепча. Сердце о. Арсения наполнилось неизмеримой жалостью к Ирине. Подойдя, он положил руку на ее склоненную голову, сказав: "Идите, Ирина. Господь поможет. Будем просить оба Вы и я. Матерь Божия, наша Заступница, не оставит Вас, Она поможет".

Ирина поднялась с колен, шагнула к о. Арсению, крепко схватила его за руку и плача проговорила: "Петр Андреевич! Я на всю жизнь поверила Вам и Ей, ведь Она тоже была Матерью, и, если все так, как Вы говорили, Она поможет. Матерь Божия! Помоги и спаси Таню. Все сделаю, только спаси".

До прихода Наталии Петровны о. Арсений молился. Вечером, когда в квартире была Наталия Петровна с мужем и двое из так называемой "семерки", около 11 часов раздался телефонный звонок. О.Арсений быстро встал и, подойдя к телефону, взял трубку и сказал: "Анна! Слушаю Вас".

"Спасибо, спасибо, все хорошо. Она помогла, я теперь на всю жизнь верю Вам и Ей. Спасибо. Звоню из автомата".

Все присутствующие в комнате почти одновременно заговорили: "Зачем, зачем Вы взяли трубку. Телефон прослушивают".

Отец Арсений подошел к иконам, перекрестился и сказал: "Так нужно. Великую милость явили Господь и Матерь Божия, и не только мне, а главное, вновь рожденному человеку. С кем я говорил, никто знать не может, Анн на свете много", — и, подойдя к иконе Божией Матери, начал молиться.

Стоит вспомнить, что при допросах о. Арсения много раз потом спрашивали, кто такая Анна.

Внезапное появление Ирины все изменило. Многое продумав и моля у Господа помощи, о. Арсений решил не встречаться с Владыками и уехать 25 августа из города, а до дня отъезда из квартиры не выходить.

Надо было сохранить общину, духовных детей от арестов, какими-то путями изолировать тех, кто предавал.

До самого дня отъезда Ирина приходила к о. Арсению в 11 часов и уходила в два часа. Приходила, расспрашивала, рассказывала, но, главным образом, слушала о. Арсения и первый раз в своей жизни исповедовалась и причастилась, став духовной дочерью о. Арсения.

Договорено было, что Ирина будет писать под именем Анны, а о. Арсений запомнил адрес ее двоюродной сестры, на имя которой должен писать ответные письма. Для того, чтобы Ирина могла узнать основы веры и иметь надежного верующего человека около себя, о. Арсений дал ей адрес бабушки Любы, глубоко верующей женщины, не связанной с людьми общины. В записке было написано: "Помогите, наставьте, никогда не оставляйте. Молитесь вместе".

До того, как о. Арсений попал в "особый", удавалось два—три раза в год посылать письма Ирине, из "особого" писать уже было нельзя.

Призванная в органы по комсомольскому набору, Ирина после встречи с о. Арсением с большим трудом ушла на учебу

в медицинский институт и потом работала врачом в одной из московских клиник.

Все это о. Арсений узнал по выходе из лагеря в 1957 году. Сейчас, в конце декабря 1956 г., вспоминая августовские дни тридцать девятого года, помнил о. Арсений свои мучительные раздумья о Василии Камушкине, сестрах Зинаиде и Лидии, помнил, что не нашел в их исповедях, беседах с ними и письмах ни малейшего сознания, понимания своего падения, предательства. Этих людей о. Арсений не мог остановить.

Помнил исповедь Кати Кравцовой тогда же, 23 августа. Исповедь кончилась, о. Арсений ждал, хотел, чтобы Катя сказала, но она молчала. О.Арсений молился, взывая к Господу. Катерина ждала разрешительную молитву, не понимая, почему медлит о. Арсений. Помнил ее недоуменную фразу: "Батюшка! Я кончила", — и о. Арсений прочел разрешительную молитву. Окончена исповедь, но не окончен разговор.

"Катя! Почему Вы предали общину, зачем рассказываете о наших делах следователю? Зачем? Скольких Вы губите. Вы моя опора и одна из любимейших и верных духовных детей. Катя!"

Испуганное, полное ужаса лицо, глаза огромные, залитые стыдом, слезами и страхом, искаженные, закусанные губы.

"Откуда Вы узнали? Кто Вам сказал? Они, о. Арсений, и без меня все знают, все. Знают, что Вы приехали. Все знают, я и половины не говорю правды, я... — и вдруг лицо стало решительным, собранным: — Я хотела спасти общину, людей, Вас, я врала им, но они многое знают. Запуталась я теперь".

Разговор был долгим и окончился тем, что Катя должна уйти от дел общины. Так и было. Через год Катя вышла замуж, перестала общаться со старыми друзьями и только в 1958 году встретилась с о. Арсением.

В 1942 году на изнурительных допросах, материалах следствия, предъявляемых ему следователем, он еще раз убедился в правоте Ирины, назвавшей ему имена доносителей.

Бывший диакон в 60-х годах работал в патриархии на высоких должностях.

Надо было уезжать. О.Арсений долго говорил с Наталией Петровной и Верой Даниловной, рассказал им истинную причину своего приезда, не упомянул об Ирине и откуда он все узнал. Было оговорено о диаконе Василии, Лидии Гуськовой, Зинаиде Полюшкиной. О Кате Кравцовой — Кате Беленькой — о. Арсений ничего не сказал, он верил ей, понял ее заблуждение, ошибку — нет, не предательницей она была.

Отец Арсений понимал, что арест его предрешен, но необходимо, чтобы произошел он не здесь, в городе, а в ссылке.

Пусть потом допрашивают, сажают в карцер, бьют, показывают донесения агентов — он не уезжал из ссылки, не был в городе.

На 25 августа Ирина взяла билет на ночной поезд, а 24-го о. Арсений писал письма, написал и Беленькой Кате — Кравцовой.

В 1966 году Катя отдала это письмо Вере Даниловне, рассказала, как она стала сотрудником органов и почему.

Вот отрывок из этого письма:

"Господа молю о Вас. Укрепите себя молитвой, просите Божию Матерь о помощи. Вы упали, найдите силы подняться. Я понял Вашу ошибку, не осуждаю Вас. Вы сильная, решительная, стойкая и, когда Вас позвали, надеялись на себя, а надо все упование возложить на Бога, и тогда решительность и стойкость Ваши помогли бы в борьбе со злом. Ваш героизм превратился в ошибку, а потом во зло.

Отойдите от дел, выдержите напор зла и победите, хотя понимаю, что это не просто. Противоборствуйте злу.

Силы утешения черпайте в молитве. Матерь Божия наша помощница и защитница.

Да хранит Вас Бог. Ваш духовный отец иеромонах Арсений. Настанет время, и встретимся мы еще с Вами, молюсь постоянно о Вас.

Да благословит Вас Бог".

25 августа о. Арсений во время дежурства Ирины в 11 часов утра ушел на вокзал, где и переждал до вечера. На вокзал о. Арсения провожала мать Ирины — Варвара Семеновна, принесла в дорогу продукты, прощалась ласково, добро, заботливо.

Отъезд для о. Арсения был тягостен, он потерял троих своих духовных детей, потерял безвозвратно, но на Катю он надеялся, верил ей, она не сойдет с пути веры.

Ирина простилась с о. Арсением утром, прощалась трогательно и просила молиться о ней и всех домашних. К вере, к ее неисчерпаемому источнику утешения и жизни пришел новый человек, и в этом для о. Арсения была большая радость.

Помню, о. Арсения спросили: "Как Вы могли сразу поверить Ирине?" И он ответил: "Поверил, ибо неисповедимы пути Господни и неисчерпаема милость Его".

Записано по рассказам о. Арсения, Ирины, Веры Даниловны и Наталии Петровны, объединено, обработано и пересказано одним из участников этих событий. 1968-1975 гг.

ЖУРНАЛИСТ

Он все записывал. Где-то доставал обрывки грубой, серой бумаги, складывал их в тетрадку, сшивал и обрезал ножом, сделанным из куска ножовки.

Приходя с работы, быстро проглатывал миску баланды, заедая куском черствого, мерзлого хлеба, усталый и полуголодный, садился на нары и начинал огрызком химического карандаша писать на мятых листах бумаги.

Карандаш быстро скользил по поверхности грубых бумажных листов, оставляя после себя строчки, связанные из аккуратно выписанных букв.

Казалось, что он пришел сюда корреспондентом газеты, набраться впечатлений, понять психологию живущих заключенных, администрации лагеря, окунуться в этот новый для него мир, а потом дать серию очерков под названием: "Лагерь "особого режима".

Так казалось, но он был обычный номер, К-391, осужденный по 58-й статье к двадцати годам лагеря "особого режима". Пока он успел прожить в лагере меньше года, исписав при этом несколько тетрадок, в которых заключенные и жизнь лагеря были показаны со всей правдивостью и откровенностью.

Жажда описать все, оставить свои записки людям буквально сжигала его, особенно первое время. Встречая нового заключенного, он бросался к нему и закидывал его вопросами.

"Кто Вы? Откуда? За что? Кто и как вел следствие?" — и казалось, что следующим вопросом будет: "Ваши впечатления о лагере "особого режима?", но этого вопроса он не задавал. Все было предельно ясно. Он ухитрялся куда-то прятать свои записки, и за это приходилось отдавать уголовникам часть пайкового хлеба.

Изредка, при обысках, у него находили обрывки записей, отбирали, сажали его в карцер, но это не отбивало у него желания писать.

Этот человек видел мир глазами журналиста, и, вероятно, даже за несколько минут до смерти он записывал бы свои впечатления, ибо так был создан. Беря очередное "лагерное интервью", он пытался понять и осмыслить происходящее. Барак с его разношерстным населением был им ощупан, осмотрен и взвешен, только несколько заключенных не были расспрошены. В числе их был и о. Арсений.

В бараке его прозвали "Журналист", и казалось, что он гордится этим, ведь и на воле он был журналистом, его статьи появлялись в "Известиях", "Правде", "Труде".

Торопливость, нервозность, желание обо всем расспросить собеседника вначале вызывали у заключенных подозрение, но удивительная отзывчивость и общительность невольно располагали к нему большинство политических и уголовников. Полицаи, пособники немцев и некоторая часть власовцев встречали его враждебно.

Через полтора года жизни в лагере он научился и понял многое, "интервью" стал брать реже, записывая, подолгу задумывался, видимо, что-то заново переоценивая и переосмысливая.

С о. Арсением в бараке встречался. Стороной услышал, что поп, искусствовед с университетским образованием, пользуется среди заключенных авторитетом и многие любят его. Но то, что о. Арсений был служителем культа, заставляло журналиста относиться к нему с внутренним презрением и сожалением.

Пребывание о. Арсения в лагере казалось журналисту в известной мере правомерным, т. к., по его мнению, верующие, и особенно служители культа, так или иначе были враждебны советской власти и боролись против нее. Журналист обобщал полицаев, лиц, сотрудничавших с немцами, и верующих во что-то одно общее, сторонился этих людей и "интервью" у них не брал.

Считая, что он попал в лагерь в результате какого-то особого вредительства, журналист возмущался нахождением под одной крышей с этими людьми. Он, боровшийся всю жизнь, как ему казалось, за истину и верящий в нее, вдруг вынужден был общаться с "диверсантами" и попами, своими идейными противниками.

Однако интервью с о. Арсением все же состоялось. Журналист заболел, и его оставили вместе с о. Арсением убирать и топить барак. Убирали барак молча, журналист не разговаривал, носил дрова, выгребал золу, рвал кору и строгал щепу. Человек молодой и сильный, он довольно быстро сложил поленья у своих печей, а о. Арсений все еще только носил. Сложив дрова, журналист приступил к растопке, заложил щепу и кору и, зажигая спичку за спичкой, пытался разжечь огонь. Сжег коробок спичек, но дрова не разжег. Перешел к другой печке, и тоже ничего не получается. Время идет, журналист нервничает, барак надо было протопить к приходу заключенных.

Отец Арсений наносил дрова, уложил их в печки, подложил растопку и с одной спички разжег каждую печь и стал только подкладывать в них поленья. Он увидел, что у журналиста ни одна печь не горит, подошел и сказал: "Разрешите, помогу", — а тот, раздраженный, ответил со злостью: "Прошу не мешать, в помощи не нуждаюсь". О.Арсений молча

отошел, но стал внимательно наблюдать, как у журналиста идут дела. Журналист извелся, нервничает, понимает, что вечером его обязательно изобьют, а заодно попадет и о. Арсению за холод в бараке. Прошло еще минут двадцать, о. Арсений помолился, подошел к журналисту, тихо его отстранил, вынул из печки дрова, положил стоечкой растопку, обложил дровами, поджег бересту, и с одной спички разгорелись дрова. Подошел ко второй печке, журналист за ним, смотрит, но молчит. Третью печь журналист разжег сам. Лицо у журналиста в саже, но доволен. "Спасибо, что научили. Думал, просто, а оказывается, целая наука". "Я, — ответил о. Арсений, — не одну сотню печей в лагерях разжег, вот и науку эту превзошел".

Печи разгорелись, надо было только дрова подбрасывать да подносить. Слово за слово, разговорились. Журналист, по своей привычке, стал вроде бы "интервью" брать, а получилось, что минут через десять сам о себе стал рассказывать. Время подошло к приходу заключенных, и журналист вдруг обнаружил, что не он попа расспрашивает, а сам о себе рассказывает все до малейших подробностей.

Рассказал незнакомому человеку свою жизнь, и почему-то от этого на душе стало спокойнее и легче.

Пришел с работы народ, зашумели, прошла первая поверка, потом вторая, заперли барак, журналист лег на нары и почти до самого подъема пролежал с открытыми глазами, думая, почему так случилось, что он открыл свою жизнь незнакомому старику, да и как раскрыл? И этот человек внезапно стал ему близким и родным.

Вот и пошло от одного разговора к другому, и незаметно легла душа журналиста в руки о. Арсения.

Первое время журналист говорил об о. Арсении: "Старик-то — силища! Душа его как мир — все и вся вмещает",— а через месяц: "Отец Арсений человек необъятной души, доброты великой. Понял и увидел я настоящего верующего христианина". Сдружился он с о. Арсением на всю жизнь.

Любил журналист стихи и знал их великое множество и вечерами, когда запирали барак, сидя на нарах, читал вполголоса для себя или по просьбе друзей. Читал проникновенно, раскрывая душу поэта. Блок, Брюсов, Пастернак, Симонов, Гумилев, Лермонтов, Есенин были особенно им любимы. Читая, он перерождался, голос делался четким, ясным, выразительным, оттеняющим каждое слово и фразу. Известное стихотворение в его чтении становилось новым, задушевным и слушалось с интересом. Помню, читал он "Незнакомку" Блока и, слушая его, мы забыли барак, голод, холод, заключение и были в тот момент где-то в старом Петербурге с "Незнакомкой".

"...И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями
И в кольцах узкая рука.
И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами
Она садится у окна..."

И мы, присутствующие, сидели и видели эту женщину.

Читая Есенина, он раскрывал нам его мятущуюся больную душу, глубокую, но расстраченную нежность, задушевность его лирики и тоску и плач по сломанной и бесцельно прожитой жизни. Читал журналист много, но помню, что особое впечатление тревожного ожидания оставило на нас тогда стихотворение Симонова "Жди меня, и я вернусь".

Собралось вокруг журналиста человек 5-6, разговорились, а потом кто-то попросил его прочесть стихи. Журналист читал минут десять, резко оборвал чтение, задумался, видимо, что-то перебирая в памяти и, ни к кому не обращаясь, сказал: "Прочту Симонова, когда-то на фронте в 42-м году читал он мне это стихотворение военных лет", — и начал читать:

"Жди меня, и я вернусь
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет..."

Первые строки стихотворения воспринимались окружающими почти безразлично, но потом задушевность чтения, проникновенность, теплота слов захватили нас, а окружающая лагерная жизнь, безысходность и обреченность напомнили близких, всколыхнули ушедшее дорогое прошлое.

"Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет — повезло".

Голос журналиста звучал громко, заполняя часть барака, заключенные стали собираться вокруг.

Охваченные воспоминаниями, затаив дыхание, боясь пропустить сказанное слово, стояли люди, вспоминая семью, родных, дом и всех тех, кто жил на воле, и каждый думал: "А могут ли ждать меня? Помнят ли? Ведь меня уже давно официально нет. Я не числюсь. Я списан, умер".

Голос тем временем продолжал:

"Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой —
Просто ты умела ждать,
Как никто другой".

Журналист кончил, низко склонил голову и сразу ушел в себя. Окружающие тихо и медленно стали расходиться по своим нарам.

Высокого роста человек, лет сорока, неожиданно сказал: "Войну прошел, в госпиталях валялся, опять сражался за Россию. Думал, вот-вот вернусь. Жене с фронта писал: жди, вернусь. Вот и вернулся! А жена все равно ждет, да не дождется, мы в "особом"... — и неожиданно закончил: — Может, и выйдем!"

...Журналист пережил смерть Сталина, вышел на свободу, вынеся никому не ведомыми путями свои записки.

Фамилия его теперь часто встречается на страницах толстых журналов и центральных газет. Вышло несколько книг, в которых я нахожу знакомые отзвуки перенесенных страданий и встреч с о. Арсением, дружба с которым осталась у него на всю жизнь. Я часто встречаюсь с журналистом, мы вспоминаем лагерную жизнь, о. Арсения и тех, кто вышел из лагеря и остался жив. Самое главное, что мы с журналистом верим в Одно, и нам обоим о. Арсений принес новую жизнь. Многое из записок журналиста использовано в воспоминаниях об о. Арсении.

МУЗЫКАНТ

Высокий, худой, оборванный и, как все, бесконечно измученный, появился этот человек в бараке.

Обтянутое кожей лицо, на котором выделялись большие черные задумчивые и печальные глаза, смотревшие в пространство совершенно безучастно.

На работах норму не выполнял, почему и получал только часть пайка, и поэтому с каждым днем все больше и больше слабел.

Приходя с работы, медленно съедал паек, садился на нары и, ни с кем не разговаривая, смотрел в мутное окно барака, за пределами которого открывалась унылая картина лагерных улиц. Временами лицо оживлялось, и длинные пальцы рук, лежащие на коленях, начинали двигаться, и тогда казалось, что человек играет на рояле.

О себе рассказывал он мало, вернее, ничего не рассказывал, но как-то все случайно разъяснилось. Прошло более полугода с момента его прихода в барак, окружающие привыкли к его молчаливости и отчужденности.

Вечером около одних нар собралось несколько заключенных, о. Арсений также присутствовал. В начале разговор велся о лагерных делах, но незаметно перешел к прошлому, вспомнили театр, музыку, и в этот момент к говорившим подошел молчаливый заключенный.

Разговор о музыке углубился, кто-то заспорил о каком-то особом влиянии ее на душу человека, о "партийности" музыки. О.Арсений, как всегда, не участвовал в спорах, но здесь неожиданно заговорил и высказал мнение, что музыкальные произведения, имеющие глубокое внутреннее содержание, должны благотворно влиять на душу человека, облагораживать слушателя, неся в себе элементы религиозного воздействия на душу человека.

Молчаливый и всегда замкнутый, заключенный оживился, глаза заблестели, голос окреп, и он спокойно, почти властно заговорил. Говорил необычайно задушевно, профессионально, обоснованно и убедительно, продолжая развивать мысль о. Арсения о влиянии музыки на человека.

Один из заключенных, стоявший около нар, стал пристально вглядываться в лицо говорившего и вдруг воскликнул: "Позвольте! Позвольте! А я Вас знаю, Вы пианист", — и назвал фамилию выдающегося музыканта.

Музыкант вздрогнул, смутился и проговорил: "Если бы Вы знали, как мне не хватает музыки! Если бы Вы только знали! С ней я прожил бы даже здесь".

Кто-то глупо спросил: "За что Вы здесь?" И музыкант необычайно серьезно ответил: "По доносу друга, а вообще за то, за что мы все здесь", — сказал и, сразу отойдя, лег на свои нары.

Выражение тоски и отчужденности после этого разговора еще больше легло на его лицо, взгляд стал совершенно отсут-

ствующим, отзывался он только на второе или третье обращение.

Мы видели, что человек ушел в себя, потерял связь с другими, а в условиях лагеря это было равносильно смерти.

Прошел месяц, и музыкант совершенно ослаб, с трудом ходил на работу, нормы выполнял все меньше и меньше, соответственно уменьшался и паек.

Отец Арсений несколько раз пытался заговорить с ним или чем-нибудь помочь, но все было безуспешно. Музыкант не слушал, отвечал невпопад или уходил. Как-то о. Арсений обратился к окружающим: "Гибнет человек без музыки, что бы ему достать для игры?" — и один из уголовников, любивший о. Арсения, сказал: "В красном уголке есть гитара разбитая, попробую ее с ребятами позычить".

В "особом" имелся красный уголок, в котором никогда не проводилось никаких мероприятий, хранилось несколько десятков книг, никому не выдававшихся, и в шкафу валялась сломанная гитара. Красный уголок всегда был заперт, но, вероятно, в лагерных отчетах начальства числился как необходимая принадлежность для "политической перековки" заключенных — зеков. Неизвестно, какими путями "взяли" уголовники гитару из запретного уголка и принесли в барак. С треснутой декой, оставшимися пятью струнами, облезлым лаком, она производила жалкое впечатление. Всем было ясно, что в бараке гитара долго не продержится, при первом же обыске ее отберут, но появление гитары в бараке было событием и развлечением.

Нашелся заключенный, который приклеил деку, почистил лак. Два дня гитару уголовники прятали, а на третий день, когда дека подсохла, после вечерней поверки и обысков положили гитару на нары музыканта, когда он был в другом конце барака.

Пришел музыкант и, сев на нары, задел рукой струны, они жалобно зазвенели, он испуганно обернулся, схватил гитару, растерянно посмотрел на окружающих и стал настраивать ее. Вначале струны дребезжали, звуки нестройно метались, потом окрепли, и музыкант заиграл.

В пяти-шести местах уголовники резались в самодельные карты, где-то стучали костяшками домино, озлобленно ругались, разговаривали, молча лежали на нарах, и вдруг барак внезапно наполнился звуками. Они охватили людей, ругань стихла, стук домино прекратился, карты легли на колени. Что-то неизмеримо большое, родное, чуть-чуть грустное, необыкновенно близкое для каждого заключенного вошло в барак и стало с ним рядом.

В звуках возникали и приходили родные места, поля, покрытые травами, оставленные и потерянные навсегда жены, матери, дети, лица любимых женщин, друзей.

Все светлое, хорошее, что жило в людях, всколыхнулось, пришло и встало рядом. Грубость, жестокость лагерной жизни ушла. Заключенные стояли, сидели или лежали притихшие, озаренные прошлым. Что играл музыкант, было сейчас неважно. Может, это была его музыка, но гитара пела проникновенно, пела и рассказывала о прошлом. Мы слушали, и звуки лились, тонкие и светлые. Это бились где-то друг о друга льдинки, это пела вода, то журча, то гремя, то налетая на камни. Это по-человечески билось нечеловеческое сердце музыканта, которое, вопреки окружающей нас обстановке, все осветило, дало жизнь и радость.

Звуки лились, объединяя необъединимое, они были среди нас, хотя породившая их мечта была неизмеримо далека от слушавших их людей, и наступил момент, когда струны зазвучали все печальней и печальней, они рыдали, стонали и тихо протестовали. Музыка отделила людей от гнетущего настоящего, от проклятой действительности.

Вдруг по коридору прогромыхали шаги, раздвигая стоявших людей, к музыканту шел высокий, черноволосый человек, искаженное лицо покрывали размазанные слезы — это был известный в бараке уголовник, жестокий и безжалостный.

"Прекрати, зануда, музыку, не береди душу. Прекрати, пришибу". Уголовник шагнул к музыканту с поднятой рукой, но кто-то из стоявших уголовников схватил черноволосого и выбросил в коридор. Потом было слышно, как он рыдал в конце барака.

Звуки рассказывали о страданиях, невыносимом горе, тоске, этапах, лагере. Сердце невыносимо сжималось, но наступил момент, когда страдание и горе стали постепенно исчезать из музыки, приходило спокойствие, умиротворенность, казалось, что человек нашел свой путь. Музыкант рассказывал сейчас в звуках свою жизнь, но слушатели прочли в них нашу жизнь. Игра оборвалась, и музыкант несколько мгновений сидел неподвижно. Кто-то из стоявших сказал: "Спойте нам!" Подняв голову, музыкант запел тихим и хрипловатым, но чрезвычайно выразительным голосом. Это была старинная русская песня:

"Что вы голову повесили, соколики мои?
Разлюбила! Ну так что ж,
Стал ей больше не хорош,
Буду вас любить, соколики мои".

И сейчас же все окружающие оживились и заулыбались.

Голос музыканта был, конечно, не для певца, но столько было в нем теплоты и задушевности, что это покорило слушателей. Кончив песню, он заиграл вальс "На сопках Маньчжурии" в замедленном темпе, и тихие, всем знакомые звуки этого вальса как-то особенно обрадовали и сблизили всех.

Расходились молча. Музыкант сидел на нарах, прямой, спокойный, просветленный, бережно держа в руках гитару. Большие глаза смотрели в темноту и благодарили всех за гитару.

Мы с о. Арсением сидели на нарах, лицо его было задумчивым и сосредоточенным. "Он верующий, глубоко верующий, — проговорил о. Арсений, — он сегодня рассказал нам об этом в звуках музыки".

Гитара прожила в бараке два дня, и за эти дни музыкант переродился: повеселел, оживился, стал общительным. Уголовники дали ему прозвище "Артист" и взяли его "под закон", что соответствовало лагерной терминологии: "охраняем".

Отобрали гитару на утренней поверке, нашли в тайнике, донес кто-то из "сексотов". Музыканту дали три дня карцера. Какое-то время музыкант был бодрым и веселым, но потом сник.

Недели через три, ночью о. Арсений почувствовал, что его кто-то дергает за рукав. "Извините меня, извините! Ночь сейчас, но мне необходимо поговорить с Вами. Знаю, Вы священник. Давно хотел подойти к Вам, да все боялся, а теперь чувствую, что пришло время мое. Спасибо Вам за гитару. Узнал стороною, что от Вас все исходило. Выслушайте! Я коротко. Простите, что разбудил".

Склонив голову к о. Арсению и обдавая его своим горячим дыханием, музыкант шепотом рассказывал о себе, скороговоркой выплескивая свои мысли. "Господи! Господи! Как я грешен!" — повторял он время от времени. Видимо, все, что он говорил, было давно продумано и выстрадано.

Слезы временами падали на руку о. Арсения. "Господи! Господи! Грешен я очень, но зачем они отняли у меня музыку?"

Отец Арсений долго молился вместе с музыкантом.

Недели через три музыканту на работах раздробило кисть левой руки, а через недели две из лагерной больницы с одним из выздоровевших заключенных пришло от музыканта письмо.

В записке было: "Не забывайте меня перед Господом, смерть стоит со мною рядом. Молите Бога обо мне".

Записано по воспоминаниям лиц, бывших в лагере и рассказу о. Арсения. 1959 г.

ДВА ШАГА В СТОРОНУ

Знакомство мое с о. Арсением было давнее, по тогдашним лагерным временам, около года, но, зная друг друга, встречались мы мало, а слышал я тогда о нем много.

Потянулся я к нему в пятьдесят третьем году.

Летом перегоняли нас этапом на "времянку", строить в необитаемом месте бараки и заложить ствол шахты.

Идти надо было сорок километров, в общем-то недалеко. За три дня с ночевкой и тащимым грузом дойдешь. Солнце невыносимо жжет, гнус и комары забираются в малейшую щелку. Идем одетые, душно, тяжко. Лицо и руки зудят от укусов гнуса и пота. Летом в жару часто бывало даже труднее, чем зимой в морозы. Идем, ноги свинцовые, груз оттягивает руки, плечи, одежда прилипла к телу, и это еще больше затрудняет движение. Желание у всех одно — броситься на землю, распластаться, прижаться к ней и никогда, никогда больше не вставать, что бы ни случилось, что бы ни произошло после, но какая-то непреодолимая сила заставляла двигаться вперед, волочить по земле ноги, мучительно переживая каждый пройденный метр, идти и идти...

Устали все: охрана, заключенные и сторожевые собаки. Дорога казалось бесконечной, хотя многие проходили ее не раз. С каждым шагом сил становилось все меньше.

Колонна растянулась, ряды изогнулись и почти перемешались. Временами слышалась команда: "Не растягиваться, ближе ряды!", но команда отдавалась голосом усталого человека, который так же изнемогал от жары, тяжести оружия и напряженного внимания к движущейся растянувшейся колонне. Ноги тонули в красно-оранжевой листве, покрывавшей дорогу. Листья ольхи, осины и березы медленно падали с веток на головы проходивших, тихо кружились в воздухе и шелестели под ногами.

Рядом со мной шел о. Арсений. Несколько раз я спотыкался, и он заботливо подхватывал меня под руку. Два или три раза я взглядывал на него и думал: "Почему он еще идет?" А он шел — прямой, сосредоточенный, ничего, казалось, не видящий. Губы его двигались, и я уже тогда знал, что он молится.

Дорога проходила между грядами холмов, откосы которых поднимались сразу около обочины и были покрыты опавшей листвой, принесенной ветром, и редким, уже оголенным от листьев кустарником.

Впереди нас шел татарин, высокий, худой, с лицом аскета. Пустой вещевой мешок болтался на спине, сам татарин был оборван, грязен. В бараке знали, что он из Казани и, попав в

лагерь, "дошел", т. е. просто говоря, опустился до последнего предела и был на краю гибели.

В бараке он жил от меня через трое нар. Видя, что человек погибает, многие из окружающих людей пытались хоть чем-нибудь ему помочь, но было уже бесполезно. Сейчас татарин шел спотыкаясь, руки беспорядочно болтались, весь он как-то неестественно качался.

Когда же отдых? Временами кто-нибудь падал, упавшего обходили, и тогда уставшая охрана ударами ног поднимала его.

Собаки шли на поводках конвоиров, понуро уткнувшись мордами в землю и, казалось, ничего не замечали.

Воцарилось спокойствие, все шли молча, команд охраны не было, и только ноги идущих, погруженные в листву, ворошили ее, и от этого над колонной стоял постоянный тревожный шорох.

Болели ноги, разламывалась голова, неимоверно болело и устало тело. Я думал только об отдыхе. Когда же он придет? От усталости темнело в глазах, фигуры впереди идущих расплывались в кровавой дымке, качались и временами пропадали, а затем возникали вновь.

Все! Сил больше нет. Сейчас упаду! И вдруг шорох от ног разорвал пронзительный крик: "Бегу! Бегу!" Раздалась необычная возня, состояние оцепенения мгновенно прошло, и я увидел, что высокий татарин, расталкивая заключенных, перескочил через канаву и побежал вверх по откосу холма, покрытого листвой. Бежал он медленно, видимо, не хватало сил.

Колонна зашевелилась, проснулась от усталости. Конвоиры направили автоматы на заключенных, а лейтенант и один из солдат повернулись к бегущему и стали стрелять. Пули ложились рядом, поднимая облачка пыли, а татарин медленно поднимался по склону.

Такой побег назывался "побег к смерти", это случалось часто. Дойдет человек до "последнего" и тогда устраивает демонстративный побег, для того чтобы его пристрелили.

Охрана знала эти "побеги" и настигала заключенного с помощью собак, била его и направляла опять в колонну, а иногда убивала при "попытке к бегству". Все зависело от начальника конвоя.

Татарин еле-еле поднимался по склону, а лейтенант и солдат, видя, что силы сейчас оставят его, крикнули, чтобы спустили собак. Остановят, изобьют, доложат начальству, добавят зеку еще срока, но жив будет.

Колонна замерла, переживает, понимает, что конвой спасает татарина, и вдруг сбоку застрочил автомат. Третий бил метко, с первых же выстрелов изрешетил всего татарина, и тот, падая, какие-то мгновения пытался как будто ухватиться

руками за сияющее солнечное небо и, протянув одну руку к солнцу, упал головой вниз по склону, а автомат все продолжал стрелять.

Татарин лежал на склоне и хорошо был виден всей колонне. Лицо разбито, одежда в крови, а третий конвойный все стреляет...

Колонна заключенных от внутреннего напряжения и волнения подалась на конвой, и тогда начальник охраны дал над головами заключенных предупредительную очередь из автомата и закричал: "Садись на землю!"

Люди упали на дорогу, покрытую листьями. Над головами прошлась вторая очередь, и тот же голос, срываясь от крика, продолжал: "Пригнись, распластайся!" — и тяжелый мат закончил фразу. Стало тихо, и было слышно, как солдат сказал лейтенанту: "Товарищ лейтенант! Я его, гада, по-снайперовски уложил с первой очереди", — в голосе солдата слышался татарский акцент.

И в это время кто-то из колонны крикнул: "Собака! Своего татарина убил. Смерть тебе!" Солдат-татарин резко обернулся к колонне и направил на заключенных автомат, и в этот момент начальник конвоя крикнул: "Ибрагимов! Отставить!"

Распластались, прижались к земле. Слышу, кто-то около меня плачет. Голову повернул — вижу, о. Арсений стоит на коленях, возвышаясь над всеми лежащими, лицо в слезах и временами тихо-тихо всхлипывает, а губы двигаются и произносят что-то полушепотом.

Я его рукой ударил и говорю шепотом: "Ложись! Пристрелят!" — а он продолжает стоять на коленях, смотрит куда-то невидящими глазами, шепчет и крестится. Второй раз толкнул его — не ложится. Ну, думаю, пусть стоит, меня бы только не пристрелили. Прошло минут 10-15, охрана по обочинам дороги бегает, слышим, тело поволокли по земле, а потом раздалась команда: "Вставай! Ряды держи — не путайся. В сторону шаг — стреляю!"

Встали с земли, ряды выровняли. Пошли. Смотрим — тело убитого убрали, только кровь осталась на листьях, где он лежал. Идем. Охрана злая, чувствуем — чуть что не так, автоматной очередью прошьют. Посмотрел я на о. Арсения — в глазах слезы, лицо серьезное, печальное-печальное, но вижу, что молится. Почему-то вид о. Арсения обозлил меня, нашел тоже время молиться и плакать! Спрашиваю: "Что, Стрельцов? Разве такового не видели?"

"Видел и не раз, но ужасно, когда убивают безвинного человека. Ты все видишь и ничем не можешь помочь". А я ему с издевкой сказал: "Вы бы Бога-то своего на помощь призвали. Он бы и помог татарину или хоть бы прокляли убийцу. Хоть словесная и бесполезная, но месть".

"Что Вы! Что Вы! Разве можно проклинать кого-нибудь, а Бог и так сейчас многих из нас спас. Я видел это. Солдата Господь покарает. Ангел Смерти уже встал за его спиной. О, Господи! Как я грешен!" — закончил о. Арсений. Сказал и пошел, грустный-грустный.

Расстрел заключенного татарина снял со всех нас усталость, и колонна пошла быстрее, но шла молча.

Через день пришли на времянку. Месяц надо было здесь нам прожить. Работали по 15—18 часов. Питание давали по самой низкой лагерной норме. Каждый день хоронили мертвецов. Комары, гнус заели. До того измучились, что многие прямо с лопатой или топором замертво падали на рабочих местах.

Охранник подойдет, прикажет другому заключенному топор или лопату взять и отойти от лежащего, а сам ногой толкнет упавшего. Кто отойдет, отлежится, а других прямо на повозку и к врачу. Тот осмотрит, зафиксирует смерть, подпишут акт — и кончился твой лагерный срок...

Стал я к Стрельцову приглядываться. Поразил он меня на перегонном этапе. Я вижу, необычный он человек, какой-то особенный. Работает так же, как все, в лагере много лет, старый, вконец измотанный и почему-то живет, не умирает. Молится все время, во что-то верит и так верит, что от этого только и живет еще.

Вот так и присмотрелся я к нему. Главное, что удивило меня — устает ведь, как все, но всем старается помочь и помогает. Относится ко всем внимательно, приветливо. Его даже охрана по-своему любила и щадила.

Проработали месяц. Пришло шестьсот человек, а назад гнали не более двухсот.

Шли до лагеря четыре дня. Шли медленно. Охрана не торопит, понимает, что во всех нас только что и осталось душа, да и та еле-еле держится. Пришли в "особый", дали день отдыха, даже паек хороший выдавали три дня, там тоже люди бывали. Месяц на "времянке" крепко привязал меня к о. Арсению. Все меня в нем поражало. Доброта необыкновенная, помощь людям безотказная и главное, что помогал он в самую трудную для тебя минуту. Бывало, тяжко, тоскливо, грустно на душе и жить не хочется, а он подойдет, положит руку на плечо и скажет два-три самых простых слова, которые сразу осветят, согреют тебя или ответит на то, что тебя сейчас угнетало и мучило.

Таких, как я, получающих помощь от о. Арсения, было много. Одни уходили, другие приходили и образовывали около него какой-то особенный круг.

Почему я начал воспоминания об о. Арсении с этапа на "времянку" и с убийства заключенного татарина? Да только

потому, что поведение о. Арсения во время перехода было для меня совершенно необычным, а его отношение к окружающим людям во время месяца работ на стройке поражало даже охрану. Помню, что охрана иногда называла его "отец" за его настоящую помощь другим.

Солдата-татарина Ибрагимова убили на другой день в лагере. Доведя нас до "времянки", конвой вернулся в "особый". Убили в казарме — солдатской, убили зверски. Выкололи глаза и перерезали горло. Заключенные этого сделать не могли, так как убит он был вне зоны, а там жило только начальство. Убил кто-то из своих, татар-охранников. Узнали мы об этом только через неделю после возвращения в "особый", и я рассказал об этом о. Арсению. Помню, о. Арсений страшно расстроился и сказал мне: "Господи! Господи! Как это все ужасно. Еще одна смерть. Мучительная, страшная. Смерть без примирения со своей совестью и хотя бы внутреннего покаяния". Сказал и отошел, а я с радостью подумал: "Собаке — собачья смерть".

Вышел я из лагеря на три года раньше о. Арсения, но уже вся моя жизнь была связана с ним. Я всегда благодарю Господа, что Он дал мне возможность встретить такого человека, как о. Арсений. В 1958 году я вторично встретил о. Арсения, но это уже было на воле.

*Записано человеком, духовно любимым
и воспитанным о. Арсением. 1966-1967 гг.*

ЗАМЕРЗАЮ

Петра Андреевича? Конечно, помню, на всю жизнь запомнил. В дороге, можно сказать, познакомились. Вышли из лагеря утром. Мороз градусов 30, да при этом еще ветрено, а одеты только в телогрейки. Идти недалеко, около 10-ти километров, а по времени часов 4—5 с лагерным "сидором" на спине ("сидор" — это вещевой мешок). Скоро холод стал прохватывать до костей, а часа через два я окончательно замерз. Оглядываюсь, вижу, ребята тоже мерзнут, охрана в тулупах одета, но, видно, и ей холодно. Собаки, охраняющие колонну, покрылись инеем. Идем, крепимся, стараемся быстрее, чтобы согреться. Чувствую, что ноги и руки окончательно отмерзли и одеревенели, колонна замедлила движение. Охрана кричит: "Ходу, ходу! Шевелись! Замерзнете!" Стал спотыкаться, ног уже не чувствую, бреду кое-как. Слышу, меня кто-то поддерживает за локоть. Смотрю, старик рядом идет. Удивился, что ему до меня? Иду, качаюсь, сил уже больше

нет. Старик схватил меня за руку и держит, чтобы не упал и говорит: "Духом не падайте. Держитесь, двигайтесь больше, согревает зто, и дойдете с Божией помощью". Прошли еще с полкилометра, иду в забытьи, дороги уже не разбираю, поскользнулся и упал. Пытаюсь подняться, руки, ноги не действуют. Сознание после падения прояснилось, и понял я, что конец. Замерз, погиб. Лежу и вижу, ряды заключенных размыкаются, обходят меня, а старик остался около меня. Порядок знаю, последний ряд пройдет, и охрана, замыкающая колонну, подойдет ко мне, и, если я не подымусь, то, чтобы со мной не возиться, пристрелят и сообщат потом по начальству: "Убит при попытке к бегству".

Старик стоит около меня зачем-то. Подошел старший лейтенант, начальник охраны, толкает ногой: "Вставай", — а я отчетливо соображаю, но ни сказать, ни двинуться уже не могу. Слышу, старик говорит старшему лейтенанту: "Гражданин начальник! Помогите ему, замерзнет".

А тут подошел старшина с автоматом и как-то просительно сказал: "Товарищ старший лейтенант! Ему бы спиртишку, у меня во фляге есть". Старший лейтенант дал команду колонне идти вперед, а сам со старшиной остался. Старик опять просит помочь мне, а где тут помогать, когда я совсем замерз, охрана возиться со мной не будет, холодно, хлопотно, да и ни к чему ей, проще пристрелить. Одним меньше, одним больше. Что из зтого? Старик просит, не боится. Я хоть мерзлый упал, а он порядок нарушил, из колонны вышел. Пристрелят его непременно. Старший лейтенант посмотрел на старшину, и вижу — тот автомат снимает. Ну думаю, конец, поехали мы со стариком в могилевскую губернию. Старшина автомат старшему лейтенанту отдал, подошел ко мне и говорит старику: "Давай, дед, поднимем его". Подняли. Старшина фляжку со спиртом достал и мне в рот сунул. Полился спирт в глотку. Сжег все внутри, а я судорожно глотаю. Выпил изрядно. Стали старшина со стариком меня от одного к другому перебрасывать. Задвигался я, а спирт изнутри согревает. Минут 5-10 меня бросали, роняли нарочно, подниматься заставляли с земли. Разогрелся, руки, ноги чувствую, иголками колоть их стало, и больно. Значит, отошли и сам-то я бодрей стал. Говорю охранным: "Спасибо", — а они в ответ: "Не нам спасибо говори, а старику. Поразил он нас тем, что с тобой остался". И к нему обратились: "Как же это ты отстать не побоялся? Приказ знаешь? Два шага в сторону — стреляем без предупреждения!"

Старик поклонился им в ответ и сказал: "Чего же бояться вас, душа человеческая у всех людей есть, да и видел, что поможете. Человека в беде Бог не оставит".

Догнали колонну. Ребята потом удивлялись, как это нас не пристукнули. Я ничего не рассказывал, как жив остался. Вот так и познакомился с Петром Андреевичем, старик-то — это он был. Сперва знал как Петра Андреевича, потом как иерея Арсения. Вошел Петр Андреевич — о. Арсений в мою жизнь как что-то огромное, светлое, радостное, так что не только помню, а постоянно живу им. Вспоминая многое, думаю: "Прав был о. Арсений, у многих людей живет в душе доброта, человечность, но где-то скрыта она, и только надо суметь найти ее, так было со старшиной и старшим лейтенантом".

Году в 63-м встретил в Калуге старшего лейтенанта из охраны. В штатском он был и, как потом узнал, на каком-то заводе работал. Подошел к нему. "Здравствуйте, — говорю,— товарищ старший лейтенант!" А он не узнает, напомнил — обрадовался, к прошлому вернулись, он мне сказал: "Страшное время было, сейчас вспоминать даже трудно".

Спрашиваю: "Как это Вы тогда нас не пристрелили, да еще старшина спиртом поил?", — а он в ответ: "А мы что, не люди? Да и старик нас поразил. На смерть ведь шел, а не побоялся Вам помочь. Скажу по правде, у нас в охране об этом старике разговоры были. Особенный он был, добрый, говорили, священник". И спросил: "А где он сейчас?" Я сказал, что о. Арсений жив. Разговорились со старшим лейтенантом, зашли в кафе, выпили по маленькой, вспомнили жизнь нашу лагерную. Вот так было. Переписывался я с о. Арсением долго, до самой его смерти. Письма все сохранил. Скажу Вам: Человек был большой!

Записано со слов председателя колхоза — агронома из Калужской области.

САПОГИ

Спрашиваете, что помню? Да все помню.

Все это рассказано тысячи раз: допросы, приговор, лагерь, голод, избиения, уголовники, постоянно стоящая рядом с тобою смерть и неистребимая память о близких.

Помните:

"Ты теперь далеко-далеко,
Между нами снега и снега,
До тебя мне дойти не легко,
А до смерти четыре шага..."

А до нее, действительно, было рукой подать, эта старуха всегда сторожила нас, то в виде нового приговора, то

убийства уголовником из-за куска хлеба, то от голода и от тысячи других причин.

Вообще все было как у сотен тысяч таких же, как я, горемык. Нечего вспоминать об этом, не я один перенес это, а тысячи, и никакого в этом подвига нет. А вот суметь найти себя в лагере не всякий мог. О.Арсений нашел свое место в лагере, и не один, а сотни подвигов совершил.

Тому, кто не был в лагере, трудно понять, в чем заключается лагерный "подвиг" и можно ли сравнить его с подвигом на войне. Скажу, можно. На войне бросок вперед сделал в горячке и спешке — или сам пропал и людей спас, или жив остался и дальше идешь, а в лагере все время под смертью ходишь, а если другому помогаешь, то вдвойне тяжело.

Мое знакомство с о. Арсением произошло зимой из-за валяных сапог, а до этого не знал его. Зимой главное, чтобы ноги были сухие, а здесь, в "особом", сапоги всегда мокрые, отмерзают ноги, болят, в струпьях. Ночью сушить сапоги на печках нельзя, оставишь — упрут, а вечером уголовники не дают, сами сушат. В эту зиму ноги совсем отморозил, больше не могу на работу идти. Последний раз пришел, пятка к сапогу примерзла, в ручей провалился. Доковылял до барака, сапоги снять сил нет, упал на нары и обеда не съел, лежу и думаю — завтра сдохну. Лежу и в забытьи слышу, кто-то с меня сапоги снимает. Думаю, считают, что умираю, но уже все равно, дохну, не до сапог. Снял кто-то один сапог, второй, портянки размотал и стал ноги растирать, а я в забытьи все слышу. Растер, закрыл ноги и ушел. У меня мысль мелькнула: сапоги взял и портянки, а зачем ноги растирал и обмороженные болячки чем-то смазал? Болят ноги, но легче стало, я незаметно уснул.

Утром бригадир подошел ко мне и по уху дал: "Чего не встаешь?" — а я, оказывается, проспал. Вскочил, а ноги-то разуты, оглядываюсь и вижу: подходит ко мне старик и подает мне сухие сапоги и портянки. Не понял я ничего, схватил, оделся и заковылял на работу. Вечером старик опять взял сапоги и высушил, и так несколько раз. Это меня и спасло. Пригляделся к нему, а потом разговорился, раз, другой и привык. А знаете, как он сапоги сушил? Положит их на печь и всю ночь стережет, а работал как и все. В лагере это больше, чем подвиг.

Очень я переживал, да и кто не переживал, что сдохну в лагере и о родных ничего не знаю, а он, старик, хотя я уже знал, что его зовут Петр Андреевич или о. Арсений, просто и обыденно сказал мне: "Все у вас хорошо будет, выйдете скоро из лагеря и родных увидите", — и, сам не зная почему, но я поверил как в истину.

И действительно, освободили меня через год с небольшим. Взяли меня в 1952-м, два с лишним был в простых лагерях, а в январе 53-го дело пересмотрели, срок добавили и в "особый" перевели. В конце 1955 года внезапно освободили: в правах, в партии, в должности восстановили, родные живы оказались.

Приезжаю я теперь к о. Арсению раз в полгода: душевно опустошенный, внутренне усталый, а он встречает меня, переговорит, исповедует, выслушает, накипь с души снимет, оживу я и с нетерпением жду следующей встречи. Уезжаю к себе в Новосибирск и увожу с собой частицу тепла и веры, полученные от о. Арсения, и постепенно расходую. Коммунист я и верующий в то же время. Вы это знаете, а там, конечно, не знают. Должность занимаю большую, стараюсь только идеологической работой не заниматься, связанной с атеизмом и антирелигиозной пропагандой. Обхожу это все. Вот Вам и мое знакомство с о. Арсением. Мир на таких людях держится. Я его в лагере наблюдал, многим он помогал, и мы, на него глядя, помогать другим стали. Вижу, вопрос задать хотите, как это я верующим стал? Смотрел на его дела, вот и стал, ну а потом другие помогли, рассказали, разъяснили, и сам, конечно, все, что хотел, то и узнал. Раз стали меня расспрашивать, то опять вернусь к вопросу о подвиге, потому что много теперь об этом говорят. Подвиг! Подвиг! А что такое подвиг? Войну я Отечественную прошел, во многих боях участвовал, добровольцем пошел, солдатом начал, майором кончил. Орденом Славы награжден, двумя Ленина, Отечественной войны, Красного Знамени, да всего и не перечислишь, что имею. Партизанским отрядом командовал, по заданию у немцев работал, четырежды ранен был, все было нипочем. Знал, для чего делал и что с тобой всегда товарищи есть, а если погибнешь, то за Родину. Попал в лагерь "особого назначения" и понял, что такое "фунт лиха". Понял, что не смерть самое страшное во имя чего-то, а лагерь, в котором ты один на один сам с собой, и смерть с тобой, неумолимая, долговременно-мучительная, и кругом тебя все смертники, озлобленные, опустошенные, и нет твоим мучениям конца, и погибаешь ты неизвестно почему и во имя чего. Если совершишь побег, то куда? Товарищей у тебя все равно нет, тебя боятся. Ты один. Поверьте мне! Самый большой подвиг в жизни — это в нечеловеческих условиях помочь людям, будучи голодным и умирая от голода, отдать последний кусок хлеба, сделать за другого тяжелую работу, будучи сам полутрупом. Верьте мне, это, действительно, подвиг. Я водил людей в атаку, спасал из-под огня товарищей, меня спасали, но я знал, во имя чего я это делаю, а в лагере для чего было помогать и спасать? Все равно мы должны были умереть.

О.Арсений многих из нас спас и делал это во имя Бога и людей, никогда не щадил себя. Это подвиг во имя любви к человеку, и ты не ждешь себе никакой награды, ты несешь только одни трудности. Господи! Если бы все люди были похожи на о. Арсения!

Записано со слов Андреенкова в 1966 году.

Часть третья

ДЕТИ



ВЗБРАННОЙ ВОЕВОДЕ ПОБЕДИТЕЛЬНАЯ

Задержалась я у подруги. Заговорились. Взглянула на часы, одиннадцать вечера. Быстро простилась — и на станцию. Идти не далеко, сперва дачными улицами, и только у станции минут семь леском. Луна на ущербе, темно, от провожатых отказалась и побежала. Молодые мы все смелые. Иду и думаю: мама сердиться будет, что поздно пришла, а завтра вставать рано к ранней обедне, а потом дел невпроворот. Иду быстро, улицы прошла и вбежала в лесок. Темно, мрачно и, конечно, страшно, но ничего, тропка широкая, не раз хоженная. Вошла и чувствую: домашним духом тянет, а людей — никого. Бегу, и вдруг меня кто-то сзади схватил за руки и на голову что-то накинул. Вырываюсь, крикнуть хочу, но мне рукой через тряпку рот зажали. Борюсь, вырываюсь, пытаюсь ногами ударить напавших, но от сильного удара по голове на какие-то мгновения затихла. Оттащили с тропинки в сторону, с головы материю сняли, потом я поняла, что это был пиджак, но рот тряпкой зажимают еще. Мужской голос сказал: "Пикнешь — зарежем!" — и нож перед глазами появился. "Ложись, дура, будешь тихо себя вести, не убьем", — смотрю на человека, один низкий, другой высокий, и от обоих вином пахнет. "Ложись!" — рот разжали и толкают на землю, а я шепотом говорю им: "Отпустите, пощадите!" — и рванулась, а высокий приставил нож к груди и колет. Поняла, что ничто меня не спасет. Высокий парень сказал второму: "Пойди шагов за 30 к тропке. Справлюсь с ней, тебя крикну", — невысокий ушел.

Я стою и отчетливо понимаю, что нет мне сейчас спасения, никто помочь не может. Что делать? Как защититься? И вся мысль ушла к Богу: "Помоги, Господи!" Молитв вдруг никаких не помню, и откуда-то внезапно возникла только одна, к Богородице, и я поняла — одна Матерь Божия может меня спасти, и стала в исступлении читать: "Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся Невесто Неневестная", — а в это время высокий повалил меня и стал рвать одежду. Сорвал, наклонился надо мной, нож в руке держит. Я это отчетливо вижу и в то же время исступленно молюсь Богородице, повторяя одну и ту же молитву и, вероятно, молилась вслух. Наклонился высокий и вдруг спросил меня: "Ты что там бормочешь?" — а я все молюсь и в этот момент услышала свой голос, а парень опять сказал: "Спрашиваю, чего?" — и тут же выпрямился и стал смотреть куда-то поверх меня. Посмотрел внимательно, взглянул на меня и со злобой ударил в бок ногой, поднял с

земли и сказал: "Пойдем отсюда", — и, держа нож в руке и сорванное с меня белье, повел куда-то в сторону. Дошли, бросил меня на землю, опять наклонился надо мною, а я молюсь и молюсь.

Стоит около меня и опять поверх вглядывается, а я все время призываю Божию Матерь и в то же время чувствую, что ничего почему-то не боюсь. Парень стоит и смотрит куда-то в лес, потом взглянул на меня и сказал: "Чего ей здесь, в лесу, ночью надо?" Поднял меня, отбросил нож и повел в лес. Идет молча, я молюсь вполголоса и ничему не удивляюсь и ничего уже не боюсь, помню только, что Божия Матерь со мною. Конечно, мысль дерзновенная, но я тогда так думала.

Шли недолго. Вижу — мелькают между деревьями огни станции. Не выходя из леса, парень сказал мне: "На! Оденься! — и бросил мои вещи. — Я отвернусь". Отвернулся, я оделась. Пошли, взял он билет до Москвы, подвел к бачку с питьевой водой и платком вытер мне лицо. Кровь у меня от удара была на голове.

Сели в поезд, вагоны пустые, поздно, мы только вдвоем в вагоне. Сели, молчим, а я все время молюсь про себя, беспрерывно повторяя: "Взбранной Воеводе победительная..."

Доехали, вышли из поезда, он спросил: "Где живешь?" Я ответила. Доехали трамваем на задней площадке до Смоленской площади, а потом пошли в Неопалимовский переулок ко мне домой. Я молюсь, он идет молча, только на меня изредка взгядывает.

Дошли до дома, поднялись по лестнице, я ключ достала и опять на меня страх напал. А зачем он здесь? Дверь не открываю, стою. Посмотрел парень на меня и стал спускаться по лестнице. Открыла я дверь, бросилась в комнату и перед иконой Божией Матери Владимирской упала на колени. Благодарю Ее, плачу. Сестра проснулась и спрашивает: "Что с тобой?" — молюсь и не отвечаю, молюсь.

Часа через два пошла, лицо вымыла, привела себя в порядок и до утра молилась, благодаря Матерь Божию, а утром побежала в церковь к ранней обедне и все о.Александру рассказала. Выслушал он меня и сказал: "Великую милость оказали Вам Господь и Матерь Божия. Благодарить их надо, а злодея покарает".

Прошел год. Сижу я дома и занимаюсь. Окна открыты, жарко, душно. В квартире мама да я. Звонок, мама кому-то открывает и говорит: "Проходите. Дома!" — и мне из коридора кричит: "Мария, к тебе". Подумала я — вот некстати, но крикнула: "Входите!" Встала, решила, что кто-нибудь из товарищей-студентов. Дверь открылась, и я замерла. Он, тот парень из леса. Спросили бы меня минуту тому назад — какой он, я не смогла бы сказать, а тут мгновенно узнала.

Стою словно одеревенела, а он вошел, почему-то осмотрел комнату и, не обращая на меня внимания, рванулся в угол, где у меня висела цветная литография с иконы Владимирской Божией Матери. Иконы мы с мамой держали в маленьком шкафчике, а Владимирскую повесили под видом картины на стене.

Подошел, посмотрел и сказал: "Она", — постоял некоторое время и подошел ко мне. "Не бойтесь меня, я пришел попросить у Вас прощения. Простите меня, виноват я перед Вами страшно. Простите!" А я стою, окаменевшая, растерянная, а он подошел ко мне близко, близко и еще раз сказал: "Простите меня!" — повернулся и вышел. Эта встреча произвела на меня страшно тяжелое впечатление. Зачем приходил? Что хотел этот бандит? В голову пришла мысль — надо бы милицию позвать, задержать его, но вместо этого открыла шкафчик с иконами и стала молиться.

В голове все время неотвязчиво стояла мысль, почему, взглянув на икону Владимирскую, сказал: "Она".

Потом все раздумывала. Почему его тогда не разглядела, почему такой бандит прощения просил, зачем это ему нужно? И совсем он не высокий, и глаза его смотрят пытливо и пристально и не по-бандитски.

...Началась война, был 43-й год. Голодали мы ужасно. Я работала в госпитале сестрой и пыталась учиться в медицинском институте, сестра болела, но училась в седьмом классе, а мама еле-еле ходила от слабости.

Жизнь была тяжелой, но я все-таки успевала иногда забегать в церковь. Прошли бои под Москвой, на Кавказе, под Сталинградом, начиналась весна 43-го года. Дежурила я эти дни два дня подряд. Пришла усталая, есть нечего, сестра лежит, мама тоже. Ослабли обе.

Разделась, разжигаю печку, руки трясутся, болят. Пытаюсь молиться, читаю акафист Божией Матери по памяти. Слышу, стучат в дверь, открываю, стоит лейтенант с палкой и большим вещевым мешком: "Я к Вам!"

Спрашиваю: "Кто Вы?" Он не отвечает и втаскивает в комнату мешок, потом говорит: "Тот я! Андрей!" — и тогда я мгновенно узнаю его. Мама приподнимается и смотрит на него.

Андрей развязывает мешок, неуклюже отставляет ногу, садится на стул без приглашения и начинает вынимать что-то из мешка.

На столе появляются банки с тушенкой, сгущенным молоком, сало, сахар и еще и еще что-то. Вынув, завязывает мешок и говорит: "Ранен я был тяжело, три месяца с лишним по госпиталям валялся, думал, не выживу, сейчас в клиниках ногу долечивают. Лежал, Вас вспоминал и Матери Божией

молился, как Вы тогда. Говорили врачи, что умру, безнадежен. Выжил, живу, а эти продукты братень мне притащил от радости, что в госпитале разыскал, он тут под Москвой в председателях колхоза ходит . Наменял — и ко мне".

Встал, подошел к шкафчику с иконами, открыт он был, перекрестился несколько раз, приложился к иконам, подошел ко мне и опять, как прошлый раз, сказал: "Простите меня Бога ради. Прошу. Гнетет меня прошлое беспрерывно. Тяжело мне", — а я посмотрела на его продукты, на него самого, стоящего с палкой около стола и закричала: "Возьмите, возьмите все сейчас же. Убирайтесь вон!" — и расплакалась. Стою, реву, мама лежит, ничего понять не может, сестра из-под одеяла голову высунула. Андрей посмотрел на меня и сказал: "Нет, не возьму", — подошел к печке, разжег ее, положил полешки, постоял минут пять около нее, поклонился и вышел, а я все время навзрыд плакала.

Мама спрашивает: "Маша, что с тобой, и кто этот человек?" Я ей тогда все рассказала. Выслушала она меня и сказала: "Не знаю, Маша, почему ты тогда спаслась, но что бы ни было, хороший и очень хороший Андрей. Молись за него".

Спас нашу семью в 1943 году Андрей своей помощью. Недели две его не было, а потом к маме приходил раз пять без меня и каждый раз приносил бездну всякого, всякого и часами с мамой разговаривал.

Шестой раз пришел вечером, я была дома. Пришел, поздоровался, подошел ко мне и опять сказал: "Простите Вы меня!". Разговорилась я с ним. Много о себе рассказывал. Рассказал, как увидел меня в лесу и почему напали тогда, все рассказал. Рассказал, как наклонился надо мною и услышал, что я что-то шепчу, удивился, не понял и вдруг увидел стоящую рядом Женщину, и Она остановила его повелительным жестом, и когда он меня второй раз на землю бросил, то опять эта Женщина властно рукой Своей заслонила меня, и стало ему страшно. Решил отпустить меня, довел до станции, увидел, что я не в себе, и повез в Москву. "Мучила меня совесть за Вас постоянно, не давала покоя, понял, что все неспроста было. Много думал о той Женщине. Кто, что Она? Почему меня остановила? Решил пойти к Вам, попросить прощения, расспросить о Ней. Не мог больше мучиться. Пришел к Вам, трудно было, стыдно было идти, страшно, но пришел. Вошел к Вам и увидел на стене образ Матери Божией Владимирской и сразу понял, кто была эта Женщина. Ушел от Вас и стал узнавать все, что можно было узнать о Божией Матери. Все, все узнал, что мог. Верующим стал и понял, что великое и страшное было мне явление, и я совершил тяжелое прегрешение. Очень сильно повлияло на

меня происшедшее, и ощутил я глубокую перед Вами вину. Вину, которую нет возможности искупить".

Много Андрей мне рассказывал о себе.

Мама моя была человеком исключительной души и веры и еще до прихода Андрея последний раз говорила мне: "Мария! Матерь Божия явила этому человеку великое чудо, не тебе, а ему. Для тебя это был страх и ужас, и ты не знала, почему Господь отвел от тебя насилие. Ты верила, что тебя спасла молитва, а его сама Матерь Господа остановила. Поверь мне, плохому человеку такого явления не было бы. Матерь Божия никогда не оставит Андрея, и ты должна простить его". Андрей маме тоже все рассказал.

Сестра моя Катерина была от Андрея без ума, а у меня до самой последней встречи с ним к нему жило чувство брезгливости и даже ненависти, и продукты, которые он приносил, я старалась не есть... Когда же разговорилась с ним, то поняла многое, взглянула на него по-другому и успокоилась. Подошла я тогда к Андрею и сказала: "Андрей! Вы изменились, другим стали. Простите меня, что долго не могла я победить в себе чувства ненависти к Вам", — и подала ему руку.

Прощаться стал — уезжал в батальон выздоравливающих, а после на фронт должны были отправить.

Мама сняла со своей крестовой цепочки маленький образок Божией Матери с надписью: "Спаси и сохрани", благословила им Андрея, перекрестила и по русскому обычаю трижды расцеловала. Расстегнул он ворот гимнастерки, снял ее, и мама куда-то зашила ему образок. Катька, прощаясь, порывисто обняла Андрея и поцеловала в щеку. Подошел он ко мне, низко поклонился и, как всегда, сказал: "Простите меня Бога ради и ради Матери Божией, молитесь обо мне", — подошел к иконе Владимирской Божией Матери, приложился к ней несколько раз, поклонился всем нам и, не оборачиваясь, вышел.

Хлопнула дверь, мама и Катя заплакали, а я потушила в комнате свет, подняла светомаскировочную штору и вижу в лунном свете, как он вышел из дома, обернулся на наши окна, перекрестился несколько раз и пошел.

Больше никогда его не видела, только в 1952 г., была я уже замужем, получила письмо от него на старый адрес, мама мне письмо передала. Письмо было коротким, без обратного адреса, но по почтовому штемпелю увидела, что оно послано из-под Саратова.

"Спасибо, спасибо Вам всем. Знаю, страшен я был для Вас, но Вы не отбросили меня, а в одну из самых тяжелых минут поддержали прощением своим. Только Матерь Божия была Вам и мне помощницей и покровительницей. Ей и толь-

ко Ей обязаны Вы жизнью, а я еще больше — верой, дающей две жизни — человеческую и духовную. Она дала веру и спасла меня на военных дорогах. Спаси и сохрани Вас Матерь Божия. Наконец-то я живу христианином. Андрей".

Это последнее, что мы узнали о нем. Я рассказала о. Арсению об Андрее, и он сказал: "Великая милость была дана этому человеку, и он оправдал ее. Хранил его Господь для больших и хороших дел".

ОТЕЦ МАТВЕЙ

Отцу Арсению сильно недомогалось, и ему пришлось лечь в постель, но как раз в эти дни совершенно неожиданно приехал человек, лет 55-ти. О.Арсений, не слушая наших возражений, встал с кровати, оживился и радостно встретил приезжего.

Надежда Петровна занялась приготовлением ужина, после которого о. Арсений и приезжий ушли в комнату и, вероятно, проговорили всю ночь, так как приготовлять постель в этот вечер не пришлось.

Утром о. Арсений и о.Матвей, так звали приехавшего, служили обедню, где я и Надежда Петровна присутствовали, весь день он о чем-то говорил с о. Арсением, и Надежда Петровна каждый раз с трудом убеждала их пойти обедать или пить чай.

Вечером за ужином о. Арсений чувствовал себя хорошо и с каким-то особым доброжелательством смотрел на о.Матвея, а тот спокойно сидел у стола, внимательно всех слушал и очень охотно отвечал на вопросы или рассказывал. Прожил о.Матвей у нас шесть дней и на четвертый день рассказал мне много о себе. Его рассказ о том, как он жил после войны, нашел и опять потерял семью, поразил меня, и я попросила разрешения записать рассказанное.

"В апреле 1941 года меня внезапно взяли в армию. Мне было 28, а Людмиле 25. Женился по большой любви. Друг без друга нам жизнь была не в жизнь. Первое время в армии места себе не находил. Писали мы друг другу почти каждый день. Была Людмила для меня всем, и сыновей я, пожалуй, любил меньше, чем ее. Человек она необычный: с большой силой воли, принципиальная, правдивая, добрая, отзывчивая, и я знал, что любит меня так же, как и я ее. Любовь наша была не физическим тяготением, а глубокой духовной привязанностью и близостью.

По образованию я физик, Людмила кончила педагогический техникум и работала преподавательницей в младших классах средней школы.

Война, как всякое бедствие, приходит неожиданно. С первых дней попал я в тяжелые бои, отступал, выходил из окружения, сражался. Домой писал часто, но, как потом узнал, писем моих почти не получали, а про меня и говорить нечего. Ранен был несколько раз, лежал в госпиталях: на Урале, в Сибири, по-прежнему много писал Люде, получал письма от нее, но как попадал на фронт, переписка прекращалась. В феврале 45-го года ранили меня тяжело, вылечили и прямо из госпиталя попал я седьмого мая под Прагу, где и закончил войну. Грудь в орденах, мысли дома, не только у меня, а у всех. Отвоевались. Родину отстояли.

Через шесть дней после победы арестовали меня, а первого июня трибунал приговорил к расстрелу с заменой 12-ю годами заключения. Состряпал на меня дело старшина, написал, что я вел агитацию в пользу врага, и сколько я ни доказывал следователю, а потом трибуналу, что зто бред, ложь — Родину я защищал, несколько раз ранен, награды получил, и немалые, — никто меня не слушал, а слушали только старшину. Потом уже узнал — многих он посадил, выслуживался.

Осудили, и до 1957 года прожил я в лагерях.

В одном из лагерей встретил о. Арсения, привязался к нему, полюбил, но к тому времени я уже был верующим. Помог мне в этом один заключенный, добрый, хороший и глубоко верующий человек. Очень много дал он мне тогда в лагере.

Об аресте и осуждении семье сообщить не мог, но думал, что Людмила узнает от органов или товарищей. Последние годы находился в далеком сибирском лагере, из которого по чистой освободили в 1957 году. Три месяца пришлось проработать на заводе в Норильске, писал оттуда в Москву, семью разыскивал, но ответа не получил.

Обратился в бюро розыска, не отвечают.

Оделся более или менее прилично и поехал искать своих, но почему-то не официальным путем, а через знакомых. Узнал, что уехала Людмила в звакуацию в город Кострому, там и осталась. Волнуюсь, жду встречи, мысль только одна, как-то они там живут? Что с ними?

Вот и Кострома. Приехал в семь вечера, пока нашел улицу, дом, подошло время к девяти часам. Постучал в дверь, открывает мужчина. Посмотрел на меня, вздрогнул, отступил испуганно в глубь передней и вдруг сказал: "Проходите, Александр Иванович!"

Вошел я, разделся. Мужчина безмолвно стоит и смотрит на меня, потом повернулся к какой-то двери и крикнул: "Люда, к нам пришли!"

Вошла Людмила, увидала меня, бросилась ко мне с криком и плачем: "Саша! Саша! Ты! Где был?"

Обнимает меня, целует. Забыл я все, все на свете, схватил я Людмилу, прижал к себе, плачу, целую в исступлении лицо, руки и чувствую, как под руками моими бьется ее сердце. Сколько это продолжалось, не знаю, но когда немного успокоился, то случайно взглянул на мужчину, открывшего мне дверь, и увидел на его лице такое страдание и неподдельное горе, что трудно передать. Спрашиваю: "Люда, кто это?"

Оторвалась она от меня, посмотрела на нас обоих, надломилась как-то и со стоном в голосе крикнула: "Муж!" — и только тут я окончательно понял, что мое время ушло. Охватила меня беспомощность, растерянность. Сел я и спрашиваю: "А как же я?"

Молчат оба. Схватился я за голову руками и зарыдал. Трясусь и плачу. В жизни моей этого не было, а тут долгие годы мучения и ожидания отдали свое. Отчаяние страшное пришло. Чувствую, взял меня кто-то за плечи и говорит: "Успокойтесь! Успокойтесь! Расскажите, что с Вами было за эти годы?"

Поднимаю голову, а это муж моей Людмилы. Сел напротив меня, Людмила стоит. Смотрю на нее, смотрю и с трудом осознаю происшедшее. Мысли смутные, вязкие, тяжелые, злые, но потом состояние растерянности и злобы прошло, и опять я стал видеть одну Людмилу. Осунулась, в лице ни кровинки, большие глаза ее в слезах и невыносимой муке. Смотрит то на меня, то на Бориса — потом я узнал, что так его зовут.

Как и раньше красивая, моя бесконечно родная Людмила, моя жена, а теперь жена другого. Люда, о которой долгие годы я думал, мечтал, к которой стремился, и только надежда увидеть ее дала мне возможность выжить в лагерях в течение 12-ти лет заключения — и вот наконец я нашел ее и сразу же потерял.

Перевел взгляд на Бориса и также вижу на лице растерянность и страдание. "Расскажите! Прошу Вас!"

Стал я рассказывать, вероятно, говорил долго. Рассказывал, как из армии писал, упомянул про взятие Праги, вспомнил арест, суд, 12 лет лагеря. Рассказал и замолчал, они также молчат, и в это время из мглистого тумана мыслей первый раз пришло воспоминание о Боге, и я в душе своей воскликнул: "Господи, помоги и рассуди. Ты Один знаешь пути наши".

Людмила обошла разделявший нас стол, подошла ко мне и с мольбой сказала: "Саша, прости меня, виновата перед тобой. Писем от тебя не было, запрашивала военкомат, писала всюду, ждала, а ответ один: "Пропал без вести". Три года ждала, ждала ежедневно, и все нет известий. Решила, что убит. Последнее письмо пришло из-под Праги. Мысли были только о тебе, но видишь — встретила Бориса, привыкла к нему, полюбила и вышла замуж на четвертый год нашего знакомства, и к двум нашим сыновьям прибавилась дочь Нина, сейчас ей уже семь лет. Прости меня, я одна виновата, Бориса не вини. Не дождалась я тебя. Прости", — говорит и плачет. Борис молчит.

Что делать? Что делать? Не знаю и не вижу выхода, они оба также не знают. Взглянул на стенку и вижу — в рамках висят мои фотокарточки довоенные, и все происшедшее сразу по-другому осветилось.

Осуждение и раздражение, охватившее меня, сгладились, и что-то доброе, теплое охватило сердце и душу.

Не забыла, помнила и, действительно, никто не виноват. Что делать? Что делать?

Тягостная тишина вошла в комнату. Гнетущая, мрачная, тишина страдания. "Где дети?" — спросил я. "К бабушке все трое пошли, там сегодня и ночуют", — ответила Людмила, и опять стало тихо.

Я смотрел на жену, понимая и зная, что позови я ее, и она уйдет со мной, уйдет с детьми от Бориса, а я забуду ее второе замужество и буду любить по-прежнему. Но что делать с детьми? За восемь лет они полюбили и привыкли к новому отцу, и от него уже есть дочь. Как они отнесутся ко всему совершившемуся, ко мне, перенесут ли, поймут ли, забудут ли Бориса?

Я разобью сложившуюся семью, где сейчас есть согласие, где друг друга любят и понимают. Почему я должен прощать Людмилу? Чем она виновата передо мною? Она ждала, искала, помнила, страдала, оставшись с двумя детьми, не меньше меня и, только уверившись, что я умер, вышла замуж, но в новой семье не был забыт я, о чем сказали мне фотографии. Я был один, а их трое, брошенных, оставленных. Почему я имею какие-то особые права? Ни она, ни я не виноваты в случившемся, а тем более Борис. Сильно любил и люблю Людмилу, но это не дает мне право ради одного себя разбить семью, посеять зло, раздор, лишить детей человека, который стал им отцом. Мои сыновья полюбили Бориса. Но полюбят ли теперь меня? Что будет с дочерью, у которой только один отец, Борис? И опять мысль о Боге пришла ко мне. Не знаю почему, но я встал и прошел в другую комнату.

Три кровати стояли у стен, здесь жили дети. В головах самой маленькой кровати была приколота небольшая икона, висевшая на ленточке, кто был изображен, какой святой, я не понял, но то, что у ранее не верующей Людмилы появилась в доме икона, поразило меня и в то же время внутренне согрело, обрадовало.

В лагере человек, который дал мне возможность уверовать в Бога, говорил, что путь к Господу только через добро, помощь людям и отречение от своего большого и любимого человеческого Я, всегда выставляемого вперед.

Эти мысли мгновенно возникали и проходили передо мною. Выбор был только один. Я обязан, должен уйти из жизни детей, Людмилы, Бориса.

Людмила сидела растерянная, подавленная, не зная, что делать. Лицо ее было столь скорбно, что мне стало стыдно за себя, за то, что я долго молчу, держа Людмилу и Бориса в состоянии неизвестности, напряжения. Борис сидел опустив низко голову, как будто неимоверная тяжесть тянула его к земле.

Я встал и, подойдя к Людмиле и Борису, сказал: "Я ухожу, это необходимо и справедливо по отношению ко всем нам. У вас семья, а я — утраченное прошлое. У Вас сыновья, дочь, у меня ничего. Вы любите друг друга. Я ухожу, здесь нет жертвы, здесь воля Бога и ваше право".

Я встал и стал одевать пальто. Борис смотрел на меня с тревогой. Людмила бросилась, обняла меня и, целуя, сказала: "Не уходи", — но что-то неуверенное прозвучало в этом. Борис подошел и, взяв меня за руку, сказал: "Тяжело ей, переживает за нас обоих и за детей".

Я вышел. Встреча с Людмилой и детьми не состоялась. Осталось только прошлое. Я опять один. Человек, которого я люблю, безвозвратно потерян.

Ждать долгие годы, надеяться, выжить только из-за этого, найти и потерять. Потерять навсегда.

Я шел по улицам Костромы, погруженным в темноту, шел, раздавленный происшедшим, шел, понимая, что другого выхода не было, а Людмила по-прежнему стояла перед моими глазами.

Примерно полгода я болел. Свет не без добрых людей, помогли мне, но в это время я как-то особенно близко подошел к церкви, и это остановило меня от многих неверных решений и поступков.

Устроился по своей специальности физиком в один институт, ушел в работу, что называется, с головой, достиг по воле Божией неплохих результатов. Пришла небольшая известность, печатные труды, жизненное благополучие и обеспе-

ченность, но образ Людмилы, ее глаза постоянно стояли передо мною.

Город, где я жил, был небольшой, но церковь сохранилась одна, остальные когда-то закрыли или сломали. Храм стал моим прибежищем, местом душевного отдыха, утешения. Там, в церкви, сблизился я с одним врачом, глубоко верующим человеком, оказавшим на меня очень сильное влияние и много помогавшим мне.

Пожалуй, это был один из немногих тогда домов, где я бывал, отдыхал душой и учился духовной жизни. За семьей Людмилы не следил, не нужно было и для нее и для меня. Только однажды написал письмо Борису, в котором просил принимать от меня помощь. Высылал почти все мои деньги, через одного хорошего знакомого, живущего в Костроме. Трудно мне было все эти годы. Переживал и страдал, никак не мог забыть Людмилу и детей.

Года через четыре узнал случайно, что о. Арсений жив, списался с ним, поехал к нему, и стал он моим духовным отцом и руководителем на долгие годы, а потом я принял монашество и был поставлен иеромонахом. Давно хотел, долго готовился, но о. Арсений долго не разрешал и только в позапрошлом году благословил.

Оставил физику и пошел служить в церковь, чем немало удивил своих коллег по институту. Живу сейчас в промышленном городе, церковь небольшая, но верующих много и много настоящих, хороших.

Успокоился, забылся, прошлое сгладилось, но полгода тому назад произошло со мною событие, опять потрясшее и взволновавшее меня.

Пришел домой после обедни. Хозяйка квартирная сказала, что приходил ко мне два раза пожилой мужчина, не назвался, но предупредил, что часа в четыре опять зайдет. Особого значения я этому не придал, однако около четырех часов, действительно, позвонили. Пошел открывать дверь. Вошел человек, на вид лет за пятьдесят, лицо желтое, изможденное, но глаза ясные, поражающие своей особой выразительностью и добротой. Вошел, поздоровался, назвал меня по имени-отчеству. Знаю его хорошо, где-то с ним встречался, но вспомнить не могу. Смотрю на него удивленно, вероятно, он это заметил. Спросил: "Не узнали?" — и сразу же после этих слов узнал я в вошедшем Бориса — мужа Людмилы.

Без всякого предисловия стал рассказывать: "Приехал рассказать о детях, отчет Вам дать. Рак у меня, две операции перенес, сейчас химиотерапией залечили. Пожелтел весь, а состояние здоровья не лучше. Проживу в лучшем случае два месяца. Ну, это для начала. За помощь спасибо, много семье

дала. Помогали много. Жене не говорил, как просили, но догадывалась, Вас хорошо знала.

Сыновья Ваши уже имеют детей. Хорошими людьми воспитала их Людмила. Оба кончили институт, инженеры. Дочь наша Нина на первом курсе. Бог милостив, воспитали детей верующими. Людмила раньше не верила в Бога, но после Вашего от нас ухода сильно изменилась в этом отношении.

Приехал отчет дать Вам. Откровенно скажу, следил за Вашей жизнью, не упускал из виду. Считал недопустимым, потому что судьбы наши переплелись. Сложно, мучительно связаны. Знаю, тяжело переносили Вы случившееся, но и на нас с Людмилой оставило это глубокий след. Людмила любила и любит Вас, хотя и не знает, где сейчас Вы. Уход Ваш еще больше приблизил ее к Вам. Принеся себя в жертву семье, подчеркнули Вы силу любви своей.

Переживал я очень ее любовь к Вам, но было бы неправдой сказать, что она меня уже не любила. Сколько лет мы с ней после случившегося прожили, и никогда не была она холодна или равнодушна ко мне, никогда не сказала мне слова осуждения. Бывало, проснешься ночью, она не спит или делает вид, что спит. Знаю — мысли о Вас". И стал мне подробно рассказывать о детях и жизни семьи и в конце сказал: "Время жизни моей ушло, остались считанные дни, у Вас в церкви, вероятно, есть второй священник, попросите его исповедовать меня. Помогите мне".

Смотрел я на Бориса и думал, что жизнь его после моего появления была трудной, мучительной, полной сомнений, тревог, и тем не менее он с Людмилой смог воспитать детей, укрепить веру свою, сделать Людмилу верующей. Его жизнь по сравнению с моей была сложнее и труднее, была подвигом. Прожил он у меня три дня.

Исповедовал и причастил его наш настоятель о.Андрей. Помню, сказал он мне: "Хорошего человека встретил. Хороший Ваш знакомый Борис. Редкостный".

В момент рассказа о.Матвеем своей жизни присутствовал о. Арсений, он внимательно слушал, хотя я и знала, что о.Матвей все уже давно рассказал ему. Прожив несколько дней, о.Матвей уехал, больше мне не пришлось его видеть, помню только, что месяцев через пять о. Арсений сказал: "Помните о.Матвея, письмо от него получил. Жизнь его трудная, сложная, но сумел он с помощью Господа найти единственное правильное решение. Да хранит его Бог".

Рассказ о.Матвея произвел на меня очень сильное впечатление и запомнился на всю жизнь.

ОТЕЦ ПЛАТОН СКОРИНО

"В старинном патериконе прочел я когда-то сказанное святыми отцами о том, что Господь предоставляет каждому человеку возможность оглянуться на пройденный жизненный путь, осмыслить его и определить свое отношение к Богу и сделать шаг к познанию Господа или оттолкнуться от Него. В жизни постоянно происходят события, которые дают возможность всем ощутить и осознать Бога и прийти к нему. Право выбора принадлежит человеку. Господь, создавая вокруг человека цепь определенных событий, хочет помочь мечущейся человеческой душе прийти к Нему, и вина наша, если мы оттолкнем путь к спасению. В моей жизни было несколько таких переломных моментов, когда мне предоставлялась возможность решать — куда идти? Дважды (так кажется мне) оттолкнул я протянутую мне нить Истины, но Господь был милостив и еще и еще раз выводил меня на дорогу веры. Благодаря милости этой, стал я верующим, христианином, а потом и иереем.

На пути к вере встречал я людей замечательных, истинных помощников Бога, которые много помогли мне, многому научили и примером своей жизни показали, что такое христианин". Так говорил мне о.Платон, временами замолкая, задумываясь и потом опять продолжая рассказ.

Высокий, крепко сложенный, с открытым, типично русским красивым лицом, серыми глазами, в которых жило упорство, сжатыми губами, он производил впечатление волевого человека, готового преодолеть любое препятствие. И в то же время лицо его было необычайно добрым, и в глазах, казалось, сейчас же отражалось все, происходящее вокруг. Отражалось непосредственно. Я почему-то решила, что такой человек, как о.Платон, если нужно, положит за друзей жизнь, но в ярости, вероятно, страшен, коли до этого дойдет дело. Мысли мои пролетали мгновенно, а о.Платон продолжал начатый разговор.

"Скажу Вам! Рассказывать получается вроде бы сложно, а в жизни куда все проще складывается. Ленинградский я, из детского дома. Кончил семилетку и пошел работать слесарем на оборонный завод, поэтому и в армию не взяли в мирное время. В партию не успел вступить — двадцать третий год только пошел, когда война началась, но всегда был в активе — в школе, в пионерах, в комсомоле. В танцах, массовках, вылазках и во всем прочем старался быть первым. Сейчас уже скрывать нечего, за девушками много ухаживал, да и меня они не забывали. Модно было в те времена заниматься

антирелигиозной пропагандой, ну и я тут был не из последних.

В сорок первом году, как война грянула, я сразу же добровольцем пошел. Сильный, здоровый — назначили меня в разведку. Целый год воевал благополучно, ни ранения, ни царапины серьезной. Тогда думал — везло. Убило командира у нас снарядом, назначили нового лейтенанта. Увидели мы в нем этакого интеллигента, чистоплюя, или, как тогда говорили, "из чистеньких". Невысокий, худощавый, щупленький, разговор ведет культурно, без ругательств. Задание дает, словно чертеж выписывает, точно, ясно, требовательно. Нам-то, обстрелянным солдатам, показался он хлипким, несерьезным. Сидя-то в блиндаже, каждый распоряжаться может, а как в разведке себя покажет? Но удивил он нас в первый же выход на разведку. Про хорошего солдата говорят: не "воевал", а "работал". Лейтенант наш именно работал, как артист. Бесстрашен, осторожен, аккуратен. Ходит, как кошка, ползет по земле, словно змея. Солдат бережет, сам за других не прячется, а старается, где надо, первым идти. Недели через три пошли мы в дальнюю разведку по немецким тылам. Трудный, опасный поход. Обыкновенно уйдут группой человек шесть—десять, данные по рации сообщают, но в большинстве случаев не возвращались — гибли. Вышло нас с лейтенантом восемь человек, прошли линию фронта — двоих потеряли. Оторвались от немцев, вошли в тыл к ним, благо местность лесистая, и стали вести разведку. Ходили шесть дней, каждый день сведения по рации передавали, но потеряли в стычках с немцами еще троих. Осталось нас трое: лейтенант Александр Андреевич Каменев, сержант Серегин и я. Получили приказ идти к своим. Легко сказать, идти назад. Немцы нас ищут, ловят. Они ведь тоже не промах. Пробрались мы к переднему краю, дождались ночи, залегли, изучаем обстановку. Где перейти? Выползли на нейтральную полосу, тут-то нас немцы и обнаружили. Залегли мы в воронку. Начали немцы артиллерийский обстрел полосы, повесили над головами осветительные ракеты и поливают пулеметным огнем. Тут-то меня и контузило. Серегин незаметно ухитрился из воронки уползти к нашим, а я с лейтенантом остались. Я почти все время терял сознание, лейтенанта легко ранило в ногу. Пришел я на мгновение в себя и подумал — уползет он, как Серегин. Понимаю, что выхода у него другого нет. Расстелил он плащпалатку, меня на нее затолкал — неудобно все это делать, воронка неглубокая. Сам распластался и, как только стало меньше света, потащил меня. Я ему говорю: "Брось — оба погибнем. Где тебе, я тяжелый, а ты вон какой маленький". "Ничего, Бог поможет", — а тащить надо метров двести. Немцы заметили движение, усилили обстрел

из орудий. Осколки, как горох, кругом сыпятся. Пулеметные очереди к земле прижимают, земля фонтанчиками от пуль вздымается. Впал я в беспамятство, временами приходя в себя, слышу сквозь какой-то туман взрывы и чувствую, что волокут меня по земле. К своим ли, к немцам ли? Ребята потом рассказывали, что никто понять не мог, как меня, такого здорового, щупленький лейтенант доволок. Разговору об этом в части было много. Лейтенанта и меня за успешную разведку наградили орденами Красного Знамени. Отлежался я и опять в разведку. Смотрю на лейтенанта влюбленными глазами. Стал благодарить его, а он с улыбкой ответил: "Видишь, Платон, Бог-то нам помог!". Мне его ответ шуткой показался. Стояли мы тогда в обороне, силы накапливали всем фронтом. Послали нас опять по тылам. Немцы стали очень осторожны, кого ни посылали, все гибли. Знаем, что идем на верную смерть, но приказ есть приказ, надо идти. Вышло нас шесть человек, и, забегая вперед, скажу, все шесть и вернулись. В дивизии все этому удивлялись, а сведения, добытые нами, оказались крайне важными, а притащенный нами "язык" — немецкий лейтенант сообщил что-то очень нужное. Для меня этот поход оказался исключительным, так как это в какой-то степени было началом моей новой жизни. Это была та ступень, с высоты которой я должен был осмыслить, что живу не так, как надо. Забрались мы в этом разведпоиске километров за 30 от фронта. Добрались до какого-то села. Подошли, на окраине церковь стоит, почти у самого леса.

Четверо солдат пошли на разведку к селу, а я с лейтенантом к церкви. Тихо, тихо кругом, луна неярко светила, и крест с куполом от этого сверкал серебристо-синеватым светом, и мне подумалось, что нет и не должно быть сейчас никакой войны, где люди режут друг друга. Но автомат висел на шее, сбоку на спине армейский кинжал, сзади автоматные диски, и со всех сторон окружала притаившаяся смерть. Лейтенант пошел к церкви, прячась за деревьями, а я стал обходить погост, но не дошел и вернулся назад. Смотрю, стоит лейтенант у дерева, смотрит на церковь и крестится. Голова поднята, крестится медленно и что-то полушепотом произносит. Удивился я этому страшно. Лейтенант образованный, бесстрашный, хороший солдат, и вдруг такая темнота, несознательность. Хрустнул я веткой, подошел и сказал шепотом: "Товарищ лейтенант, а Вы, оказывается, в богов верите". Испуганно повернулся он ко мне, но потом овладел собой и ответил: "Не в богов я верю, а в Бога", — и легла после этого случая между лейтенантом и мною какая-то настороженность и недоверие. Долго рассказывать, но вернулись мы, как я уже говорил, без потерь, но испытали много. Все считали, что нам

везет, а теперь я думаю, что это было Божие произволение. Вернулись, а мне одна мысль все время покоя не дает. Не может настоящий советский человек верить в Бога, тем более образованный, потому что должен был прочесть труды Емельяна Ярославского, Скворцова-Степанова, где с предельной ясностью доказано, что Бога нет, и если кто и верит, то придерживается буржуазных воззрений и тогда является врагом... Думаю, "шкура овечья на волчьем обличье" одета на лейтенанта. Притворяется. Храбрый, это верно, меня спас, поиски были удачные. Камуфляж, маскировка все это, для какого-то большого дела задумана. Враг-то расчетливый, хитрый. Не могу успокоиться. Пошел в "особый отдел". Встретил младшего лейтенанта, доложился по уставу и рассказал о своих сомнениях. Он оживился, обрадовался и сразу же повел меня к своему начальству. Начальник "особого отдела" был у нас майор, латыш, сумрачный и всегда внешне усталый. Выслушал он младшего лейтенанта, тот доказывает, что лейтенант Каменев — затаившийся враг, которого надо обезвредить. Расспросил про лейтенанта, как в разведке себя вел, с солдатами на отдыхе, с кем общается. Подумал немного, недовольно посмотрел на нас, позвонил куда-то, что-то спросил и сказал: "Товарищ младший лейтенант, Вы сегодня с группой разведчиков за линию фронта пойдете, вот там и проверите лейтенанта Каменева, а сейчас можете идти, а ты, Скорино, останься". Младший лейтенант побледнел, изменился в лице, что-то хотел сказать, но майор махнул рукой, и тот вышел. Майор дождался, когда закрылась дверь, посмотрел на меня и сказал: "Слушай, Скорино! Я о делах разведки много знаю, о тебе с лейтенантом тоже, но скажи мне, что у тебя — голова или пустой котелок? — и постучал пальцем по моему лбу. — Дурак ты! Ну что, верующий, крестился на церковь, разве в этом дело? Ты его дела видел, с ним работал? Тебя спас, сведения для командования принес, а им цены нет. Ты же про него говоришь — враг. Я в 41-м году от самой границы шел: отступление видел, окружение, панику, страх, храбрость, истинное бесстрашие, любовь к Родине. Вот когда довелось узнать людей. Все бы так воевали, как лейтенант Каменев. Ты знаешь, он в начале войны обоз раненых из окружения вывел. Раненого генерала с поля боя вынес. Не знаешь, а о людях с кондачка судишь! Сегодня в разведку пойдете, командование решило, вот и посмотри за нашим младшим лейтенантом и твоим Каменевым. Выкинь из головы свою глупость и людям не рассказывай! Шагай да научись лучше людей распознавать. Я в молодости тоже горячку порол и много дров наломал, а теперь часто об этом жалею. Иди!" Удивился я разговору. Пошли ночью в разведку, "языка" брать. Младший лейтенант из "осо-

бого отдела" оказался отчаянным трусом, за нас прятался и никак от земли оторваться не мог, вперед не шел, старался быть сзади, когда к немцам шли. Взяли "языка", потащили. Вырвался младший лейтенант вперед, а тут обстрел начался, он от страха бросился в какую-то яму, побежал во весь рост, тут ему осколком полголовы снесло. Через неделю опять послали нас по тылам немцев. Первую линию обороны прошли благополучно, потом в лесу нарвались на охранение артиллерийской части. Еле ушли. Дошли до условленного места, разошлись надвое, договорились, где встретиться. Лейтенант меня с собой взял. Два дня ходили, больше ночью. Наткнулись на большое танковое соединение, обходили стороной, пытались силы определить, но в конце концов сами с трудом спаслись. Долго уходили, петляли всячески, но ушли. Разыскали в лесу овражек, там листья сухие скопились, забрались в них, лежим. Устали, решили по очереди спать, но ни тому, ни другому не спится. Эх, думаю, была не была, скажу лейтенанту, что был в "особом отделе" и о нем говорил и как сам к вере отношусь. Рассказал, молчит лейтенант, как будто заснул. Потом вдруг спросил: "А ты знаешь, что такое вера?" Не дожидаясь моего ответа, стал говорить. Рассказывает, и стало передо мной открываться что-то новое. Вначале показалось увлекательной, доброй и ласковой сказкой — это о жизни Иисуса Христа говорил, а потом, когда перешел к самому смыслу христианства, потрясло меня. Рассказывал о совершенстве человека, добре, зле, стремлении человека к совершению добра. Объяснил, что такое молитва. Сказал о неверии и антирелигиозной пропаганде. И увидел я религию, веру совершенно не такой, как представлял раньше, не увидел обмана, темноты, лживости. Часа три проговорили мы, пока рассвет не обозначился. Я только спросил его: "А вот про попов говорят, что жулики они и проходимцы, как это с верой совместить?" Ответил лейтенант: "Многое, что про священников говорят, — ложь это, но было много и из них плохих. Ко всякому хорошему делу всегда могут из корысти пристать нечестные и плохие люди". — "Вы не из поповских детей, товарищ лейтенант?" — "Нет, не из поповских, отец врач, мать учительница, оба верующие, и я только верой живу и держусь, а то, что ты в "особый отдел" пошел и обо мне говорил, так это не без воли Божией. Сам услышал, что майор тебе про людей говорил. Там тоже люди есть, и неплохие". Крепко в душу запал мне этот разговор. Пришли на сборный пункт. Двое раньше нас пришли. Передали по рации донесение и повернули к своим. Два дня еще ходили, пробирались к линии фронта, кругом немецкие части. Разбили немцы нашу группу. Лейтенант да я остались нераненными, остальные полегли. Даже сейчас трудно понять, как к своим попали.

Привязался я к лейтенанту, но через месяц перевели его в другую часть на повышение. Началось наступление, ранило меня тяжело. Встреча с лейтенантом Каменевым большой след оставила в моей жизни, заставила задуматься о многом, вероятно, подготовила меня к принятию веры. Хороший он человек был. Отправили меня в тыл. Попал в госпиталь под Вятку — в Киров. Пролежал пять месяцев и два еще в санатории. Рана моя гноилась, началось заражение крови. Лечение не помогало, дальше — больше, и увидел я по лицам врачей, что не выкарабкаться мне, а тут еще в отдельную палату положили, значит, безнадежен. Ждут, когда умру. Жить, конечно, хотелось, но устал я от болей, лечения и ожидания чего-то страшного, неизвестного и давящего. Не смерти боялся, а чего-то другого.

Была у нас в госпитале сестра Марина, худенькая, небольшая девушка с карими глазами. Веселая, добрая и удивительно внимательная ко всем раненым. Любили мы ее за чуткость и безотказность помочь нам. Бывало, все выздоравливающие влюблялись в нее по очереди, но она со всеми была одинаково хороша и поклонников держала на расстоянии.

Перевели меня в "отходную" палату, сознание временами теряю надолго, а то впадаю в забытье. Придешь в себя и видишь, что Марина то тебе укол какой-то делает, то лицо от пота протирает, то белье меняет. Лежу я как-то с закрытыми глазами, входит главный врач с группой врачей, обход делает. Палатный докладывает историю и в конце говорит: "Безнадежен, начался общий сепсис".

Главный врач осмотрел и тоже сказал: "Безнадежен".

Я лежу в полудреме, но все слышу и понимаю. Не знаю, днем или ночью, вероятно, ночью, пришел в сознание и чувствую, стоит около меня Марина, полушепотом что-то читает и протирает мне лоб водой. Вслушался в слова и понял — молится она о моем выздоровлении. Открыл глаза, а она мне говорит: "Ничего, ничего, Платон, все пройдет", — и дала мне выпить воды. Потом я узнал, что вода была святая. Марина продолжала молиться. И так длилось недели две. Принесет в пузырьке святую воду или кусочек просфоры, и мне каждый день дает их, и все молится и молится, как только около меня окажется. Ко мне приходила даже в те дни, когда ее дежурств не было. Выходила и вымолила она меня у Бога.

Когда поправляться начал, много мне о вере говорила, молитвам научила. Ушел я из госпиталя по-настоящему верующим. Она да лейтенант Каменев жизнь мою перевернули полностью.

Любил я Марину, словно мать родную, хотя она моих лет была. Главный врач, направляя меня в санаторий, сказал: "Мы Вас с того света вытащили, но без сестры Марины и

наша помощь не помогла бы. Выходила она Вас, в ноги ей поклонитесь".

Но я-то уже знал, Кто мне вместе с Мариной помог, и дал себе слово, если жить останусь, то, как война кончится, пойду в священники. Сказал об этом Марине.

Отгремела война, демобилизовался я из-под Берлина и приехал в свой Ленинград и, прямо сказать, с ходу в семинарию. Пришел, документы взяли, посмотрели и вернули. Я туда, я сюда — почему-то не принимают. Наконец отдал, и вдруг вызывают в военкомат, да и в другие учреждения вызывали. Стыдят, смеются, уговаривают. "Слушай, Скорино! Ты с ума сошел! Кавалер полного набора орденов "Славы", других куча, звание старший лейтенант, а ты в попы. Армию порочишь!"

Поступил все-таки. Нелегко учение мне давалось, знаний мало, образование — только семилетка, да и ту давно кончил. Очень трудно было. Да иногда и нарочно кое-кто мешал. Кончил семинарию, захотел в монахи, но тут меня в семинарии на смех подняли: "Куда ты, такой здоровый и во многом еще неопытный, и в монахи, женись, священником будешь". Откровенно говоря, правы мои наставники оказались — не годился я, конечно, для монашеской жизни, да и где мог к ней готовиться?

Жениться надо, а я учусь в семинарии. Никуда не ходил и ни одну девушку не знаю. Назначение дают мне под Иркутск, а я еще не иерей. Надо невесту искать. Раньше, до войны, много знакомых в городе было, а за эти годы растерял, а учась в семинарии, женщинами не интересовался и о женитьбе не думал, хотя и знал, что для священника это необходимо. Где невесту искать? Пошел в храм и стал молиться, помощи у Господа просить. Долго молился, вышел на улицу, смотрю — на одной ноге кто-то ковыляет, обгоняю, а это бывший капитан из нашего полка.

Забыл сказать, войну-то я закончил старшим лейтенантом, а начал солдатом. Я к капитану бросился. Обрадовались. Он меня к себе пригласил. Разговорились про дела минувших дней, про сегодняшние житейские. Капитан балагур, весельчак, человек добрый, гостеприимный. Рассказываю, что семинарию кончил, должен быть священником, но жениться надо, а остальное за шутку принял.

"Есть невеста! — кричит. — Нинка, моя двоюродная". Познакомился я с ней дня через два, понравилась и, кажется, я ей. Решил жениться, сделал через несколько дней предложение, о себе рассказал. Вначале, что я в священники готовлюсь, тоже не поверила, потом задумалась и дала согласие, только сказала: "Платон! А я-то неверующая". Ну, думал, неверующая, а каким я раньше был!

Пошел в семинарию, рассказал. Выслушали не очень внимательно и благословили. Женился недели через две, посвятили в диаконы, потом священником. Уезжать надо. Нина мне говорит: "Ты, Платон, поезжай, а мне еще полтора года нужно, чтобы пищевой институт кончить".

Почему-то это у меня из головы вылетело, знал же, что учится. Надо ехать. Договорились, кончит — приедет. Откровенно сказать, тяжело уезжать было, полюбил я Нину. Верил, что приедет.

Да и о Нине рассказать надо. Роста невысокого, мне чуть выше плеча, худенькая, стройная, глаза большие, серые. Сама красивая-красивая, подвижная, язык острый, за словом в карман не полезет.

Уехал я за Иркутск. Село большое, церковь закрыта за смертью священника. Запущена, частично разрушена. Кое-как навел порядок, две старушки помогали. Начал служить, а народу только три человека. Страшно стало. Где же прихожане? Но решил служить ежедневно. Неделю, месяц, три служу, никто не идет. Впал в отчаяние. Поехал к владыке в город, рассказываю, что служу, а храм пустой. Что делать? Владыка выслушал и благословил служить, сказав: "Господь милостив, все в свое время будет".

Зашел я, уйдя от владыки, в городскую церковь, дождался конца службы и подошел к старому священнику, рассказал ему свои горести. Позвал он меня к себе домой, обласкал и сказал: "Господь призвал Вас на путь иерейства. Он не оставит Вас. Все хорошо будет — прихожане придут и жена приедет. Молитесь больше". Подружился я с отцом Петром, часто приезжал к нему. Многим он меня поддерживал. Духовной жизни был человек.

Прошло полгода, а прихожан только восемь человек, а я все служу. Материально стало трудно, буквально жить не на что. В свободное время стал подрабатывать, то крышу покрою, то сруб поправлю, то где-нибудь слесарной работой займусь. Во время работы с хозяевами поговоришь, им, конечно, интересно с попом разговор затеять. О вере, бывало, начинали спрашивать, я, конечно, рассказывал, стали прислушиваться, в церковь заходить. Сперва просто посмотреть, а потом и молиться.

Работу, конечно, делал честно, аккуратно, не хвалюсь, бывало, сделаешь сам удивишься. Завод ленинградский меня к этому приучил. Заказчиков — хоть отбавляй.

К концу года в храм стало приходить уже человек восемьдесят—девяносто, в основном пожилые, а по второму году и молодежь пошла.

Первое время в селе ко мне относились плохо, идешь по улице, мальчишки кричат: "Идет поп бритый лоб", — а часто просто бранными словами ругали.

Молодежь задирала, смеялись. Придут в церковь, хохочут, мешают службе. Я вежливо их прошу, уйдут ругаясь. Решили, что я безответный. За год жизни в селе избили меня очень сильно молодые ребята, шел я вечером, вот и напали. Они бьют, я только прошу — не надо, а им смех бить попа.

Очень трудно было. Без Нины беспрерывно скучал, но наконец приехала. Рад был очень, а она сперва приуныла, не представляла своей жизни в деревне со священником. У Нины диплом инженера, устроилась мастером на большой молочный завод в нашем селе. Взяли охотно, хотя и придирались потом, что жена попа. Знающая, работящая, она во всем показывала пример.

Однажды шли мы с Ниной вечером, напали на нас четверо подвыпивших ребят, меня трое бить начали, а четвертый пристал к Нине. Я прошу их оставить, Нина кричит: "Спасите", — а ребята бьют меня, а там жену на землю валят. Двое каких-то ребят в сторонке стоят.

Эх! Думаю, о.Платон! Ты же разведчиком был, в специальной школе учился разным приемам, да и силушкой тебя Бог не обидел. Развернулся вовсю. Простите за слова фронтовые, не священнику их говорить, но "дал я им прикурить". Кого через голову, кого в солнечное сплетение, а третьего ребром ладони по шее, а потом бросился к тому, который на Нину напал. Разъярился до предела, избил четвертого парня и в кусты кинул. Нина стоит, понять ничего не может. Двое ребят, что в стороне стояли, бросились было своим помогать, но когда я одному наподдал, убежали. Собрал я побитых ребят, да здорово еще им дал. Главное, все неожиданно для них получилось, не ждали отпора, думали — тюфяк поп, безответный. Собрал и решил проучить. Стыдно теперь вспомнить, но заставил их метров пятьдесят ползти на карачках. Ползли, пытались сопротивляться, я им еще выдал. Нинка моя хохочет: "Не знала, что ты, Платон, такой! Не знала!" Злой я тогда очень был.

После этого случая относиться ко мне стали лучше, а ребята, которых я побил, как-то подошли ко мне и сказали: "Мы, тов. Платон, не знали, что Вы спортсмен, а думали, что только некультурный поп". Одного парня я года через два венчал, а у другого дочь крестил.

Понимаю! Осудите Вы меня за эту драку, не иерею это делать, но выхода не было. Если бы один шел, а то с женой. Потом ездил, владыке рассказывал, он очень смеялся и сказал: "В данном случае правильно поступил, а вообще силушку не применяй. Господь простит!"

Несколько лет в селе прожили. В 1955 г. девятого мая отмечали десятилетие Победы над Германией. Председатель колхоза и председатель сельсовета были старые солдаты. Объявили — будет торжественное собрание в клубе. Приглашаются все бывшие фронтовики и обязательно с орденами.

Нина говорит мне: "Ты, Платон, обязательно пойди".

Оделся я в гражданское платье, надел свои ордена и медали, а их у меня много: три ордена Славы всех степеней, еще когда солдатом был, получил, четыре Красной Звезды, орден Ленина, Боевого Красного Знамени, три медали "За отвагу", две "За храбрость" и медных полный набор.

Прихожу в клуб, здороваюсь с председателем колхоза, узнал меня с трудом, смотрит удивленно и спрашивает: "Ордена-то у Вас откуда?"

Отвечаю: "Как откуда? На войне награжден". Куда меня сажать, растерялся. Орденоносцы в президиуме сидят, а у меня орденов больше, чем у других, но я поп. Потом с кем-то посоветовался и говорит: "Товарищ Платонов! Прошу в президиум", — и посадил меня во втором ряду. Надо сказать, меня многие называли товарищ Платонов, принимая имя "о.Платон" за фамилию.

Стали фронтовики выступать с воспоминаниями, я подумал, подумал и тоже выступил. Конечно, понимал, что все это может кончиться для меня большими неприятностями у уполномоченного по делам церкви и у епархиального начальства, но хотелось мне народу показать, что верующие и священники не темные и глупые люди, а действительно верят в Бога, идут к Нему, преодолевая все и не преследуя каких-то корыстных целей.

С председателем колхоза я даже сдружился. После этого случая он относился ко мне хорошо. Рассказывал, что ему и председателю сельсовета нагоняй был от районного начальства, что попа с докладом выпустили. Воспоминания в доклад переделали.

Двенадцать лет прожил я в этом селе. Господь по великой милости Своей не оставлял меня с Ниной. Последние годы храм всегда был полон народу, относились ко мне хорошо, и власти особенно не притесняли.

Нина моя, конечно, не сразу к церкви пришла, но теперь, по-моему, куда больше меня в вере преуспела. Верит истинно, службу прекрасно знает и во всех церковных вопросах моя опора и помощник.

Сейчас в город перевели, там и служу. Трудно мне среди городских, но привыкаю.

Вот, кажется, и все главное о моей жизни и о том, какими путями шел я к Богу.

Простите! Вспомнил сейчас, как в первый раз услышал о Боге от верующего человека. Поразила меня эта встреча, заставила задуматься. Прочертила, конечно, какой-то след в моей душе, временами приходила на память, но было мне тогда 14 лет и жил я тогда в детском доме.

Был у нас преподаватель обществоведения Натан Аронович, фамилию забыл. Любили мы его. Вечера устраивал, диспуты, доклады, водил нас по музеям, руководил кружком антирелигиозной пропаганды, вечно был с нами.

Поступил в детдом парнишка лет 14-ти, Вовка Балашов, видимо, из интеллигентной семьи. Молчаливый, замкнутый. Учился хорошо. Пробыл у нас полгода, и кто-то из ребят заметил, что Вовка крестится. Дошло до преподавателей. Не знаю, о чем они говорили, но были тогда в моде в школах литературные суды над Чацким, Онегиным, Татьяной Лариной, Базаровым и другими героями произведений, которые мы тогда проходили. Обычно суд происходил в зале. Был председатель, обвинитель, защитник и обвиняемый — судимый литературный герой. Преподаватель всегда сидел в стороне и почти в "ход суда" не вмешивался.

Натан Аронович решил устроить показательный суд над Иисусом Христом и христианством. Обвиняемым решили сделать Вовку Балашова, одели его в простыню, чтобы он походил на Христа. С нами Натан Аронович целую подготовку провел по осуждению Христа и веры. Обвинитель — Юрка Шкурин, защитник — Зина Фомина, председатель Коля Островский, человек семь свидетелей и два класса публики — 7"А" и 7"Б".

Мы все страшно заинтересовались, готовились дней десять втайне от Вовки, но тем временем стали звать его "Христосик". За день до суда Вовке сказали, что он будет обвиняемым и изображать Христа. Вовка стал отказываться, протестовал, но его не слушали. Потом мы узнали, что многие преподаватели возражали, но Натан Аронович настоял. Мы видели, что Балашов за какой-то один день осунулся и издергался.

Собрался суд! Председатель Коля Островский открыл заседание. Балашов простыню не надел, стоит бледный, ни кровинки в лице. Девчонки его жалеют, нам, зрителям, тоже как-то не по себе. Председатель спрашивает Вовку: "Признаете себя виновным?" Надо было ответить: "Не признаю", и тогда заседание превращалось в спор нескольких сторон. В какой-то степени это было интересно. Спорили, обсуждали, доказывали, читали отрывки из произведений, цитаты — в результате чего облик "судимого" литературного героя обрисовывался более полно, лучше усваивалось произведение. Вся суть суда заключалась в споре, а Вовка Балашов

взял да и ответил: "Я верующий! Суда не признаю, у каждого есть своя свободная совесть", — и сел.

Начали допрос. Вовка молчит.

Суд растерялся, заведенный порядок нарушился. Натан Аронович сделал знак председателю, чтобы речь начал прокурор. Юрка Шкурин встал и закатил речь: "Пережитки капитализма, кулаки, попы, мощи", — и закончил опять пережитками капитализма. Хорошо говорил, мы аплодировали. Защитник Нина Фомина тоже долго говорила. Отметила пережитки прошлого, низкую культуру обвиняемого, влияние среды и прочее, и прочее. Вообще ее речь получилась большим обвинением, чем Юрки Шкурина. Мы опять аплодируем. Потом стали вызывать свидетелей. Каждый из них приводил цитаты из антирелигиозных книжек, журналов и даже кто-то показал карикатуру на Христа из журнала "Крокодил". Всем было весело и интересно. Председатель вдруг обнаружил, что речи прокурора и защитника должны были быть произнесены после вызова свидетелей, но, увидя, что ничего уже сделать нельзя и довольный ходом суда, предложил последнее слово обвиняемому Балашову.

Натан Аронович сидел довольный и по своей всегдашней привычке, когда был в хорошем настроении, потирал руки.

Думали мы все, что Вовка после всего сказанного откажется от последнего слова, а он встал и заговорил. Словно тяжесть с себя сбросил какую-то, выпрямился и стал даже выше ростом. Заговорил, и мы, что называется, рты раскрыли. Говорит о добре и зле, о чем Иисус Христос учил, почему он верит в Бога, что мы все бедные, жалкие, потому что не верим, что душа и ум наш от этого пусты. Он никогда не бывает один, с ним всегда Бог, "на Которого у него надежда, и в Котором сила".

Говорит, голос дрожит, вот-вот расплачется.

Натан Аронович делает председателю знак, чтобы он заставил Вовку Балашова замолчать, а тот не хочет прерывать Балашова. Вовка закончил словами: "Да, я верующий, и это мое дело. Судить меня никто не имеет права. У каждого человека есть совесть, она свободна, и другие люди не должны навязывать свои взгляды. Я верю в Бога и рад этому", — и остался стоять.

Говорил хорошо, захватил всех сидящих в зале. Мы ему устроили овацию. Никто из нас не думал, что молчаливый и застенчивый Вовка Балашов так мог говорить, откуда слова брал.

Прокурор, защитник, суд растерялись. Ребята народ честный, поняли Вовку, поняли, что мы не имеем права судить человека за его убеждения, да, кроме того, очень искренней и непосредственной была его речь, не вымученной.

Натан Аронович вскочил и крикнул председателю: "Зачитывайте приговор!" — а Коля Островский смущенно ответил: "Он же не виновен". И в воздухе повис вопрос: "Кто не виновен? Христос или Балашов?" — и как-то получилось так, что никто не виноват.

Натан Аронович передернулся, лицо пошло пятнами, голос сорвался, и он почти прошипел: "Довольно комедию разводить, нет никакого Христа, христианство — неудачное извращение иудейской религии. Это выдумки. Бога нет. Балашов нес вредный бред. Читайте приговор!"

Председатель Коля Островский посоветовался с "заседателями" и объявил: "Суд решения, ввиду непонятных обстоятельств, не принял".

Расходились мы с заседания суда с тяжелым сердцем, невеселые. Потом были долгие споры, но что-то задело внутри у каждого из нас.

Недели через две Балашова перевели, по настоянию Натана Ароновича, в детский дом трудновоспитуемых ребят, а любимый преподаватель Натан Аронович потерял нашу любовь, и мы не тянулись больше к нему.

Оглядываясь назад, вижу, что Господь многими путями вел меня к Себе. Лейтенант Каменев, сестра Марина, Вовка Балашов, учеба в семинарии, женитьба на Нине, трудная вначале жизнь в селе священником, служба в разведке и многое, многое другое, что я не рассказал Вам, были теми ступенями, по которым вел меня Господь".

Спросила я о.Платона: "Как Вы узнали о. Арсения?"

"В храме, где я служу теперь, есть у меня духовный сын, хороший знакомый и друг о. Арсения, вот и попросил он у него разрешения приехать мне сюда. Вот и приехал. Благодарю за зто Бога. Всю жизнь свою в его руки отдал, уезжаю прямо-таки обновленным.

Приеду домой — Нину сюда направлю. О.Арсений сказал, чтобы приехала".

МАТЬ МАРИЯ

1967 г.

Долгие годы прожитой жизни со всеми ее радостями, тревогами, трудностями и горем превращаются в конце концов в воспоминания, которые человек несет в себе. Яркие и светлые воспоминания озаряют дальнейшую жизнь, ведут к совершенствованию души, а если они темны и отвратительны, то их стараются забыть, но Память не позволяет этого, и

тогда воспоминания преследуют, давят и терзают человека. Прошедшая жизнь всегда воплощается в воспоминания.

Я хочу рассказать о людях, жизнь которых не ушедшее прошлое, а подлинная, настоящая жизнь сегодняшнего дня, хотя это возникает из воспоминаний. Истинная любовь обогащает человека, несет ему счастье и постоянно возрождается в новых и новых людях, но есть сила большая, чем любовь, это самоотречение от себя ради людей, это совершение добра, беспредельная вера в Бога, молитва и помощь своим ближним.

Такими людьми были о. Арсений и мать Мария, и я хочу рассказать о них, потому что Вы должны знать тех, кто помогал окружающим, облегчал им страдания, наставлял и вел к Богу, и я уверен, что многие, кто прочтет об о. Арсении и м.Марии, об их делах и поступках, будут черпать оттуда новые силы и находить правильный путь. Поэтому рассказ об о. Арсении и м.Марии не воспоминание, а настоящая жизнь, тот живительный источник, дающий возможность верить и обретать силы.

Для этого рассказа мною использованы записки, которые я вел почти ежедневно. Конечно, в этих записках много субъективного, личного, написанного под влиянием тогдашнего настроения. Перекладывая записи в рассказ, я пытался в какой-то мере освободиться от этого личного, наносного, но, вероятно, это мне не всегда удавалось.

...На отпуск я тогда приехал к о. Арсению. Городок, где он жил, я любил и каждый день путешествовал по его улицам старинным, полуразрушенным монастырям и храмам. То посещал конец IV века, то попадал в пышный, парадный XVIII век, то в полуказенный XIX-й. Довольно быстро подружился с работниками музеев, и для меня часто открывались такие красоты и тайны старины, которые вряд ли могли узнать приезжие или жители этого старинного городка.

Мои 27 лет позволяли мне совершать многокилометровые прогулки по окрестностям, а вечерами, когда о. Арсений бывал свободен, я молился с ним, говорил или присутствовал при разговорах с другими людьми, неизменно получая каждый раз новые знания духовной жизни, людей и веры. Уходя от него, чувствовал я себя духовно обогащенным.

В этот день утром я совершил большой поход в монастырь, построенный в XVI веке. Многое сохранилось, но сильно обветшало. Особенно прекрасен был собор, в котором даже сохранился иконостас XVII века. Пришел усталый, отдохнул около двух часов, а вечером около восьми приехала к о. Арсению из Москвы незнакомая девушка с запиской. Прочтя записку, о. Арсений сказал мне: "Утром поедем в Москву.

Пишет Евдокия Ивановна, тяжело заболела одна знакомая ей монахиня Мария. Выехать придется в пять утра, с первым поездом. Прошу тебя взять три билета и поехать со мной. Пробудем в Москве дня четыре", — и стал разговаривать с приезжей.

Не успев рассмотреть гостью, я пошел собрать кое-какие вещи для о. Арсения и себя. Уложив вещи в портфель с помощью Надежды Петровны, хозяйки дома, где жил о. Арсений, я вернулся в комнату, но его там уже не было.

Гостья ходила по комнате, рассматривала книги на столе, в шкафах, картины, иконы, висевшие в углу, вещи. Рассматривала довольно бесцеремонно и, видя, что я вошел, не обратила на меня внимания, продолжая так же все разглядывать. Осмотрев и сев в кресло, сказала, обращаясь ко мне: "Никогда не думала, что современного священника может интересовать искусство, медицина, философия, марксизм. Я думала, что в основном священники знают только богослужение, Евангелие, Библию. Удивляюсь Вашему Петру Андреевичу, — и внимательно оглядев меня с ног до головы, насмешливо спросила: — Скажите! Вы тоже из этих, как Петр Андреевич?"

Тон ее разговора, бесцеремонность необычайно задели меня, мне стало больно за о. Арсения, и я вызывающе сказал: "Да, из этих! Но прежде чем говорить об о. Арсении в таком тоне, взгляните на книги, написанные им".

"Книги?" — удивленно повторила она. Открыв шкаф, я показал несколько книг, написанных им. Взяв одну из них в руки и задумчиво перелистывая страницы, останавливаясь и временами читая, девушка, как бы забыв про меня, произнесла: "Ученый и священник! Странное сочетание. Жизнь идет вперед, материализм охватил почти полмира, наука вошла в обиход и сознание человека, знания необозримы, написаны тысячи книг, опровергающих веру, а она живет... Верят ученые, писатели, знаменитые художники, врачи, педагоги, верят миллионы высокообразованных людей на Западе, и в то же время наши церкви полны почти одними старухами, которые, когда я бывала девочкой в церкви, страшно раздражали меня своими поучениями и советами". И, как бы отвечая на что-то себе, сказала: "Много написано, но никто еще не доказал, что нет Бога, — и, обратившись ко мне, продолжила: — "Знаете, я много прочла атеистических книг, но у меня создалось впечатление, что в них не столько доказывают, опорочивают религию или спорят с Богом, стараясь доказать Ему, что Его нет. Моя бабушка Катя верит беспредельно, и если бы Вы знали, что это за человек, она лучше всех и даже моей мамы и отца. Были бы все такие верующие". И неожиданно спросила меня: "Ну! А Вы как думаете о Боге?"

Я собрался ответить, но увидел стоящего в дверях о. Арсения. С доброй улыбкой смотрел он на свою гостью, и столько было тепла и приветливости в его взгляде, что я решил: отвечать не надо.

"Приготовился?" — спросил он меня.

"Да, завтра пойду к четырем утра на вокзал и возьму билеты, а Вас попрошу к пяти часам прямо к поезду", — ответил я.

В вагоне ехали молча. О.Арсений сосредоточенно смотрел в окно. Мимо проходили леса, поля, пролетали станции, переезды, какие-то здания, шли по тропинкам люди, а он, отдалившись от всего, молился.

Девушка, которую звали Татьяной, читала медицинский учебник, а я пытался вчитываться в какую-то повесть. Ехали несколько часов. Два или три раза о. Арсений наклонялся к нашей спутнице и что-то спрашивал.

Москва встретила нас шумом, и было видно, что о. Арсений, привыкший к тихой жизни старинного русского городка, как-то терялся и чувствовал себя неуверенно. Садясь в такси, долго не мог закрыть дверь, растерянно смотрел на проносившиеся мимо автобусы, троллейбусы, трамваи, автомашины, толпы народа, двигающиеся по тротуарам. Высокий современный дом встретил нас криками детей, разговорами репродукторов, бросавших из окон то музыку, то слова песен, запахом лестничных клеток, хлопаньем дверей лифтов, дробным стуком каблучных "шпилек" об асфальт, торопливостью прохожих, пронизывающими взглядами пенсионеров, сидевших на лавочках около подъездов.

В квартире стояла тишина, потоки солнца врывались в окна. С дороги вымыли руки. Таня, зайдя к бабушке, что-то сказала и стала поить нас чаем. Я отказывался, а о. Арсений молчал. Татьяна решительно ставила чашки, резала хлеб, сыр, какую-то рыбу. Минут через пять стол был уставлен, вероятно, всем, что было в доме, а еще через десять мы пили крепкий чай.

Мы вошли. В небольшой комнате на кровати лежала старая женщина, положив руки поверх одеяла, лицо было строгим и скорбным, большие серые глаза смотрели на нас пытливо и в то же время ласково.

"Бабушка, вот я и привезла тебе знакомых Евдокии Ивановны".

"Да, уж давно слышу, давно", — ответила та, которую Татьяна назвала бабушкой.

"Садитесь, батюшка! — обратилась она к о. Арсению. — А ты, шустрый, тоже садись, послушай. Таня пойдет, делами займется".

"Почему она назвала меня шустрым?" — подумал я.

Мы сели. На какие-то мгновения воцарилась тишина. О. Арсений, казалось, во что-то вглядывается, о чем-то сосредоточенно думал.

"Вы-то, батюшка, поближе сядьте, рассказывать о себе сперва буду, чтобы знали жизнь мою, а потом уж и исповедуете. Голос у меня теперь тихий". О. Арсений молча подвинул стул ближе к кровати и опять сосредоточенно всматривался в лицо женщины. Было видно, что он до предела внутренне собрался, и по легкому движению губ я догадался — молится.

В комнате было тихо, странно тихо. Молчал о. Арсений, молчала Мария. Через большое окно, задернутое легкой занавеской, пробивался солнечный свет, на стенах висело несколько литографий с известных картин Нестерова. В углу около кровати, под двумя полотенцами, расшитыми старинной русской вышивкой, висела икона Владимирской Божией Матери. Полотенца были подколоты булавками, было видно, что временами полотенцами иконы завешивали.

Меня поразило лицо лежавшей матери Марии. Когда-то, вероятно, красивое, оно и сейчас, прорезанное сеткой морщин, осталось красивым, но было безмерно усталым и скорбным. Большие серые глаза смотрели на о. Арсения с мольбой и надеждой.

Длинные узкие руки, покрытые тонкой сетью проступающих вен, лежали недвижно, но напряженно, казалось, что вот-вот она обопрется на них и поднимется с подушки. Неподвижность и в то же время напряженность рук придавали им скульптурную окраску. Всматриваясь в руки матери Марии, я невольно представил себе ее характер, и мне вспомнился портрет академика Павлова, написанный Нестеровым, где руки, лежащие на краю стола, напряженные руки мастера-ученого также выражали его характер.

"Благословите, батюшка, инокиню Марию, в миру Екатериной звалась. Расскажу о себе, чтобы знали, кого исповедовать будете. Может, батюшка, это и странно, но отец мой духовный Иоанн сказал мне: "Будешь умирать, расскажи о себе духовнику. Не забудь". Вот исполняю волю его. Вы уж о. Арсений, не обессудьте на меня за это — за рассказ".

Отец Арсений подошел, низко поклонился и как-то по-особому трогательно, любовно благословил лежащую, так же благоговейно и трепетно приняла благословение мать Мария.

"Сиротою я, батюшка, осталась с шести лет. Приютила меня одна бабушка-бобылка. Куски хлеба по деревням собирали, гроши на папертях, тем и жили. Помещица наша, барыня, Елена Петровна, Царство ей Небесное, взяла меня в услужение, а потом, когда к дому привыкла, начала с барышней Наталией Сергеевной играть. Подружкой ее стала. Полюбили мы друг

друга. Барыня Елена Петровна справедливая, добрая была. На ней весь дом держался. Полюбила меня как дочь родную, ласкала, и стала я воспитываться и учиться наравне с барышней. Хорошее время, батюшка, было!

Подросла я, стало 17 лет. Лицом и фигурой Господь не обидел. Бывало, гости меня за барышню принимали. Да Елена Петровна и Наташа за это не обижались. Святые люди, скажу Вам, были.

Сергей Петрович, барин наш, до женщин большой охотник был. Сколько горя и страданий доставлял он Елене Петровне своими увлечениями, а во всем остальном человек был хороший. Царство ему Небесное!

Подросла я, стал меня барин все ласкать, то обнимет, как дочь, то поцелует, а потом стал стараться одну встретить в саду или в комнате. Поняла я, избегала его. Страшно и стыдно было перед барыней и Наташей. Родной меня считают, дочерью, а тут пакость такая и грех ужасный.

С детства я в Бога верила и мечтала в монастырь уйти, даже Елена Петровна, бывало, подсмеивалась и ласково "монашкой" называла. Молилась я всегда подолгу.

Остановит, бывало, меня Сергей Петрович, а я его прошу, умоляю не трогать меня, а он только отвечает: "Дурочка! Счастья своего не видишь".

А раз случилось, барыня и Наташа уехали в гости, Сергей Петрович тоже куда-то поехал, а у меня в этот день голова разболелась, осталась я дома. Сижу у себя в комнате, вдруг барин входит ко мне и прямо с порога взволнованно говорит: "Люблю тебя, Катя! Уедем. Увезу тебя в Петербург, в Париж", — и стал меня обнимать. Толкает, платье, белье рвет, а я отталкиваю его. Богу молюсь, говорю в себе: "Помоги, Господи, защити, Матерь Божия, не остави меня", — а Сергей Петрович совсем обезумел, обнимает меня, платье все порвал, говорит что-то. Отталкиваю, борюсь с ним, вырвалась, упала перед ним на колени, плачу, кричу: "Сергей Петрович! Ничего не хочу, пощадите меня, семью свою не срамите, себя. Грех это, грех страшный. Не губите! В монастырь хочу", — а он еще больше озверел. Зарыдала я в полный голос и кричу: "Матерь Божия! Помоги", — и в в это самое время открылась дверь, ворвалась Елена Петровна и закричала: "Вон из моего дома! Чтобы ноги твоей больше не было".

Вскочила я с колен, словно в беспамятстве, и, как была простоволосая, растерзанная, в порванном платье, бросилась к двери, а Елена Петровна схватила меня и кричит: "Стой, Катя! Стой! Не тебя гоню, а Сергея. Вон из дома", — и выгнала. Около года дома не жил.

Обняла она меня, приласкала, сама расплакалась: "Прости меня, Катя! Усомнилась я в тебе, следить стала, а сейчас, стоя

за дверью, все слышала. Все поняла", — и целует, целует меня, а я рыдаю, остановиться не могу. Святая, праведная женщина была.

Недолго я у них после этого прожила, в монастырь просилась. Отговаривала, не пускала меня Елена Петровна.

Ездил к нам часто один инженер-путеец, сын хорошей подруги Елены Петровны, за мной ухаживал. Уговаривала меня Елена Петровна замуж идти, приданое большое давала, а я все свое. Монастырь да монастырь. Поехала Елена Петровна со мной в монастырь, игуменья у нее там дальней родственницей была. Переговорила, вклад за меня внесла, и стала я послушницей.

Плакали Елена Петровна и Наташа, расставаясь со мной, а про меня и говорить нечего. О Господи! Каких людей посылаешь Ты. Слава Твоя в них.

Хорошо в монастыре было. Многому научилась и многое познала. Много хороших людей встречалось, дали узнать, как к Господу идти. В хору пела, службу изучила, шить научилась, потом все в жизни пригодилось. Недолго в обители побыла — пять лет с небольшим. Пришла в четырнадцатом, а в 1919-м стали молодых послушниц выселять из монастыря. Год еще в деревне на частной квартире была, недалеко монахини жили, их навещала, а потом уехать пришлось. Председатель сельсовета проходу не давал, приставал ко мне.

Уехала под Рязань, в церковь уборщицей. Хороший наставник был отец Иоанн, вел меня по-монастырски. Великой души был человек и молитвенник большой, да недолго я там прожила. Церковь закрыли, а о.Иоанна выслали в Сибирь. Переписывалась с ним. Старенький он, недолго в ссылке прожил. Очень много он мне дал, грешно сказать, но больше, чем в монастыре.

Уехала я под Кострому, знакомая там была, опять при церкви жить стала. Вначале все хорошо было, да о.Герасим, настоятель, вдруг стал очень ласков, а как-то вечером службу кончил, я храм убирала, и вдруг напал на меня, с ног сбил, хотел насилие совершить. Я прошу его оставить меня, отталкиваю, борюсь с ним, а он словно зверь, сквернословит и хочет своего добиться. Ударила я его в лицо больно. Избил меня, живого места не оставил, платье порвал в клочья. Еле вырвалась, убежала, а через два дня меня по его доносу в милицию забрали за злостную агитацию. Три месяца просидела в тюрьме. Помогли люди, и начальник из отдела по-хорошему отнесся. Выпустили.

Уехала. С большим трудом поступила на швейную фабрику, шить-то умела, потом на курсы медицинских сестер устроилась. Кончила, ушла с фабрики в больницу хирургической сестрой. В Москву перебралась, помогла одна монахиня,

она в одной из Градских больниц работала и меня туда устроила. Вот с 24-го года там и работала, на пенсию недавно ушла.

С Еленой Петровной и Наташей все время переписывались. Разбросала их жизнь в разные стороны. Сергей Петрович в 19-м году умер, а Елену Петровну проводила в 27-м на кладбище, приехала в Москву на операцию, у нас в Градской лежала. Года не прожила. Наташа в Москву ко мне часто приезжала, да и я к ней ездила. Тяжело жила, много страдала. Погибла вместе с мужем в 1937-м.

Подружилась я в больнице с врачом, пожилая, душевная. Всю себя больным отдавала, звали ее Верой Андреевной, муж бросил, двое детей осталось: Алексей и Валентина, мать Татьяны, что Вас сюда привезла.

Стали мы с Верой вдвоем детей воспитывать. Трудно было. Бог помог, на ноги поставили, но в 43-м взяли Алешу на фронт, и через три месяца погиб он.

Вера Андреевна на фронте была в госпитале, а я в больнице сестрой. Валентина на фронт рвалась, но потом поступила в медицинский институт, замуж вышла. Первой Ксения родилась, потом Таня, и я стала второй бабушкой.

Вот и жизнь вся моя, батюшка. То в больнице, то дома по хозяйству. Какая уж монахиня? Сами видите! Все житейское, обыденное. Прости меня, Господи! Самое главное-то забыла. В 35-м году сподобил меня Господь стать монахиней, и дали мне при постриге имя Мария. Постриглась тайно, свои-то через несколько лет узнали. Так и жила по-мирски, одно название — монахиня. Сама знаю, грех большой! Не получилось из меня монахини, не получилось! Молиться любила, в церковь стремилась, и ничего не получалось. Дежуришь ночью, только про себя молиться начнешь, звонок, в палату бежишь к больному или сидишь около тяжелобольного, оперированного. В операционной стоишь, все внимание и мысли — не перепутать, не опоздать инструмент подать, а дома готовка, разговоры, дети.

До молитвы и не дойдешь, разве только в дороге, на улице. Бывало, за весь день десяток раз успеешь сказать: "Господи! Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную". Ночью перед сном молиться начнешь, сил нет. Валишься на кровать. И хороших дел сделать не могла, все в житейских хлопотах. На пенсию вышла, молиться много начала, в церковь хожу, а людям помогать сил не стало. Старая я, слабая теперь. Вот и стремилась в монахини и не оправдала обета, мною данного. Великий грех на мне! Великий! Еще когда в обители жила, была несколько раз у одного великой жизни старца, и он, благословляя меня в последний раз, сказал: "Людям добро неси и молись больше, в этом монаха спасение. Долгой,

Екатерина, будет твоя дорога к монашеству. Многие испытания пройдешь, но Господь не оставит тебя. Иди!" То же и о.Иоанн рязанский мне говорил. Не выполнила я их заветов. Грешила много, замуж чуть не вышла, это в 30-м году было, да Господь остановил меня.

Мечтала с малых лет, стремилась к монашеству и после поступления послушницей в монастырь только через 20 с лишним лет стала монахиней, да при этом плохой. Вот, батюшка, жизнь моя! Рассказала по завету духовника, чтобы знали меня доподлинно перед исповедью.

Позвала я Вас, батюшка, с великим трудом и не чаяла, что Вы ко мне приедете. Еще позавчера была в церкви, и силы были, но пришла домой вечером и поняла, что наступил час воли Божией. Говорю Вале и Андрею Федоровичу, что умру во вторник, не верят, смеются. Чудишь, отвечают, бабушка. Благо, сами врачи, все по очереди меня слушали, знакомого вызвали, говорят, сердце внезапно ослабло. Я-то знаю, что уже ничего не поможет. Спасибо, Евдокия Ивановна, дочь Ваша духовная, взяла на себя смелость к Вам с письмом Таню послать. Не блажу я, батюшка, а знаю, что умру. Валентину и Таню в вере воспитывала, да только верят они по-своему, по-интеллигентному. Грех мой, и большой, не сумела дать, что хотела. Спросит с меня за это Господь.

Андрей Фёдорович — добрейшей души человек. Людям много добра несет. Слова против никогда не сказал, но третий десяток с ним живу, а до конца не поняла. Может, и верующий, но очень скрытный. Исповедуйте меня, батюшка, а ты, "шустрый", пойди в комнаты, к Тане."

Отец Арсений во время рассказа Марии был необычно серьезен, сосредоточен, и в то же время, взгляд его был как-то по-особому светел. Когда я встал и уходил, о. Арсений сказал матери Марии: "Милость Господа всегда с нами, и воля Его над нами".

Я вышел и сел в большой комнате у окна. Рассказ матери Марии, откровенно говоря, не произвел на меня какого-то особого впечатления. Жизнь ее показалась обыкновенной, у многих людей жизнь была намного сложнее, мучительней и более подвижнической. Серьезность и какую-то особую взволнованность о. Арсения к рассказу матери Марии я объяснить себе не мог. Жизнь как жизнь.

В кухне чем-то шумела Татьяна. Посидев минут тридцать один, я пошел к ней. В фартуке, чистила она у раковины картофель, на холодильнике лежал учебник, в который она временами заглядывала.

"Ну, наговорились и пришли мешать. Готовлю и учусь, — я повернулся и пошел в комнату. — Да бросьте обижаться, недотрога! Я еще вчера поняла, как Вы обиделись, когда

сказала — Вы тоже из этих? Берите чистилку и принимайтесь за картошку. Есть ведь тоже будете?" — смеясь, сказала она. Я взял чистилку. Татьяна дала фартук и уступила место у раковины, спросив с тревогой в голосе: "Как бабушка?" Я пожал плечами, что я знал? Татьяна, повернувшись ко мне, сказала: "Если бы Вы знали, что это за человек! Как много сделала для бабушки, папы, меня с Ксенией. На ноги нас поставила, воспитала, вся семья на ней все годы держалась. А скольким людям помогала! Скольким!!

Ночами бесплатно дежурила, без просьб, у незнакомых больных, выхаживала их, ходила к другим на дом, помогала и помогала. Не спрашивала: "помочь?", а просто отдавала себя людям без остатка. Ни секунды, ни минуты не жила для себя. Папа скрытный, молчаливый человек, но любит бабушку больше мамы, Ксении, меня, своей матери, и не потому, что она его выходила во время инфаркта. Не потому! Любит и уважает за дела ее и неотказную помощь людям. Скольким людям бабушка принесла добра, и не сосчитать, и все за счет себя, своего здоровья, сил, времени, сна. Подруги мои придут ко мне, разговорятся с бабушкой и потом советоваться ходят, как к любимой матери. Подарок сделает она человеку — и всегда такой, какой ему нужен и приятен. Мы, родные, привыкли к ней и поэтому многого не замечаем, а посторонний человек, соприкасаясь с ней, сразу доброту ее заметит. Не легко ей у нас. Иконы и то не вешает. Не хочет. Папа ей сколько раз говорил: "Вешайте, бабушка, в комнату Вашу никого впускать не будем". Не вешает, стеснить нас боится, отвечает: "В церкви помолюсь, там икон много".

Знаем, переживает, что мы неверующие. Да не так все. Верим, конечно, но не так, как бабушка. Верим по-своему. Рассказывая, Таня плакала, не стесняясь меня. Кончив готовить, перешла в комнату и с нетерпением ждала выхода о. Арсения. Говорила со мной, рассказывая о матери Марии.

Часа через три из комнаты матери Марии вышел о. Арсений и сказал Тане, что бабушка просит ее к себе. Сняв епитрахиль, сел в кресло и погрузился в глубокое раздумье, ничего не замечая вокруг себя. Таня входила, уходила, звонила по телефону, приходил врач, а он сидел, строгий, сосредоточенный, ушедший в себя. Я, чтобы не мешать, вышел на кухню, мне думалось, что о. Арсений молится. После ухода врача и каких-то дел Татьяна пришла на кухню.

"Что сказал батюшка?" — спросила она меня шепотом.

"Не знаю, не спрашивал!" — ответил я так же тихо.

"Врач сказал, что наступила резкая сердечная недостаточность и вообще все очень серьезно. Я тоже бабушку слушала. Звонила папе и маме на работу", — и тихо заплакала, прижавшись головой к краю стола. Три часа тому назад услышан-

ный мною рассказ матери Марии казался мне обыкновенным и простым, жизнь как у многих, но то, что говорила Татьяна, раскрывало человека совершенно по-другому, и жизнь, с которой я столкнулся, стала сейчас невольно частью и моей жизни, и я что-то взял на себя.

Отец Арсений соприкоснулся с бесчисленным множеством людей, принял на себя их страдания, муки, примирил этих людей с жизнью или с наступающей смертью. Он, о. Арсений, всегда помнил этих людей, мучительно переживал за них, старался помочь живущим и молился о живых и мертвых беспрестанно. Я знал, что в лагерях о. Арсений видел и перенес очень много, он встречался с необыкновенными людьми. События, встречи тех лет оставили на нем глубокий след и мне казалось, что теперь ничто не может поразить его. Что же поразило его сейчас?

Пришла мать Татьяны Валентина Ивановна, что-то говорила с Таней, поздоровалась с о. Арсением и мною и ушла в комнату матери Марии. Пришел Андрей Федорович и, поздоровавшись с нами, также прошел к своим. Из комнаты матери Марии донеслась громко сказанная им фраза: "Живем, бабушка Катя!" — и сразу все стихло. Минут через десять вышла Валентина Ивановна и, обратившись к о. Арсению, сказала: "Бабушка вас обоих просит зайти".

"Проститься хочу, о. Арсений, со всеми", — сказала мать Мария. Спокойная и радостная, лучезарная, лежала она на кровати, одетая в черное платье. Прощание было тяжелым для всех домашних. Благословляя, мать Мария каждому громко говорила слова, которые, вероятно, были понятны особенно тем, кому говорились.

Андрей Федорович плакал, плакал по-детски всхлипывая, и никак не мог отойти от м.Марии. Я стоял около о. Арсения. Мать Мария вдруг обратилась ко мне: "Подойди, милый! Простись и ты со мной, не зря ведь приехал. Подойди!"

Благословляя меня, она громко сказала: "Таню мою не забывай и не обижай". Странными и непонятными показались мне тогда эти слова.

Отец Арсений, стоявший в момент прощания в углу комнаты, подошел после меня к матери Марии и трижды благословил ее наперсным крестом, потом низко-низко склонился три раза, почти касаясь головой пола перед ней. Выпрямившись, он остался стоять — прямой, строгий, с просветленными, радостными глазами. Казалось, что он увидел что-то особенное, таинственное, радостное и боится нарушить это великое и увиденное.

...Похороны окончены. Щемящее чувство грусти еще живет во мне. В памяти возникают отдельные слова матери Марии, разговоры, прощание. Растерянные, подавленные

лица родных и сосредоточенное, напряженное лицо о. Арсения. Тягостное расставание с матерью Марией волнует меня и расстраивает, хочется чем-то помочь, отдать часть себя, чтобы им стало лучше, легче, но беспомощен. Грустно, тяжко, больно. Прощаемся. В квартире только родные и Евдокия Ивановна. Валентина Ивановна, прощаясь, подходит под благословение к о. Арсению, Ксения делает это как-то смущенно. Татьяна с широко открытыми глазами подходит к о. Арсению, хватает его за руку, потом обнимает его несколько раз, целует порывисто и смущенно. Лицо о. Арсения озаряется доброй улыбкой, той улыбкой, когда она проходит сквозь грусть раздумий и боли. Андрей Федорович топчется смущенно, не зная, как надо проститься со священником, который понравился ему как человек, сделал у них в доме много доброго и хорошего, и в то же время этого священника надо отблагодарить. Андрей Федорович долго жмет руку о. Арсению, благодарит, зовет заходить и в конце концов пытается дать деньги, как обыкновенно дают за визит докторам, но рука его повисает в пространстве, а о. Арсений обнимает и целует Андрея Федоровича, улыбаясь широко и открыто. Со мной прощаются, как со старым знакомым, и зовут заходить, Татьяна тоже приглашает приходить. Простившись, о. Арсений низко кланяется и обращается ко всем со словами: "Благодарю Вас, что позвали меня и дали возможность увидеть замечательного человека, настоящего подвижника, христианина, приносившего людям только добро и радость. Я многому научился, много узнал прекрасного от матери Марии. Спасибо Вам. Это редкий, исключительный человек".

Еще раз склонившись в глубоком поклоне, спокойный и строгий, о. Арсений вышел. Мы идем втроем: о. Арсений, Евдокия Ивановна и я. О.Арсений молчалив и сосредоточен. "Пройдемся по Москве", — говорит он мне. Я отдаю небольшой портфель с вещами Евдокии Ивановне, она идет домой, а мы по улицам города. Садовое кольцо. Кривые переулки, узкие улицы, темные облупленные дома и новые — высокие, окруженные палисадниками, деревьями, кустами. "Я хочу посмотреть Москву", — говорит о. Арсений. Ловлю такси, едем к Кремлю. Солнечно, немного ветрено, и от этого легко, свободно дышится. Медленно входим через Боровицкие ворота, поднимаемся в гору, идем вдоль стены, огибаем соборы и подходим к колокольне Ивана Великого. Я отстаю, мне кажется, что о. Арсений хочет побыть один. Он идет медленно, оглядывая каждый выступ, каждый завиток в камне, вырубленный многие столетия тому назад.

Успенский собор. Народу сегодня немного. Фрески, иконы, тонкие шнуры заграждений, гробницы, надписи, фрески,

иконы, мощи святителей. В этом соборе все прошлое русского народа. Его вера, величие, чаяния, надежды, потерянные надежды.

Иконы и фрески... Около них подолгу стоит о. Арсений, задумчивый, сосредоточенный и суровый. Стена собора, где лежат святители московские — митрополиты Алексей и Петр.

Отец Арсений медленно подходит, склоняется в трехкратном поясном поклоне, кладет крестное знамение на себя и продолжает еще долго стоять неподвижно. В тот момент, когда он склоняется, метров за шесть от него раздается голос: "Гражданин. Здесь музей и молиться нельзя!" Не оборачиваясь, о. Арсений продолжает по-прежнему стоять там, где несколько столетий назад были погребены святители Москвы.

Медленно обходит собор, долго-долго стоит у иконостаса, вглядываясь в иконы, лики святых. Временами застывает на месте или по нескольку раз возвращается к одной и той же иконе. Переходим в Архангельский собор, идем на Красную площадь к Василию Блаженному, берем такси и едем. О.Арсений называет то одну, то другую улицу, останавливает такси, выходит, осматривает храмы, обходит их. Смотрит подолгу и внимательно.

Их много, открытых или закрытых церквей: маленькая Трифона Мученика, Андроньевский монастырь, Донской.

Таксист спрашивает меня: "Что, дед — турист или ученый?" "Ученый", — отвечаю я.

Едем на три кладбища. О.Арсений минут по тридцать ходит, где-то сперва на Ваганьковском, потом на Введенских горах и Пятницком.

Таксист, молодой парень, нервничает. Я успокаиваю, отвечая: "Расплатимся! Не обидим!"

Возвращаемся в центр. Долго петляем по переулкам бывшей Остоженки-Метростроевской, Пречистенки-Кропоткинской. Останавливаемся около старинных особняков, маленьких деревянных домишек, расположенных в глубине дворов и вот-вот готовых рассыпаться.

Иногда подъезжаем к какому-то месту и видим новый дом, построенный два-три года тому назад, вместо стоявшего и известного ранее о. Арсению. Медленно проезжаем Сивцев Вражек, Молчановку, едем на Таганку, оттуда на Швивую горку и к храму великомученика Никиты, и недалеко от него о. Арсений подходит к старому, облупленному дому и долго стоит около него, всматриваясь в окна, двор, окружающие дома. Издалека мне кажется, что он смахивает с лица набегающие слезы.

Едем в Замоскворечье к Евдокии Ивановне. Уже вечер, почти семь часов. Евдокия Ивановна начинает что-то хлопотать по хозяйству, ставит тарелки, но о. Арсений вдруг встает

и говорит нам: "Я скоро приду!" Пытаюсь пойти с ним, но он не хочет, чтобы я шел, и уходит. Остаемся растерянные и подавленные, полные тревоги за него, и я начинаю перебирать события этих дней: неожиданность поездки в Москву, смерть матери Марии, моя встреча с Татьяной, похороны матери Марии, какое-то углубленно-серьезное состояние о. Арсения, постоянная его озабоченность, поездка по Москве.

Москва! Город его детства, юношества, становление характера, убеждений. Здесь, еще учась на третьем курсе, написал первые статьи и вскоре книги, стал известным ученым. Здесь, в Москве, принял монашество и иерейство, долго служил в церкви, потом уехал в подмосковный город, где создал общину, которую любил и все время поддерживал. Еще в Москве он заложил во многих людях первый камень веры и построил на нём крепкое здание будущей общины.

В новый город приезжали люди из Москвы, и было не трудно сказать, кого было больше в этой общине, московских или местных, конечно же, москвичей.

Он любил новый город, там он возрос духом, но здесь, в Москве, городе его детства и становления, был заложен фундамент веры. Здесь он научился любить людей. Здесь, в Москве. Вот почему так дорога она ему. Вот почему сегодня так взволнованно смотрел о. Арсений отрывки своей жизни, вспоминая дорогое ему прошлое. Но почему он необычно серьезен? Почему?

Сквозь его внешнюю, не свойственную суровость, проглядывала затаенная грусть, видимо, вспоминались давно ушедшие любимые люди. Но еще много осталось в Москве, очень много, тех, кого любил и знал о. Арсений и почему никого не позвал к Евдокии Ивановне или не поехал к своим духовным детям, как делал всегда, приезжая сюда. И опять у меня возникло это "почему?". Но мне ли это знать?

Около девяти часов вечера о. Арсений пришел радостный, оживленно стал рассказывать, как поехал в церковь и встретил там много своих подмосковных знакомых и друзей он никогда не говорил "духовные дети" или "мои духовные дети".

"Увидев меня, поразились, спрашивают, как это я оказался в Москве, да еще в церкви. Вы извините, Евдокия Ивановна, сказал, что остановился у Вас, придут, вероятно", — и действительно, скоро стали раздаваться звонки, и в квартиру набралось человек 16. Многих я знал. Оставшееся время вечера и большую часть ночи о. Арсений исповедовал и говорил с пришедшими. Выехали из Москвы в 11 час. дня. Утром пришло еще несколько человек, а трех или четырех человек о. Арсений сам пригласил по телефону, это были "лагерники", как, смеясь, называли мы между собою духов-

ных детей, друзей и знакомых, долго проживших с о. Арсением в разных лагерях.

Усталый, невыспавшийся, но удивительно радостный, уезжал о. Арсений из Москвы. Провожало его много знакомых, в общем, все, кто успел узнать о его приезде. На вокзале была Татьяна, кто-то сообщил ей об отъезде.

После приезда домой о. Арсений двв дня отдыхал. Входила к нему в комнату только Надежда Петровна, рассказывая нам потом, что он все время служил и молился.

Дней через шесть-семь позвал меня о. Арсений на прогулку. Миновали окраины городка и вышли на берег реки к полям. Проселочная дорога, петляя, врезалась в поле колосящейся ржи. Взлетали птицы, несильный ветер склонял к земле рожь, легко продувал одежду, шевелил волосы. Шли молча, дорога ушла в сторону, и мы, почти касаясь друг друга, пошли по тропинке. Солнце спускалось к горизонту, тени удлинялись, дышалось легко и свободно.

Весь уйдя в себя, отдалившись от окружающего, безучастно скользя взглядом по тихо колеблющейся ржи, удлиненным теням трав, оранжевому шару солнца, петляющей тропинке, шел он, погруженный в мысли, известные ему одному, или молитву... Он шел, забыв про меня, поле, травы, рожь, солнце. Временами замедляя шаг, казалось, что он куда-то всматривался. Рожь в низинах доходила нам до плеч, прикрывая часто горизонт, но, поднявшись на пригорок, огромное поле открывалось полностью, упираясь одним краем в чернеющий лес. Ветер стих. О.Арсений остановился и сказал мне: "Вы помните смерть матери Марии? — и, не дождавшись ответа от меня, продолжал: — В жизни моей было много, очень много встреч с людьми, и из каждой встречи выносил я новое, нужное и глубоко поучительное и всегда ощущал волю Божию, Его великий промысел, Божественную мудрость. Не было в моей жизни больших и малых встреч, человек всегда оставался человеком, и, каким бы он ни был, подобие образа Божия всегда жило в нем. Только в одном случае греховность заставляла бледнеть зтот образ, или великая сила подвига во имя Бога и близких заставляла сверкать, озаряла человека, делая его подобным ангелу Божию. Три раза в жизни разрешил мне Господь увидеть великих подвижников, встреча с которыми была духовным счастьем, обогащением, радостью, откровением Божиим. От каждого человека уносил я хорошее, брал лучшее, у каждого я учился, но исповедь в лагере о.Михаила, встреча на далеком севере с простым сельским священником о.Иоанном и матерью Марией были для меня откровением, являлись переломным духовным рубежом, заставлявшим совершенно заново оценивать и понимать жизнь, людей и весь пройденный мною путь. Ты слышал

рассказ м.Марии, но я видел, что вначале ты не оценил и не понял всего. Жизнь ее показалась тебе обыденной и простой. Да и не только ты, а и домашние, окружающие ее, не видели это. С близкого расстояния видишь камень горы, а не всю гору, так бывает с жизнью человека.

Вдумайся, вглядись в ее жизнь. Это же полное самоотречение от себя ради Господа и людей, ближних своих. Девочка-"кусочница", сирота, тянущаяся к Богу, барышня в богатом доме помещицы и опять тяга к Богу, стремление. Послушница в монастыре, уборщица в храме, где настоятель — насильник, работница, медицинская сестра, и всюду, всюду, где бы она ни была, мысль о Боге, огромная испепеляющая помощь людям. Мысль, стремление к Богу и бесконечное, беспредельное растворение собственного "я" в людях, ради них, для них. И вот этого-то ты не уловил, не увидел в ее рассказе, не почувствовал.

Я, слушая рассказ о ее жизни, волновался, внутренне удивлялся силе ее духа, поражающему стремлению к Богу, побеждающему все препятствия, трудности и невзгоды. Предсмертная исповедь м.Марии еще более открыла мне совершенство ее души, великое смирение и любовь к людям, и все это было совершено в обыкновенной нашей жизни, среди окружающих нас людей, современной убивающей суеты. Незаметность совершаемых ею дел, скромность и полное личное сознание малости делаемого еще более подчеркивают величие подвига, совершенного м.Марией. Мать Мария умела терпеть, а это самое главное в жизни христианина — уметь терпеть и не думать, что этим совершаешь подвиг, и, делая добро людям, неся его им, помнить только, что перед тобой человек, брат твой, который страждет и которому нужна помощь, и ты приносишь эту помощь не от себя, а от Бога и во имя Его. М.Мария умела делать так, забывая себя. Внимая исповеди ее, я радовался всему, возвышался духом. Даже грехи ее, а они были, являлись той мерой оценки человека, его поведения, когда исправление их являло собой победу духа над плотью, торжество веры над грехом. Не забывай эту семью. Мать Мария дала им много. Не забывай".

Я не забыл. Мы с Татьяной стали вместе, примерно через год она вышла за меня замуж. Каждый из нас помогает друг другу теперь.

Отец Арсений остановился и, оторвавшись от своих мыслей, оглядел поле. Было такое впечатление, что он только сейчас вдруг осознал, что мы стоим среди ржи, солнце уходит к лесу, пахнет мятой, полынью и то, что мы шли по петляющей тропинке в теплый, летний вечер.

Тронув рукой колосья ржи, наклонившись и сорвав какой-то цветок, он, чуть заметно улыбнувшись, сказал: "Жить мне

осталось мало дней, поэтому встреча с м.Марией была мне необходима. Господь послал ее, дабы показать праведницу нашего века и еще и еще раз смирить меня".

Шли обратно. О.Арсений как-то оживился, пытливо разглядывал далекий силуэт города, купола, храмы, колокольни. Много рассказывал мне о людях, которых знал когда-то и любил. Был радостно светел, и глаза становились задумчивыми и печальными.

Подходя к городку, о. Арсений, обернувшись ко мне, сказал: "Действительно! Чего может достичь человек с помощью Божией. Мать Мария! Мать Мария!! — произнес он несколько раз и, как бы продолжая только ему известную мысль, сказал: — "Все видеть, все понять, все знать, все перенять, все формы, все цветы вобрать в себя глазами, пройти по всей земле горячими ступнями, все воспринять и снова воплотить"... Эти стихи написал очень хороший человек, замечательный поэт Максимилиан Волошин. Он любил людей, делал много добра, шел каким-то только ему известным путем к Свету, он так же, как и м.Мария, совершал все для человека, но Бог для него был абстракцией, условностью, и поэтому дорога его была извилистой, он вечно возвращался вспять. Дошел ли он до конца пути своего, знает только Господь, но душа его и жизнь были хорошими.

Я знал его, но шел 1925 год, и много было тогда трудностей, много было колебаний.

Мать Мария, простая русская женщина, и знаменитый поэт, оба шли к одной цели, но как различны были их пути!

Господи, прости нас!"

Мы подходили к дому.

К.С.

"МАТЕРЬ БОЖИЯ! ПОМОГИ!"

На второй день войны — 23 июня — мужа взяли на фронт, и я осталась одна с Катей.

Ночные тревоги, залпы зенитных батарей, мечущиеся по небу темные лучи прожекторов, вой сирен, воздушные заграждения из сигарообразных аэростатов, висевших над городом, и тревожные сообщения Информбюро об оставлении городов и целых областей делали лица людей скорбными и тревожными. Слова "война" и "фронт", казалось, вытеснили из жизни людей все другие чувства и переживания.

Такой была Москва 1941 года.

При каждой бомбежке я с Катериной бегала в подвал, расположенный под домом, и сидела там до конца тревоги,

тысячи и тысячи раз переживая происходящее. На сердце постоянно было чувство страха, и казалось, что обязательно случится что-то плохое и непоправимое. Письма от мужа приходили редко, а мои он совсем не получал. Часть, где он находился, беспрерывно перебрасывалась, номера полевой почты менялись, и поэтому мои письма не доходили. Муж спрашивал, почему я не пишу ему, а я ничего не могла поделать, писем он моих не получал.

Многих детей из Москвы эвакуировали, вывезли и детский сад, где была Катя, но она из-за болезни осталась со мной. Приходилось работать и сердобольным знакомым подбрасывать дочь на день. В сентябре эвакуировали мое учреждение, но Катя еще болела, и мне пришлось остаться. В начале октября Катя поправилась, но уехать я с каким-либо учреждением я уже не могла. Немцы прорвали фронт и двигались к Москве, что-то грозное и страшное нависло над каждым человеком. Город пустел, уезжали поездами, на автомашинах, уходили пешком. Преодолевая множество трудностей и препятствий, мы выехали. Путешествие было кошмарным. Все, кто мог, мешали, ругали, пересаживали, выбрасывали из вагона. Поезд три раза бомбили, а за Рязанью ночью в довершение всего меня обокрали. Давка, скученность, холод в вагонах были невыносимыми, и, вероятно от этого, пассажиры ненавидели друг друга, подозревая всех и каждого в самых худших намерениях, и относились подозрительно к каждому человеку. Пословица "человек человеку волк" в дороге подтвердилась. Хороших людей почему-то не встречалось. В дороге Катя простудилась, беспричинно плакала и жаловалась на голову. Проехали Урал, началась Сибирь. За окнами вагона заснеженные степи, редкие станции. Дует сильный ветер, мороз, пурга. Наконец поезд дошел до города, куда мы ехали. Собрали свой жалкий скарб и вышли. За пределами перрона лежал старинный сибирский город. Холодный, чужой и неизвестный.

Куда идти, где остановиться? Чем жить? И я поняла все безрассудство моей поездки, эвакуации из Москвы, где были знакомые, квартира, работа, паек. Было утро. Тянул из степи пронизывающий ветер. Я стояла, растерянная, оглушенная, испуганная неизвестностью, суетой вокзала. Нет денег, вещей, карточек. Пошла в городской военкомат, там очереди. Толкнулась туда, сюда, всем не до меня. С трудом пробилась к какому-то майору. Говорю, муж на фронте, офицер, я из Москвы. Показываю документы, прошу, тяну Катю за руку. Ответил так: "Приезжих много, помочь не могу. Город забит людьми. Сами устраивайтесь", — но дал два талона на обед. Что делать? Пошли, быстро пообедали и двинулись на рынок продать шерстяную кофточку, что была на мне. Стоим, предлагаем, но никто не берет. Таких, как я, продающих, много, а

покупателей нет. Стало смеркаться. Катя плачет, замерзла, устала, хочет спать. Решила ехать на вокзал, а дальше — что будет, то будет. Сели на трамвай. Тащится медленно по каким-то улицам. Окна в трамвае затянуты льдом, ничего не видно, знаю только, что вокзал конечная остановка. Продышала на окошке в льдинке пятно и стала смотреть, где едем. На душе злость, раздражение на всех и вся. Трамвай остановился и долго не шел, я взглянула в окно и увидела стоящую в глубине улицы церковь. Люди тянулись к ее дверям. Входило много народу. Что-то заставило меня подняться и выйти из трамвая и пойти в церковь. Держа Катю за руку, я вошла.

Была какая-то служба. Церковь только заполнялась, и я, раздвигая стоящих, прошла вперед и встала под большой иконой. В церкви было тепло. Я развязала Кате платок и расстегнула шубу. В голове билась только одна мысль — что делать? Куда деваться? Катя со мной, мы голодны, одиноки, без пристанища. От усталости, голода и волнения церковь, иконы, стоящий рядом народ качались и плыли перед моими глазами. Если бы я была одна, тогда случившееся не страшило бы меня, но со мной была четырехлетняя дочь. Хотелось кричать, требовать, просить, плакать, но к кому обращаться, кого просить? Зачем мы пришли сюда? Сколько мы стояли, я не знаю. Только Катя дернула меня за рукав и громко сказала: "Мама, я устала стоять!" Кругом зашептались, а стоящая около иконы старуха негромко сказала, обращаясь ко мне: "Ребенков на ночь глядя от нечего делать водят. Нашла, где стоять", — и стала оттеснять меня от иконы. Церковь уже наполнилась народом, и мне некуда было двигаться. Даже здесь гонят, подумалось мне, а еще проповедуют добро, и я подняла глаза на икону, перед которой стояла.

С иконы на меня смотрели глаза Божией Матери. Лик был наклонен к младенцу, а Он, обняв ручонками Мать, тесно прижался Своей щекой к Ее лицу. И в этом взаимном объятии чувствовалась необычайная любовь и желание защитить Сына от кого-то и согреть его великой Любовью, данной только Матери.

В глазах Матери Божией было столько глубокой лучистой теплоты, что, смотря в них, каждый чувствовал и находил спокойствие и утешение. Взгляд Божией Матери, устремленный на молящихся, был полон грусти, жалости и тепла, и он вселял надежду и утешал. Вера моя всегда была слабой и ничтожной. В детстве мама учила меня молиться "за папу, за маму" и заставляла учить "Отче наш", "Богородице Дево, радуйся!". Потом все забылось, потускнело, стало далеким воспоминанием, немного смешным, немного грустным.

Если окружающие смеялись над обрядами и церковью, то смеялась и я, но где-то в душе еле-еле теплилось чувство, что, возможно, Бог есть. Но только возможно.

Лик Божией Матери, смотрящий сейчас на меня с иконы, вдруг мгновенно перевернул мою душу, и, несмотря на безысходность моего положения, я поняла, что надежда может быть только на Нее. И я стала молиться. Молиться, не зная слов молитвы. Я просто просила Божию Матерь, умоляла Ее помочь нам. И я уверовала, что Она поможет. Почему я, неверующая, так думала в тот момент, даже теперь не знаю. Думаю, что необыкновенный, исполненный Божественного тепла взгляд Божией Матери заставил меня поверить в это. На полу сидела Екатерина, где-то стояла, шипела и толкалась старуха, а я молилась. Сейчас помню, что вся моя молитва была бесконечной просьбой. Все мое существо взывало, молило, просило за Катю. "Помоги! Помоги! Матерь Божия", — сотни и сотни раз повторяла я. Слезы заливали лицо. Я смотрела на икону с мольбой, и мелкая дрожь сотрясала меня.

Служба кончилась, народ расходился, а я все стояла и молилась перед иконой. Церковь пустела. Катерина спала на полу. К выходу шел священник, я подошла к нему с просьбой о помощи. Он выслушал меня, скорбно развел руками и, торопливо застегивая шубу, вышел. Старуха, гнавшая меня от иконы и в который раз подходившая ко мне, после выхода священника схватила Катерину за воротник и, громко крича, что здесь не ночлежный дом, а храм Божий, что я нахалка и дрянь, потащила дочь к дверям. Катя, проснувшись, плакала, а я подошла к иконе Божией Матери и, припав к Ней, еще и еще раз просила помочь нам и с полной уверенностью, что Она не оставит нас, пошла к выходу. Из церковной темноты опустевшей церкви вышла женщина и, схватив меня за руку, резко сказала: "Пойдемте!" — и мы вышли из церкви. Я подумала — еще один человек гонит. Женщина, держа меня за руку, куда-то вела нас. Было очень холодно, мороз пробирал до костей. Снег хрустел под ногами, прохожих почти не было, и только изредка проносились машины. Мы молча шли вдоль небольших домов и заборов. Временами хотелось спросить, куда мы идем? Но я не спрашивала, надеясь на что-то лучшее. Мысль, что Матерь Божия не оставит нас, крепла и крепла с каждой минутой, и, идя в неизвестность, я продолжала молить Богородицу. Помню, возникали тысячи мыслей, тревожных, беспокойных, страшных, но, как только я на мгновение закрывала глаза, образ Матери Божией вставал передо мною, и все беспокоившее меня отходило на задний план, исчезало.

Остановились перед высоким забором, калитка жалобно всхлипнула, и мы вошли в палисадник, засыпанный снегом. Подошли к небольшому одноэтажному дому. Женщина долго возилась с ключами, что-то говорила сама себе сердитым голосом и, открыв дверь, сказала: "Проходите быстро и раздевайтесь. Верхние вещи на вешалку в передней, а сами на скамейку садитесь, чтобы живность не разнести. Меня зовут Нина Сергеевна, а теперь ждите, позову". В комнате было тепло, вещи повесили в передней и сели в комнате на скамейку. Из соседней комнаты послышался, как мне показалось, раздраженный голос: "Нина! Ты с кем пришла?" — "Кого Бог послал, с тем и пришла". Нина Сергеевна куда-то ушла. Гремели ведра, тянуло дымом, запахло вареной картошкой. Меня от всего пережитого трясло. Катя, прижавшись ко мне и разомлев от тепла, дремала. Что будет? — думалось мне. Дадут переночевать, а потом? Озноб все сильнее и сильнее забирал меня. Через какое-то время открылась дверь, и появилась Нина Сергеевна. "Что это, голубушка, Вы расселись? Идите помогать!" Я встала и пошла на кухню. Топилась плита, в баках грелась вода. Недалеко от плиты стояла эмалированная ванна. "Наливайте горячую воду и разбавляйте. Дочь вымою я сама. Имя-то Ваше скажите, дочери я уже знаю". Я сказала свое имя. "Ниной зовут, как и меня. День своего Ангела знаете?" Я не знала. "Знать надо, голубушка, раз по церквам ходите. Нина только один раз в году бывает — 27 января по-новому".

К чему велся этот разговор, я не понимала. В кухне было тепло, приятно пахло дымом, чем-то вкусным, ванну я наполняла водой. Мне стало неудобно, что в чужом доме, у незнакомых людей, идет суматоха, беспокойство из-за нас, и я сказала об этом. Нина Сергеевна резко оборвала меня и сказала: "Не разводите телячьих нежностей, несите дочь, я ее сама вымою, а то сами-то Вы грязная с дороги, да еще, возможно, вши на Вас?"

Я раздела сонную Катерину. Барахтаясь в воде и визжа от удовольствия, она хватала ручонками за шею Нину Сергеевну и что-то ей рассказывала.

Я стояла у плиты в полузабытьи, все казалось нереальным и происходило как бы во сне. "Ну, а теперь Вы", — услышала я слова Нины Сергеевны. Катю она унесла на руках. Я стала медленно раздеваться и вошла в ванну. Мелкий озноб стал опять сотрясать меня, мочалка падала из рук, и я еле стояла на ногах, и в этот момент в кухню вошла Нина Сергеевна. Я смутилась. "Да бросьте стесняться, я же врач. Послушайте, голубушка. А Вас здорово трясет. Мойтесь, мойтесь скорее. Вы же больны". Нина Сергеевна, кухня, плита вдруг сразу поплыли перед моими глазами, и только временами я чувст-

вовала, что меня мыли, обдавали водой, вытирали, одевали рубашку, и иногда откуда-то издалека, словно сквозь вату, прорывался голос: "Стойте же, стойте, не мешайте". Куда-то вели, подымали, чем-то жгли грудь, давали воду.

Пришла я в себя на короткое мгновение через четыре дня, как мне потом сказали. Помню только, что все время, пока я находилась в беспамятстве, передо мной стоял образ Божией Матери, а я молилась и молилась за Катю, себя, Нину Сергеевну, приютившую нас. Кто-то старался увести меня от иконы, а я вырывалась, боролась, кричала: "Матерь Божия, не остави нас", — и каждый раз, когда я, изнемогая в борьбе, тянула руки к иконе, кто-то злобно отталкивал меня, но, превозмогая все, я шла и шла к Ней, и тогда лик Божией Матери озарялся светом, я оказывалась перед иконой, и тогда дышалось легко, и на душе становилось спокойнее, но через несколько мгновений все повторялось. Если бы Вы знали, как мне было страшно и тяжко. Ужас, страшнейший ужас охватывал меня, только бы не оттолкнули, не отбросили от иконы Божией Матери, только бы быть около Нее.

Я понимала, что только я одна могу спасти Катю и себя, спасти просьбой к Матери Божией, и если Она смилуется и протянет нам руку Своей Великой помощи, мы можем жить. Если бы можно было рассказать, как я молилась, пока находилась в беспамятстве. И вот я пришла в сознание. Еще закрыты глаза, но я слышу мерный звук маятника, где-то скрипят половицы, и кто-то говорит шепотом. Слабость такая, что я не могу пошевелить пальцем, с трудом открываю глаза. Чужая светлая комната, окно задернуто занавеской. Я медленно перевожу глаза и замираю от нахлынувшей на меня радости. В углу на высоте человеческого роста висит икона, горит зеленый огонек лампады, освещая их лики. Икона та же, что и тогда была в церкви, перед которой я исступленно молилась и рыдала. (После я узнала, что это икона Владимирской Божией Матери.)

Я смотрю на икону, шепотом повторяю то, что говорила в беспамятстве: "Матерь Божия! Не остави нас", — и начинаю плакать. Кто-то тихо вытирает мне слезы, и я засыпаю первый раз за все время без сновидений, страхов и кошмаров. Просыпаюсь на другой день. Еще лежа с закрытыми глазами, слышу тот же стук маятника, шорохи. Из соседней комнаты доносится голос Кати и чей-то низкий, читающий сказку... Я пробую крикнуть, позвать Катю, открываю глаза, и опять образ Божией Матери смотрит на меня. Успокаиваюсь, кратко молюсь и опять зову Катю и Нину Сергеевну. Скрипят половицы, и надо мною склоняется женское лицо в очках, доброе, мягкое, приветливое. "Катя здесь, а Нина Сергеевна сейчас в больнице, придет поздно. Хорошо, что Вы пришли в

себя, ну теперь все будет хорошо. Матерь Божия помогла Вам, все Вы Ее в беспамятстве звали, — и рука женщины нежно погладила меня по голове. — Общее воспаление легких, грипп и тяжелое нервное потрясение одновременно свалились на Вас". И тут же без перехода сказала: "Мы с Ниной Сергеевной подруги, обе московские. В 1935 году сюда приехали жить, зовут меня Александра Федоровна, я по специальности врач-стоматолог. С Катей Вашей мы очень сдружились, мы с Ниной решили, что Вы у нас жить будете".

Пролежала я еще пять дней, и только тогда Нина Сергеевна разрешила мне встать.

Чужие незнакомые люди приютили нас, выходили меня, больную, ухаживали, поили, кормили, возились с Катей. Почему я пришла в церковь, встала перед иконой Владимирской Божией Матери, молилась и уверовала в Ее помощь? Почему лик Божией Матери неотступно был со мною во все время моей болезни, и первое, что я увидела, была именно икона Владимирской Божией Матери? Почему я стала почти внезапно верующей? Почему? И еще лежа в кровати, я отвечала себе: потому, что все, что было со мною, являлось самым настоящим, подлинным и великим чудом, которое Господь и Матерь Божия послали мне, грешной, как великую милость. Осознав все это, я еще больше прониклась сознанием благодарности к Божией Матери, любви к Ней и любви к людям, спасшим меня и Катю.

Обо всем этом я и рассказала Нине Сергеевне и Александре Федоровне, еще когда отлеживалась после болезни. И Нина Сергеевна и Александра Федоровна дали мне возможность стать по-настоящему верующим человеком, они же крестили Катю, рассказали и научили всему, что дало мне познать веру. Прожила я у них три года, работая на заводе, и вернулась в Москву лишь для того, чтобы спасти комнату, а Катю они оставили у себя, там же она кончила школу, поступила в институт и только в 1960 г. приехала вместе с бабушками Ниной и Сашей в Москву. Рассказывать, что были за люди Нина Сергеевна и Александра Федоровна, мне не надо. В этом коротком, одном из важнейших этапов моей жизни, сказано о них все, что можно сказать о настоящих христианах. Добавлю, что они были духовными детьми о. Арсения, и в 1936 году им пришлось уехать из Москвы, дабы избежать шедших тогда повальных арестов.

В 1958 году познакомили они меня и Катю с о. Арсением, вышедшим за год перед этим из лагеря. Вот и стали мы с Катей его духовными детьми. В 1960 году приехали наши бабушки под Москву, купили себе домик, но практически живут у Кати в семье.

Благодарю Тебя, Господи, за великую милость, оказанную мне. Благодарю Владычицу Богородицу за чудо приобщения меня к вере, к церкви, к источнику жизни. Благодарю Владычицу, что дала мне увидеть верных дочерей Твоих и послала отца духовного и наставника нам с Катей, иерея Арсения.

Слава Тебе, Господи.

НА КРЫШЕ

Жизнь постоянно бывала трудной, полной самых непредвиденных опасностей и страхов, беспрестанно грозящих нам духовной или физической гибелью, но Господь и Матерь Божия всегда были милостивы к нам и в грозную минуту опасности не оставляли. Если я отдалялась от Господа, то Он посылал мне человека, который помогал выйти на верный путь и избавлял от ошибок и заблуждений, а если в страшную минуту губительной опасности обращалась к Богу, то помогал. Сколько раз в жизни убеждалась я, что молитва, искренняя молитва являлась для всех спасением, а молитва к Матери Божией всегда была самой спасительной и безотказно избавляющей от бед духовных и физических.

Расскажу я вам о силе молитвы отца духовного, и о том, как повлияла на нас, участников описываемых здесь событий.

Голод был тогда в Москве. Выдавали на человека по осьмушке хлеба с мякиной. Ничего нет: ни картошки, ни крупы, ни капусты, а уж о мясе забывать стали. Деньги не имели цены, крестьяне меняли продукты только на вещи, и при этом обмен носил откровенно грабительский характер. Нас, "городских", в деревнях встречали враждебно, и буквально приходилось упрашивать, чтобы обменяли хлеб или картошку на шубу или золотую цепочку. Голодно, холодно и в страхе жили мы тогда.

Саша, Катя и я пришли к отцу нашему духовному Михаилу проситься в поездку за хлебом. Многие уезжают с вещами и привозят хлеб, почему же и нам не съездить. Отец Михаил выслушал нас, неодобрительно покачал головой, подошел к иконе Божией Матери и долго, долго молился, потом повернулся к нам и сказал: "Вручаю вас Заступнице нашей Матери Божией. Возьмите каждая по образку Владимирской и молитесь ей непрестанно всю дорогу. Она и святой Георгий только и помогут вам. Трудно, ох как трудно будет. Я за вас здесь тоже молиться буду". И как бы не для нас сказал: "Матерь Божия и угодниче Божий Георгие! Помогите им, спасите и сохраните от опасностей, страха и поругания. Помоги, Матерь Божия", — и, благословляя нас, был молчалив.

Повернувшись к иконе Владимирской Божией Матери, стал молиться, как бы забыв нас.

Вот так мы и поехали, только всю дорогу вспоминали, почему батюшка святого Георгия призывал. Девчонки мы были молодые, жизнь нам казалась несложной, трудностей не признавали, ничего тогда не боялись, но, конечно, жизни совершенно не знали. Все время жили в городе, семьи интеллигентные, ни народа, ни деревни не знали. Учились в университете на разных факультетах, а объединяла нас церковь и дружба. Родные нас долго не пускали, но мы поехали. Из Москвы ехали в теплушках, где на подножках, в тамбурах. Сентябрь был на исходе.

Наменяли пуда по два муки и по пуду пшена. Тащим, мучаемся, но бесконечно счастливы. Мы с продуктами! Вот-то обрадуем своих, когда приедем, но застряли далеко от Москвы. Всюду заградительные отряды отнимают хлеб. На станциях в поезда не сажают. Идут только воинские эшелоны или закрытые товарные вагоны с какими-то грузами.

Кругом тиф, голод, грабежи, разруха. Три дня сидели на станции, питались луком и жевали сухое пшено. До сих пор его вкус на губах чувствую. Ночью пришел большой состав из товарных вагонов. Пошли разговоры, что воинский и идет в сторону Москвы. Рано утром открылись двери, солдаты (тогда назывались красноармейцами) высыпали из вагонов и пошли менять у крестьян яблоки, соленые огурцы, печеную репу, лук. Проситься в вагон боимся. Женщины говорят, что к солдатам в вагоны влезать опасно. Рассказывают ужасы. Расползаются слухи, что белые прорвали фронт, банды зеленых гуляют вокруг станции, грабят, насилуют всех и вся. Где-то вспыхнула холера. Страшно и безвыходно, вот тогда и вспомнили слова о.Михаила. Вагоны эшелона были полны красноармейцев, лошадей, орудий, повозок. Солдаты сидят на полу, на нарах, курят, смеются, сплевывают семечки, кричат женщинам, сидящим на площадке перед вокзалом: "Бабы, к нам! Прокатим! Скоро поедем!" Мы боимся. Несколько женщин решают ехать. Солдаты с шутками втаскивают их в вагоны, берут мешки и узелки. Идет слух, что поездов несколько дней не будет. Мы волнуемся, возбужденно обсуждаем, что делать. Тем временем на крышах некоторых вагонов появляются люди с мешками, их становится все больше и больше. Из вагонов слышится смех, играют гармошки. Говорят, что эшелон идет до Серпухова.

Группа женщин, в том числе и мы трое, решаем влезть на́ крышу, так как другого способа ехать нет. С трудом взбираемся по лесенке между вагонов, втаскиваем мешки, помогая друг другу. Солнце печет. Распластываемся на самой середине ребристой крыши, вжимаемся в горячее железо.

Я молюсь, призывая помощь Божией Матери, и пытаюсь незаметно креститься. Саша и Катюша также, вжавшись в крышу, молятся. На крышах почти все заполнено, в основном одними женщинами. Паровоз нестерпимо дымит, топят дровами. Наконец поезд дергается несколько раз, останавливается, потом, как бы раскачиваясь то вперед, то назад, медленно сдвигается с места и постепенно, набирая скорость, идет вперед.

Проплывает станция, заполненная шумящей толпой людей, некоторые пытаются вскочить на буфера, подножки. Срываются, падают и опять делают попытки уехать, но это удается немногим. Поезд уже вышел в степь — глухую, безлюдную. Однопутное полотно дороги сиротливо рассекает сухие травы, безмолвие умирающей степи.

Черный дым, пронизанный искрами, вылетающими из паровозной трубы, покрывает нас, лежащих на крыше. Искры жгут руки, лицо, прожигают одежду, мешки. Отмахиваемся от искр, словно от мух, тушим друг на друге, отряхиваемся. На сердце у меня спокойно, я даже на время перестаю молиться и с интересом смотрю на степь, дорогу, черные спины вагонов, усеянных людьми. Саша ушла в себя и беспрестанно молится, это видно по ее сосредоточенному лицу и легкому движению губ. Смотря на нее, мы с Катей тоже начинаем молиться. Молитва к Божией Матери еще больше успокаивает душу, вселяет уверенность. Саша тихо просит, чтобы мы все трое легли друг к другу головами. Осторожно перекладываемся, и Саша по памяти читает нам акафист Владимирской Божией Матери. Читает она его несколько раз. Соседи не слышат, вагоны скрипят, раскачиваются и поют на разные голоса. Саша после прочтения акафиста каждый раз читает молитву, где есть такие слова, обращенные к Богородице: "О Мати Божия, под покров Твой прибегаем, на Тебя надеемся и Тобою хвалимся. Огради и спаси нас, беззащитных, от всяких бед, не остави нас и покрый нас милостью Твоею. В руки Твои вручаем себя, ибо Ты спасение и надежда наша".

И каждый раз после прочтения акафиста я чувствую, что мы не одни на крыше вагона, три девчонки, беззащитных и слабых, а Она, Матерь Божия, с нами и в трудную минуту придет к нам.

Жарко, душно, трудно гасить искры и цепляться за гребни крыши. Вагоны сильно раскачивает, руки устают, мешки съезжают в сторону, и их беспрерывно приходится поправлять. Поезд несколько раз останавливается на небольших станциях, солдаты грузят дрова, паровоз берет воду, и мы опять едем. Проходят разрозненные дорожные будки, деревни, постройки, но рядом с дорогой по-прежнему лежит сухая, сожженная солнцем степь. Едем, едем и едем, но вдруг поезд

внезапно останавливается. С поезда соскакивают люди, бегут вдоль состава, что-то оживленно обсуждают. Поезд стоит, мы по-прежнему лежим. Солнце почти спустилось за горизонт, становится прохладнее. Искры больше не летят, кругом бескрайняя степь. Хочется пить. Двери вагонов открываются, солдаты выскакивают на полотно дороги, идут к редким придорожным кустам, беззлобно ругаются друг с другом, чему-то смеются. Мы сверху смотрим на них. Вдруг кто-то из солдат восклицает: "Братва, баб-то сколько на крышах!" И мгновенно происходит перемена в настроении. "Ребята! Айда к бабам". Вагоны пустеют, все высыпают на насыпь. Многие лезут на крыши. Шум, смех, крики, визг.

"Господи! — проносится мысль. — Что же делать?" На крышах появляются солдаты, сперва немного, но потом все больше и больше. С соседних крыш раздаются крики, кто-то просит, умоляет, плачет. "Охальник! Что делаешь? Я тебе в матери гожусь!", "Солдатики! Хлебушка-то не повредите, дома дети мал-мала-меньше остались голодные". "Хлеб твой, тетка, не повредим, нас начальство кормит". Сапоги стучат по железу, гулко, страшно. Кто-то из женщин исступленно рыдает, молит, кто-то борется, прыгает с крыши, разбивается. Крыша нашего вагона еще пуста от солдат, но вот несколько солдат появляются и на ней. Я молюсь, обращаясь к Божией Матери, прошу Ее. Катя, прижавшись ко мне, плачет и, всхлипывая, молится вслух. Саша сурово смотрит на приближающихся солдат. Я знаю Сашу, она не сдастся, не отступит. Ее лицо полно уверенности и твердости, она вся ушла в молитву. Я по-прежнему молюсь Матери Божией, прошу о.Михаила помочь нам, памятуя, что молитва отца духовного спасает, вспоминаю слова о.Михаила о святом Георгии, начинаю просить и его. Саша! Я очень верю в ее молитву и надеюсь на нее, а она сейчас по-прежнему сосредоточенно спокойна, лежит прижавшись к крыше, в то время, как мы все вскочили. Обходя других женщин, к нам подходит солдат, скуластое лицо, гладкая стриженая голова, бездумные раскосые глаза. Катя прячется за меня. Раскосый хватает меня за руку и говорит примиряюще: "Ложись, девка, не обижу!". Я отталкиваю его, начинаю отступать и, смотря ему в лицо, крещусь несколько раз. Беззлобно ухмыляясь, он наступает, протянув вперед руки, а я пячусь назад. На крышах копошатся, борются, просят, сдаются. Всякая борьба, конечно, бессмысленна, солдат много, и они совершенно не представляют того, что делают. Им кажется происходящее веселым развлечением. Полк отвели на отдых для пополнения, там, на фронте, смерть постоянно висела у них над головой, они огрубели, и сейчас все происходящее — их законное право, думают они. Сопротивление женщин смешит их и еще больше разжигает. Вероятно, врываясь в только что занятую деревню, они привыкли

брать чужих женщин, дрожащих и боящихся их. Все эти мысли пришли, конечно, уже в Москве, дома.

Раскосый идет, я отступаю. Катя хватает меня и кричит: "Крыша кончается". Я оборачиваюсь и вижу, что отступать уже некуда, а снизу поднимается матрос в тельняшке, натянутой на широкую грудь, высокого роста, с озлобленным лицом, на котором сверкают, именно сверкают, большие глаза. Матрос пугает меня решительностью, злобой и энергичностью движений, поэтому весь его облик врезается мне в память. Отступать некуда, впереди раскосый, сзади матрос.

Раскосый останавливается, Катя стоит у края крыши, Саша по-прежнему распласталась на горячем железе, углубленно уйдя в молитву за нас и за себя. Она ничего не видит, да и ее никто не пытается тронуть. Матрос хватает меня за плечи, отстраняет в сторону и говорит мне сильным, но дрожащим от злости голосом: "Спокойно, сейчас разберемся, а с крыши всегда успеешь спрыгнуть", он шагает к раскосому, бьет его в грудь и говорит: "А ну, паскуда, вон отсюда", — после чего раскосый немедленно прыгает в провал между вагонами. Мы остаемся одни. Матрос идет по крыше, подходит к какому-то лежащему солдату, поднимает его за шиворот и кричит: "Ты что, контра, делаешь, рабоче-крестьянскую власть и армию позоришь!" Солдат отчаянно ругается, пытается ударить матроса, но тот выхватывает наган и стреляет ему в лицо. Падая, солдат соскальзывает с крыши и летит на насыпь.

"Товарищи! — кричит матрос. — Мы солдаты революции, мы строим и защищаем Советскую власть, мы за народ и мы из народа. Что вы делаете? Позор! Красная Армия защищает трудящихся, а мы здесь позорим себя. Расстреливать надо на месте каждого насильника. Стыдно, товарищи! Ведь где-нибудь так же едут наши сестры и жены! Коммунисты, ко мне!"

Солдаты шумят, где-то дерутся, спускаются с крыш, выбегают из вагонов. Группы вооруженных людей собираются у вагонов, где стоит матрос, — это коммунисты полка и командиры. Начинается митинг. Матрос говорит яростно, просто, доходчиво. Вначале красноармейцы шумели, хватались за оружие, но на крышу вагона, где стоит матрос, поднимались и говорили командиры, солдаты, комиссары.

На крышах остались одни женщины и несколько мешочников-мужчин. Митинг продолжался минут пятнадцать, но паровоз стал подавать гудки, солдаты забрались в вагоны, наскоро похоронив расстрелянного. Матрос, подойдя к нам, сказал: "Пошли, девушки, в вагон, спокойнее доедете". Саша, поднявшись с крыши, сказала: "Пойдемте".

Ехали медленно двое суток. Относились к нам очень хорошо, кормили перловой кашей, поили темно-красным на-

стоем горелого чая, взятого где-то из горевших вагонов. Матрос, звали его Георгий Николаевич Туликов, но в поезде называли его "товарищ Туликов", был комиссар полка. Разговаривал с нами всю дорогу, расспрашивал, кто и что мы. Больше рассказывала всегда малословоохотливая Саша. Мне казалось, что напрасно она говорит малознакомому человеку о нас, о вере, университете, дружбе нашей и о том, как мы надеялись на помощь Матери Божией и святого Георгия во все время нашей поездки, находясь на крыше. Георгий задумчиво слушал нас, ни разу не осудив, не выразив насмешки рассказанному.

Спали мы в закутке вагона, где для нас расчистили место. Вся дорога прошла в разговорах и расспросах. Молились по ночам, но особенно Саша.

Два или три раза поезд встречали заградительные отряды, пытаясь снять сидевших на крыше женщин и зайти в вагоны, но, встреченные вооруженной охраной поезда, с руганью и угрозами уходили. Довезли нас до Подольска, дальше эшелон не шел. Георгий и спутники его по вагону посадили нас в пригородный поезд, и мы благополучно доехали до Москвы.

Прощаясь в Подольске, мы благодарили Георгия и тех из военных, кто ехал в вагоне. На прощание Георгий сказал: "Может быть, и встретимся, жизнь-то переплетенная".

А Саша, наша тихая Саша, всегда излучавшая умеренность и тихое спокойствие, подошла к Георгию, положила ему руки на плечи и сказала: "Да сохранит Вас Бог для хороших дел и будьте всегда добрым, отзывчивым. Прощайте!" И, сняв руки с его плеч, низко поклонилась в пояс. Так это необычно было для застенчивой, молитвенной Саши.

Радость родных по поводу нашего возвращения была безмерна, а мы, только успев умыться, поспешили к о.Михаилу.

На пороге домика, где он жил при церкви, нас встретил о.Павел: "Батюшка вас дожидается, сказал, что идете, послал встретить. Все эти дни за вас молился".

Мы вошли, о.Михаил порывисто встал, обнял нас, благословил и, повернувшись к иконе Владимирской Божией Матери, стал молиться вслух, благодаря Матерь Божию и святого Георгия за наше возвращение, и только после молебна рассказали мы ему обо всем, что произошло с нами. Слушая нас, о. Михаил смотрел на иконы Владимирской и Казанской Божией Матери, висевшие в комнате, и беззвучно шевелил губами. Выслушав, сказал: "Благодарю тебя, Господи, за великую милость, явленную нам грешным. Георгия-матроса не забывайте, искра Божия живет в нем и не потухнет. Да не загасит искру эту суета жизни человеческой. Молитесь о нем, еще придется кому-нибудь из вас с ним встретиться, вот тогда-то и помогите ему. Обязательно помогите".

...Прошло более двадцати лет, шел военный 1943 год. О. Михаил умер в ссылке в 1934 году, там же с ним погибла и наша чудесная молитвенница Саша. Расставание с духовным отцом — отцом Михаилом было для нас всех ужасным, община переживала это трагически, тяжело, болезненно. Только короткие письма, присылаемые им с оказией, поддерживали нас в течение нескольких лет. Арестован был о.Михаил в 1928 году, несколько раз ездила я к о.Михаилу и жила у него по месяцу, а Саша, бросив все сразу, уехала за ним в ссылку.

Сколько событий произошло за эти годы, сколько ушло людей! Трудно было без о.Михаила, но он поручил меня о. Арсению, духовному сыну своему, жившему в это время в другом городе, рядом с Москвой.

Умерла Саша, Катя давно была замужем, связь моя с ней не порывалась. В 1943 году работала я хирургом в военном госпитале по 18—20 часов в сутки, домой неделями не приходила, в церковь попадала от случая к случаю, не хватало времени увидеть своих. Молилась урывками и все только Матери Божией.

В эти тревожные военные годы воспоминания о прошлом стерлись, забылись, сейчас надо было только помнить о Боге. Путешествие на крыше вагона стало далеким и туманным.

Госпиталь был офицерский, раненых привозили много. Бывало, делаешь операцию, в лицо и не взглянешь, только рану и смотришь.

Привезли в операционную без сознания одного полковника. Ранение тяжелое, запущенное. Оперировать пришлось ночью. Операция продолжалась четыре с лишним часа, несколько раз переливали кровь, к концу операции мы все еле держались на ногах, а я, как была в операционной одежде, так и свалилась сразу без сил и уснула. Сестры сонную меня раздели.

Проспала часа четыре и сразу к больному кинулась. Медленно к нему жизнь возвращалась, тоненьким, крохотным ручейком втекала она в него, много с ним хлопот было, но выходили. Каждый день к нему раза по три приходила, уж очень хотелось спасти его.

Пришла как-то на двадцатый день после операции. Лежит слабый, бледный, прозрачный, только глаза одни светятся еле-еле. Посмотрел он на меня и вдруг тихо, но отчетливо сказал: "Машенька! Сколько ходите ко мне, а все не узнаете!" Возмутилась я, резко ему сказала, что я военврач, а не Машенька. Взорвало это меня, пришла я с целой группой врачей — обход утренний делала, а он улыбнулся и ответил: "Эх, Машенька, а я вас с Катей и Сашей всю жизнь помню!" — здесь-то меня и захватило прошлое. Закричала: "Георгий!"

Бросилась к нему, обнимаю. Стали врачи и сестры из деликатности выходить из палаты, а я, как девочка, схватила его за голову и плачу. Смотрю, а на его кровати табличка, как у всех, висит, а на ней мелом написано: "Георгий Николаевич Туликов". Почему же я раньше это не заметила?

Глаза Георгия еще больше оживились. Сказал: "Идите с обходом, после зайдете".

Два месяца я к нему приходила после обходов и дежурств. Переговорили о многом, но первый вопрос его был — по-прежнему ли я верующая? Много и по-хорошему говорили, благо лежал он в отдельной палате. Расспрашивал, а я не боялась, рассказывала об о.Михаиле, умершей Саше, замужней Кате, о себе и об о. Арсении, который был в лагере. О себе говорил много. Жизнь прошел тяжелую, но душу имел чистую, добрую и открытую. Рассказы Саши тогда в вагоне отложили в душе его какой-то отпечаток, который не стерся, а заставил относиться к вере, религии и людям с осторожностью, вниманием и доброжелательностью. В 1939 году, будучи в чине полковника, попал в лагерь. "Там, — рассказывал Георгий, — повидал я людей хороших и плохих, но из многих и многих встреченных запомнился мне на всю жизнь юноша лет двадцати трех, несший людям столько добра и тепла, что все любили его, даже лагерные уголовники. Вот он-то и познакомил меня с Богом, именно познакомил. В начале сорок первого года Глеб погиб в лагере, а меня освободили в августе и послали на фронт в чине капитана, теперь опять до полковника дослужился. До ранения дивизией командовал, поправлюсь и опять на фронт хочу. За плечами академия генерального штаба, гражданская, Халкин-Гол, Испания, Финская война, а теперь вот Отечественная".

Расставались мы с Георгием большими друзьями, всю войну переписывались, а в 1948 году переехал он с семьей в Москву, стали встречаться часто и регулярно. Вышел на пенсию в больших чинах и живет сейчас почти все время под Москвой на даче, воспитывая внуков. Встречаемся так же часто, но встречи наши бывают и в соборе Троице-Сергиевой Лавры в Загорске. Неисповедимы пути Твои, Господи! Вечно прав был о.Михаил, сказав в двадцатом году, что встретимся мы с Георгием. Велика сила молитвы человеческой к Богу, но сколь велика и спасительна молитва отца духовного о своих детях, сколь велика милость Матери Божией и забота Ее о нас, грешных. Молитвой своей к Матери Божией спас нас отец Михаил от погибели и поругания и через наше спасение привел Георгия к вере. Пресвятая Богородице, спаси нас!

Из воспоминаний М.Н.Ар.

ПРИЗНАНИЕ

Воспоминания об о. Арсении — это неизбежно рассказ о себе, своей жизни, поступках, действиях, так или иначе связанных с ним, как с отцом духовным. Необычайная ясность мысли, знание людей и жизни, глубокое проникновение в душу человека, которое правильнее назвать прозорливостью, постоянный молитвенный подвиг и полное отречение от своего "я" во имя людей выделяли его среди многих и многих иереев, знаемых мною. Вся его жизнь заключалась в несении помощи людям. Скрыть, утаить на исповеди, уклониться от искреннего рассказа о себе было невозможно. Стоишь перед ним и буквально физически ощущаешь, что он видит тебя всю и заранее знает, что ты скажешь.

До войны, в те годы, когда он находился на свободе в ссылках, я вместе с мамой часто приезжала к нему и стала его духовной дочерью, в ту пору мне было около 18 лет, но потом о. Арсений многие годы находился в лагерях, и только редкие-редкие записочки доносили до нас его наставления, а начиная с 1949 года мы, его духовные дети, даже не знали, жив ли он и где находится. Я передаю Вам свои записки без упоминания моего настоящего имени. Слишком много в этих записках лежит личного.

В сороковые годы я вышла замуж за человека верующего, спокойного, доброго, но крайне замкнутого и молчаливого даже со мной. Старше меня он был на десять лет.

Отечественная война была позади, годы репрессий 1946 — 1952 годов не коснулись нас. Родились две дочери, мама жила с нами. Муж любил меня ровно, спокойно, много времени отдавал детям, воспитывая их в духе веры. Материально мы жили хорошо, много молились дома, в субботу и в воскресенье ходили в ближайшую церковь, где был очень хороший священник, о.Георгий. Казалось, что в семье царит полное согласие и благополучие.

Но пришла весна 1952 года, и со мной произошло то, что оставило след на всю жизнь. След остался какой-то двойной: тягчайшего греха, который я сознаю и в котором я искренне каялась, и в то же время захваченного мною большого счастья, радости бытия и прошедшей настоящей любви. Этот второй след лежит где-то на самом дне моей души, покрытый покаянием, но тем не менее живущий и сознаваемый. О своем грехе и говорила и каялась о.Георгию, о котором упоминала, и тогда мне думалось, что исповедь как бы частично очистила мое греховное прошлое.

В 1958 году о. Арсения освободили из лагеря, и трудно передать то ощущение радости, которое мы, его духовные

дети, испытали, встретившись с ним. Мне думалось, что все мы как-то по-новому приблизились к Богу. Все было рассказано, исповедано о. Арсению, но своего 1952 года я не могла рассказать ему, было страшно и стыдно, временами я думала, что он отвернется от меня, услышав о происшедшем.

Что же произошло со мной? Я уже говорила, жили мы всей семьей дружно, и вдруг в 1952 году неожиданно увлекла и полностью поглотила меня огромная, всесжигающая любовь к человеку, чуждому по духу, неверующему, но доброму, хорошему, отзывчивому, очень умному и волевому. Любовь эта пришла почти внезапно. Первым потянулся ко мне он с необычной для меня нежностью, подкупающей лаской и тем всепокоряющим вниманием и заботой, которые так ценят и любят все люди, и особенно женщины. К сожалению, мой муж никогда не был внимателен и ласков, в нем жил человек долга и размеренности.

В первые дни внимание, забота и нежность Федора (настоящее имя его было другим) удивили и, пожалуй, чуть-чуть напугали меня, и в то же время я сама потянулась к нему, захотелось понять, заглянуть в его душевный мир, разведать тайники души и помочь, да, именно в чем-то помочь! В чем? Я и сама четко не понимала, что я могу сделать для Федора. Боже мой! Как много, огромно много значат для человека, и особенно для женщины, внимание, ласковое и заботливое слово. Жизнь шла размеренно и привычно, каждый из нас, приходя домой, знал, что скажет и спросит муж, мама, дети. Интересы в сложившихся семьях становятся почти неизменными и не выходят за рамки устоявшихся годами привычек и традиций.

С широким кругозором, энциклопедическими глубокими знаниями, энергичный, высокий, с неброской, но привлекательной мужской внешностью, Федор нравился людям, но был скромен, замкнут, сдержан и, насколько я знала, никогда не увлекался женщинами, был однолюб и очень, я подчеркиваю, очень любил свою жену Анну, с которой я многие годы дружила. В 1952 году Анюте было 43 года, Федору 46 лет. Федор с Анютой жили такою же размеренной жизнью, как и наша семья, но Анюта по характеру напоминала моего мужа, молчаливая, замкнутая, педантичная, неласковая и до удивления хозяйственная.

Федор жил работой. Специальности наши смежные, и хотя мы работали в разных организациях, но иногда нам приходилось встречаться и даже выполнять совместные работы. Федор и Аня часто бывали у нас дома, так же как и мы у них. Невольно у меня с Федором разговор переходил на интересующие нас проблемы, и тогда Анюта и муж говорили: "Неужели даже дома необходимо вспоминать работу?" Но

видя, что ничего не помогает, вели свои разговоры друг с другом или с другими гостями. Наше обычное знакомство, вероятно, продолжалось бы без всяких осложнений многие годы, если бы не пришла беда.

Именно — если бы. Весной 1952 года мы с мужем должны были поехать в небольшой сердечный санаторий, мы не раз бывали в нем и любили окружающую его природу, но поездка не состоялась, мужа неожиданно послали в длительную командировку, и его путевка пропадала. Решили предложить ее Федору, благо у него был неиспользованный месячный отпуск. "И тебе не одиноко, и свой человек будет рядом", — сказал мне муж.

Было начало мая, стояла солнечная теплая погода, светлая прозрачная зелень, раскинувшиеся холмистые дали, кружевные перелески, первые полевые цветы невольно создавали радостное, приподнятое настроение. Сверкание глади маленьких озер, связанных бесчисленными протоками, уединение, тишина, почти полное безлюдие в окрестностях санатория наполняли душу умиротворенностью, спокойствием, настраивали на лирические мысли. Вспоминались картины художников Васильева, Левитана, Нестерова. В эту весну мне все казалось прекрасным. Первые пять санаторных дней мы с Федором с увлечением ходили по окрестностям, говорили, говорили и говорили обо всем. Всегдашняя молчаливость и замкнутость Федора полностью исчезли. Было очень интересно. Обсуждали, спорили, восторгались, говорили о религии, вере, о чем только не говорили. Я была счастлива и всему радовалась. Федор вдруг открылся мне совершенно другим человеком — интеллектуальным, одаренным, ласковым, но после пятого дня пришел и шестой день, день, в который вся моя прошлая жизнь разлетелась вдребезги, и началась совершенно новая, наполненная радостью встреч, светом другого человека, огромной, сжигающей любовью.

Семья, муж, дети, вера, наставления духовного отца, женская стыдливость — все смела, словно стихийное бедствие, никогда мною не испытанная земная человеческая любовь, и я поверила, что ко мне пришла настоящая, один раз в жизни являющаяся к человеку любовь, отказаться от которой не было сил, да я тогда и не хотела отказываться. Каждый день, прожитый с Федором, был счастьем, открытием новых ощущений, радостей. Окружающий меня мир стал прекрасным, и то, что раньше казалось тусклым, серым, вдруг заблистало, высветилось, стало красивым, светлым. И это, вновь найденное в жизни, несло и несло меня бурным потоком, размывающим когда-то дорогое и любимое мое прошлое. Я с нетерпением ждала следующего опьяняющего дня, новых разговоров, встреч, близости. Никогда я не испытывала таких

чувств к мужу, его любовь и духовная близость, несмотря на то, что мы оба были глубоко верующими, не шли ни в какое сравнение с моим отношением к Федору. В своем чувстве к Федору я сгорала, забывая все и вся, и я видела, что то же происходит с Федором, только в значительно большей степени, он переродился на моих глазах. Возможно, что те, кто когда-то будут читать мои записки, удивятся, но за все семь месяцев нашей близости чувство раскаяния, сожаления о происходящем не приходило ко мне. Я любила его больше, чем человека, в мое влечение к нему входил новый огромный мир, не знаемый ранее. Критическое восприятие и осмысливание происходящего с точки зрения моего духовного прошлого было потеряно. Пишу так, как было тогда, пытаюсь говорить только правду. Федор перেродился, энергия била ключом, огромный сгусток знаний, сосредоточенный в нем, вдруг стал доступен многим, и на работе он делал открытие за открытием, замкнутость, молчаливость исчезли, и окружающие с удивлением для себя замечали, почему раньше они не знали его таким.

О том, что я верующая, он узнал, увидев мои крестик и образок, приколотые к рубашке, и каждый раз с удивлением смотрел на них. Да, было так! И даже его вопрос "А ты, оказывается, верующая?" — ни на секунду не заставил меня вспомнить прошлое, остановиться, задуматься.

Время санаторного отдыха пролетело мгновенно, мы вернулись в город, но вернулись другими людьми. Встречи наши не прерывались, наоборот, отношения стали еще более прочными, мы продолжали встречаться, сперва, где могли, тайно, но потом с большим трудом была найдена комната. Боялись всего — встреч со знакомыми, сослуживцами, родными, уходили с работы в библиотеки, в местные командировки и бежали в нашу комнату. Мы воровали свою любовь у семьи, совести, воровали перед людьми, а я крала ее перед лицом Бога. Иногда мне казалось, что я влезла в чужой дом, жадно хватаю красивые вещи и все время боюсь, что поймают, и любой шорох и скрип пугают, но больше всего боюсь, что в этом доме меня застанут мама и муж. Даже во сне эти мысли преследовали меня. Я боялась задуматься о происходящем, потому что тогда мое прошлое властно вторглось бы в настоящую жизнь, и напускное мужество, зиждущееся на воруемом счастье, оставило бы меня, и тогда падение в бездну сомнений, переживаний и мучений стало бы неизбежным. Страх перед страданиями от разбитой любви с Федором; мучений, связанных с разрушением семьи, обнаруженным обманом, пугали; тайно и тайно можно было любить, любить, только скрывая, а также не вдумываться в происходящее, не анализировать. Лгала мужу, маме, оставляла детей, всячески

изворачивалась и встречалась с Федором и не могла остановиться. Я думала, что муж ничего не замечает, да и сейчас не знаю, догадывался ли он о том, что было. Слишком он всегда был молчалив. На мои вымышленные задержки, раздражительность не реагировал, только стал более внимателен, больше уделял времени детям и много молился.

Сколько могла продолжаться такая жизнь, не знаю, но на исходе седьмого месяца тяжело и длительно заболела старшая дочь. Вначале лечили дома, бессонные ночи у кроватки дочери, вызовы врачей, уход как-то невольно легли на плечи мужа и мамы. Стало хуже, и дочь пришлось положить в больницу, и здесь основная тяжесть легла на мужа. Даже в эти опасные дни я не остановилась, урывками бегала к Федору и, как мне тогда думалось, вполне законно забывалась от невзгод жизни.

На работу мне позвонила мама и сказала, что дочери стало плохо. В этот день и час я должна была встретиться с Федором, и я, невзирая ни на что, пошла к нему. Что-то около трех часов дня побежала домой, чтобы взять в больницу приготовленный мамой сверток и застала мужа, стоящего на коленях перед иконами.

"Господи! Не остави нас грешных, исцели и спаси, посети милостью Твоею", — и называл имя дочери и мое.

Осторожно выйдя из комнаты и взяв оставленный мамой в кухне сверток, я побежала в больницу. Мысль о болезни дочери, страх за ее жизнь, отчетливое сознание моего духовного падения мгновенно перевернули мою душу. Словно завеса спала с моих глаз. Я, верующая, духовная дочь о. Арсения, томящегося сейчас в лагерях, ведшего меня по пути веры, стала хуже многих неверующих, перед которыми втайне гордилась своей верой.

Прибежав в больницу, увидела мужа, склонившегося над кроватью дочери. Мне почудилось, что дочь умерла. Я кинулась к ней, муж остановил меня: "Не подходи, она сейчас спит после укола", — и отвел меня к окну.

"Я жду тебя здесь почти с утра, — сказал он и продолжил фразу: — Теперь кризис прошел, и вы обе вернулись". И эта непонятная фраза привела меня в смятение, что значит: "...и вы обе вернулись?" Мне показалось, что дочь умерла и муж в волнении говорит бессмысленные слова. Я бросилась к мужу и зарыдала. Мягко обняв меня и гладя по плечам, он повторял: "Ничего, ничего, все уже кончено, все".

Я поняла, что дочь жива и несколько успокоилась, но слова мужа таили еще какой-то смысл, видимо относившийся ко мне. Поразительно еще то, что он не уходил из больницы с самого утра, а я отчетливо видела его дома. Что это? Всю ночь просидели у кровати дочери. Оба молчали, но сколько пере-

думали... Вся моя жизнь прошла перед мысленным моим взором, и я увидела себя такой, какой была. Я боялась смотреть на мужа: его кротость, терпение сделали больше, чем любые укоряющие слова.

С этого дня моя жизнь с Федором сразу оборвалась. Конечно, я была безвольной игрушкой в руках греха, мне было стыдно за себя, что я отступилась от Бога, забыла наставления о. Арсения, за то, что пошла по пути неверности и развращенности.

Но одновременно с этим должна сказать, что прошли долгие годы после случившегося в 1952 году, я искренне каялась в происшедшем, сознавала и сознаю всю греховность содеянного, прошу Господа простить меня, но в то же время не жалею о происшедшем. Слишком искренней, настоящей и по-человечески прекрасной была наша любовь с Федором. Я ошиблась, оступилась, но я любила и, даже находясь семь месяцев в состоянии греха и сознавая его, молила Господа простить меня, так же как молю и уповаю и теперь на Его милость.

Мне говорили: раз ты так говоришь, то ты не раскаялась, не осознала глубину своего падения. Это неправда, я все осознала, но проклясть прошлое не могу и не хочу. Судить меня можно по-всякому.

Жизнь наша с мужем пошла по-прежнему, только внутренне я стала другой. Незримая черта тайны отделила меня от мужа, но он, как мне казалось, не чувствовал этого, так же был молчалив, немногословен. Знаю, он любил меня, но слишком размеренно и спокойно, иногда мне думалось, что я была для него одной из вещей, находившихся в квартире, матерью наших детей, но не женой и женщиной.

Федор ушел из моей внешней жизни, никогда не возникало даже намека на прежние отношения, мы встречались семьями, ходили друг к другу в гости, знакомство нельзя было прервать, так как мой муж и жена Федора Анна просто это не поняли бы. Наш разрыв с Федором очень сильно повлиял на него, пропала энергия, появилась вялость, работа валилась из рук, и только лет через восемь он пришел в себя. Самым неприятным было то, что Анюта по-прежнему дружила со мной, даже рассказывала мне, что в 1952 году она почувствовала увлечение Федора какой-то женщиной. Трудно и стыдно мне было это слушать.

Вот что было со мной тогда.

После встречи с о. Арсением в 1958 году прошло пять лет. Каждый месяц я приезжала к нему на исповедь, за советом и утешением и уезжала спокойная, умиротворенная, обновленная, но прошлое по-прежнему тяготило меня.

В 1963 году приехала я в октябрьские дни. О.Арсений был необычно бодр и весел. Отстояла я в его комнате вечерню и утреню, исповедовалась глубоко и искренне. О.Арсений во время исповеди был необычайно молчалив. Я подробно говорила о себе, и, когда кончила, он спросил: "Все?" "Все!" — ответила я. Он тяжело вздохнул и опять спросил как-то по-особому строго: "Все?" — и, не услышав ответа, покрыл епитрахилью и отчетливо произнес разрешительные молитвы.

Утром я с еще несколькими приехавшими причащалась. На улице было солнечно, но ветрено. Вышла в садик и села с Аней на скамейку. От вечерней исповеди, причастия и солнечного дня было радостно и спокойно.

Потом Надежда Петровна поила нас чаем со сладким пирогом и жареной картошкой, которую так приготавливать могла только она. За столом много говорили, вспоминали, рассказывали. О.Арсений после чая отдохнул, а затем захотел пойти в лес, отстоящий от города километра полтора. Ирина-доктор, как мы ее звали, не советовала ему выходить, говоря о сильном ветре и собирающихся тучах, но о. Арсений стал одеваться, вмешалась Надежда Петровна, настойчиво требуя одеться потеплее. Захотели идти с о. Арсением Аня и Ирина, конечно, каждый из приехавших хотел пойти, но раз они первые изъявили желание, остальные молчали. Аня и Ирина пошли одеваться, а о. Арсений оставался еще у себя. Выйдя в переднюю и увидя их одетыми, вдруг неожиданно сказал, посмотрев на меня: "Я пойду с Л., ей надо пройтись со мной". Вышли. Миновали улицы, огороды, старые сушильные сараи кирпичного завода, началось поле. Ветер рвал траву, сизые клочья туч, казалось, цеплялись за землю, ветки оголенных от листьев деревьев гнулись, извивались, тщетно пытаясь сопротивляться напору ветра. Ветер кружил опавшие листья, гнал их вперед, бросая нам под ноги. Слышался свист ветра, беспрерывное шуршание мертвых листьев. Было впечатление, что мы идем по чему-то живому, стонущему и умоляющему.

Мне стало не по себе. Я взглянула на о. Арсения, он шел спокойный, сосредоточенный, задумавшийся, и только отзвук слабой доброй улыбки освещал временами лицо.

Неширокая тропинка уходила к лесу. В лесу ветер стал особо ощутим. Деревья под его порывами тоскливо шумели и стонали, а листья, покрывавшие землю, приподнимались и медленно двигались по направлению ветра, наталкиваясь на корни деревьев, наползали друг на друга, чтобы при следующем порыве опять рассыпаться на отдельные движущиеся комья. Ветер, его тоскливый вой, обнаженные мечущиеся ветви деревьев, ползущие по земле листья, разорванные клочья низких осенних туч, несущихся по небу, придавили



ЕПИСКОП СЕРПУХОВСКОЙ
АРСЕНИЙ (ЖАДАНОВСКИЙ).
Наместник Чудова монастыря
Московского Кремля. Арестован
в 1929 году, находился в концлагере.
Расстрелян в п. Бутово под Москвой
27 сентября 1937 года.



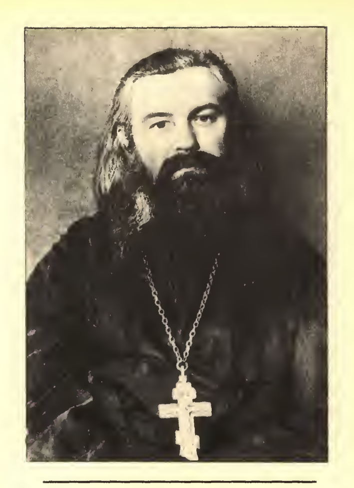
ЕПИСКОП ДМИТРОВСКИЙ
СЕРАФИМ (ЗВЕЗДИНСКИЙ).
В 1922 году несколько раз был арестован
и сослан. В 1937 году приговорен
к 10-ти годам заключения
без права переписки.
Дата смерти неизвестна.



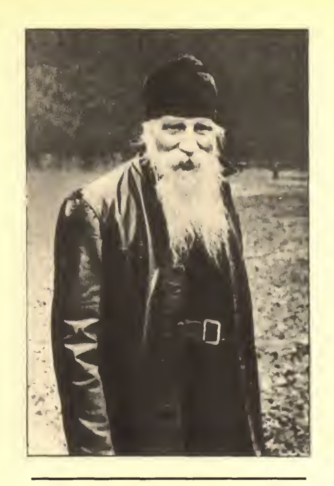
АРХИЕПИСКОП АСТРАХАНСКИЙ
ФАДДЕЙ (УСПЕНСКИЙ).
С 1922 года в ссылке.
Вновь арестован и расстрелян в Твери
31 декабря 1937 года.



НОВОСЕЛОВ
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Духовный писатель и учитель.
Был арестован и скончался
в заключении.
Год смерти неизвестен.



О. АЛЕКСАНДР ГОМАНОВСКИЙ.
Замечательный пастырь. Был арестован
и заключен в Соловецком лагере.
Пропал без вести.



АРХИМАНДРИТ ТАВРИОН
(БАТОЗСКИЙ).
Провел в тюрьмах и лагерях 29 лет.
Скончался в Преображенской
"пустыньке" под Ригой
13 августа 1978 года.



СХИАРХИМАНДРИТ МОСКОВСКОГО СВЯТО-ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ ДАНИИЛ (КЛИМКОВ).
Провел в лагерях свыше 10 лет.
Скончался в Москве 14 февраля 1970 года.



ИЕРОМОНАХ МОСКОВСКОГО
СВЯТО-ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ
ПАВЕЛ (ТРОИЦКИЙ).
Арестован в конце 20-х годов, после ссылки вторично арестован в 1939 году. Провел в Мариинских лагерях больше 15-ти лет. После освобождения в 1955 году жил в уединении и тайно окормлял своих духовных чад. Сподобился многих благодатных даров и прозорливости. Скончался в ноябре 1991 года в возрасте 97 лет. Его жизненный путь во многом напоминает жизнь отца Арсения.

меня, испортили настроение, вселили беспокойство и тревогу. "Почему именно меня позвал о. Арсений? — думалось мне. — Почему?" Он никогда не делал ничего напрасно. Думал, как помочь нам, его духовным детям, думал постоянно и вел всех нас к Богу. Вероятно, и сейчас он позвал меня неспроста. Вчера была исповедь, сегодня я причащалась, и вдруг мысль о 1952 годе словно пронзила меня.

"Отец Арсений! — воскликнула я и остановила его. — Я должна сказать Вам". И, задыхаясь от возбуждения, начала говорить.

Отец Арсений, стоя почти рядом со мной, смотрел на меня внимательно и ласково. Выслушав первые фразы моей исповеди о прошлом, он наклонил голову, перекрестился и, обращаясь ко мне, сказал: "Не рассказывайте! Не надо! Грех Ваш большой, но грех Господь простил Вам, снят с Вас о.Георгием на исповеди. Не повторяйте".

Я плакала, обливаясь слезами, пыталась продолжать и вся дрожала от внутреннего страха, смущения и стыда.

"Не надо! Я понял все. То, что не рассказали мужу, это и плохо и хорошо. Он любит Вас, а сказанное могло бы глубоко его ранить и привести к большим неприятностям в семье, но он и так все знает. Грешны мы все, помните о своем грехе перед Господом и семьей. Молитесь и молитесь, просите прощения. Я также буду молиться вместе с Вами. Главное, что решились рассказать отцу духовному. Правда очищает человека, и особенно сказанная на исповеди. Пойдемте", — и благословил меня.

Мы углубились недалеко в лес и повернули к дому. Так же свирепствовал порывистый и холодный ветер, гнулись извивающиеся ветви, ползли по земле и шуршали опавшие листья, метались по небу космы свинцовых облаков, но ко мне пришло спокойствие, то спокойствие, которого я не имела с 1952 года, и сейчас эта мечущаяся, мрачная погода больше не пугала, не томила мою душу. Отец Арсений, идя домой, был оживлен, радостен. Пока мы шли, он говорил о покаянии и как-то по-особому рассказывал мне о житии Марии Египетской. Каждое сказанное им слово имело для меня значение и несло в себе глубокий смысл.

Дома о. Арсений весь день был какой-то светлый и молитвенный, он много рассказывал нам о людях, встреченных им в жизни лагерной, говорил тексты из Евангелия и святых отцов. Говорил о грехах неисповеданных и молитве. Особенно много рассказывал о силе молитвы по взаимному уговору и вспомнил, как несколько раз молился в лагере и просил о спасении друзей своих, а сидевший здесь же за столом отец Алексей, называемый многими заглазно "Алеша-

студент", сказал: "Отец Арсений! А наше спасение в карцере, когда совместная молитва явила чудо?"

Помню слова о. Арсения, что молитва двух или трех человек, договорившихся просить об одном деле, если эта молитва идет от глубокой веры и чистого сердца, всегда сильна перед Господом и Матерью Божией.

"Грех, — говорил о. Арсений, — для большинства людей неизбежен, так как человек живет на земле, но самое основное в жизни — отношение человека к Богу, обращение к Нему через молитву искреннюю, неформальную. Покаяние, исповедь, сознание греховности и совершение добрых дел, любовь к людям, животным, природе".

"Надо постоянно помнить, — говорил о. Арсений, — слова Писания: "Мне отмщение и Я воздам" (Ап. Павла Посл. к Рим. XII, 19, 20).

Чувство мести не должно посещать нас, если оно приходит, надо бороться с ним молитвой, воспоминаниями жизни святых отцов наших, о том, как они боролись с этой страстью и побеждали ее".

Когда жажда мести одолевает нас, о. Арсений советовал встать на место того человека, которому ты хочешь мстить, и тогда станет понятно безрассудство твоих желаний.

В этот же вечер он говорил о внимании к людям и о том, что надо уметь слушать человека, рассказывающего о своем горе, и даже, если тебе непонятны его поступки, надо посмотреть на его жизнь его глазами, вникнуть, но не осуждать. Жизнь настолько сложна, что человек в большинстве случаев не знает, как он поступит.

Говоря, о. Арсений часто и подолгу смотрел на меня и, казалось, всю душу мою видел в эти моменты.

Грех, совершенный мною, не исчез, он остался. Исповедью и покаянием я не сняла его, и ответ за содеянное придется держать на Суде Господнем, но исповедь и покаяние дали мне возможность полностью осознать поступки мои, и в признании отцу духовному как бы пригвоздили к позорному столбу и этим облегчили мое смятение душевное и дали понять ничтожность себя самой.

Прощаясь со мною и благословляя, о. Арсений сказал: "Всегда помните и молитесь, просите и просите прощения. Греховность свою перед мужем не забывайте и многое прощайте ему".

Уезжала я, успокоенная. В дороге и дома долго думала и пыталась понять, откуда знал о. Арсений об исповеди у о.Георгия, я никогда и никому не говорила об этом. Великий провидец душ человеческих был о. Арсений, взглядом своим проникал и читал он самое сокровенное и тайное, что у тебя имелось.

Отец Арсений ушел, оставив нас осиротевшими, умер муж, перед которым я была виновата, ушли дети, появилось много времени для воспоминаний и размышлений, и я решила рассказать о той огромной помощи и духовной силе, которую передал он всем нам.

ЗАПИСКА

Дали мне записку для передачи о. Арсению, и я ее в дороге потеряла. Когда? Где? Не могла понять. Обнаружила потерю только по приезде.

Растерялась, разволновалась и прямо, как теперь говорят, сходу, стала говорить об этом о. Арсению. Знала я, что записка очень важная, человек, писавший ее, очень ждал ответа, но что было в записке, я не знала и даже приблизительно не могла рассказать о содержании.

Отец Арсений выслушал меня, задумался и сказал: "И в этом Господня воля".

На следующий день я уезжала, благословляя меня, о. Арсений дал мне письмо и сказал улыбаясь: "Это уж не теряйте".

Я уехала и сразу же по приезде пошла к М. . .е и перед тем, как передать ей письмо, призналась, что ее записку потеряла. М. . .е очень расстроилась и даже заплакала, но, прочтя письмо о. Арсения, несказанно обрадовалась и прослезилась, но теперь уже от радости, повторяя при этом одну и ту же фразу несколько раз: "Господи, Господи! Какая радость! Отец Арсений написал мне полный ответ на мою записку. Понимаешь, все, все написал. Ты же смеешься, что не передала записку. Откуда же он узнал о моих бедах?"

И я тоже подумала — откуда?

ПАНИХИДА

Утром о. Арсений служил обедню. В субботу приехали трое, а с ночным поездом — четверо.

Причастив всех нас, исповедовавшихся, окончив обедню, о. Арсений сказал, что мы, если хотим, можем идти пить чай в комнату Надежды Петровны, а он придет через час, так как будет служить панихиду.

Мы не ушли. О.Арсений начал служить панихиду о новопреставленном Кирилле, служил и плакал. Вся панихида была плачем души, настоящим надгробным рыданием. Плачем о близком, ушедшем друге. Не было нас, никого не было во

время службы, а была беспредельная молитва о милости, прощении, об упокоении умершего раба Кирилла.

Кто был новопреставленный, никто из присутствующих не знал, но мы понимали, что это был друг, и любимый друг о. Арсения.

Кончив служение и переодевшись, о. Арсений, грустный, пошел с нами пить чай. Разговор не вязался, пили чай молча, о. Арсений тоже молчал, а мы временами еле слышно перешептывались, потом о. Арсений ушел в свою комнату, а мы остались сидеть.

Часа в три принесли телеграмму на имя о. Арсения: "21-го марта с.г., 7 утра скончался Кирилл, сердечная недостаточность. Сын Игорь".

Телеграмма пришла из Ярославля.

Прочтя телеграмму, сразу вспомнился многим из нас Кирилл Сергеевич, добрый и хороший человек, бывший с о. Арсением в одном из лагерей.

Все мы, сидевшие, взглянув друг на друга, подумали, каким надо быть провидцем (может быть, это и не то слово), чтобы духом узнать о смерти духовного сына.

Велика сила Твоя, Господи, в избранных детях Твоих.

Я РАЗНОШУ ПИСЬМА

Запись О....р

Прожив у о. Арсения больше двух недель, Наташа возвратилась и привезла целую пачку писем, которые надо было срочно раздать.

Половину писем поручили разнести мне.

Время было тревожное, многих из наших арестовали, чувствовалось, что за оставшимися установлена слежка, поэтому разноска писем была довольно опасной.

Наташа рассказывала, что, когда она жила у о. Арсения, то за домом явно следили, а хозяйку и многих соседей вызвали в райотдел и спрашивали, кто приезжает, пишет, останавливается и служит ли он дома.

"Когда ехала я в поезде в Москву, у меня было такое ощущение, что кто-то постоянно ходит за мной. Ехала в общем вагоне, на станции сели несколько человек, но внимание мое привлекла только одна женщина, беспрерывно вертевшаяся около той части вагона, где была я.

Всю дорогу думала — как быть с письмами, если возьмут меня, но ничего придумать не могла и положилась тогда на

слова о. Арсения, когда он благословил меня при прощании: "Господь милостив. Он сохранит Вас, Он будет с Вами, ничего не бойтесь! Все будет хорошо!"

Вышла в Москве из поезда и сразу почувствовала, что за мной никто не следит. Успокоилась и без всякой тревоги пошла домой. Нервное напряжение спало, и подумалось, что все это мне казалось".

Так говорила Наташа по приезде, передавая мне письма. Мы разложили письма на столе и стали разбирать, раскладывая по известным нам именам. Ночевала я у Наташи и половину ночи проговорили об о. Арсении, его поручениях, о том, как он живет.

В семь утра вышла я из дома. Было воскресенье, народу на улицах почти не было, попадались редкие прохожие. Шла я радостная, возбужденная. Полученное мною письмо от о. Арсения принесло мне много хорошего, вселило уверенность, и прежние мои неустроенности сразу улеглись.

Отошла я от дома метров пятьдесят и почувствовала, что за мной идут. Обернулась — женщина. Возникла мысль — следят! Решила проверить, пошла быстрее и свернула в ближайший переулок. Шаги не отставали, я опять свернула у следующего переулка, женщина по-прежнему шла за мной. Стало неприятно и страшно. Защемило сердце, ноги перестали повиноваться, и я растерялась. Письма со мной, если возьмут, то подведу многих. Дошла я до конца квартала, свернула опять за угол и перешла на другую сторону улицы. Женщина упорно шла за мной, держась на расстоянии 50 — 70 метров. Было ясно, что следят. Возникла мысль бросить письма куда-нибудь и бежать, но их, вероятно, найдут, а меня знают, ведь я шла от Наташи.

Переборов растерянность и взяв себя в руки, я начала молиться. Сперва сбиваясь, но потом сосредоточилась. Пошла не спеша.

Может быть, это было и дерзновенно, но я, молясь Матери Божией, сказала: "Матерь Божия! На Тебя уповаю и на Твою только помощь надеюсь. Возьми меня под защиту Свою, вручаю себя Тебе! Помоги!"

Иду и молюсь, возложив все на Матерь Божию. Прошел страх, тревога, и на душу легла уверенность — я не одна. Охраняет меня Матерь Божия, если что и будет, то во всем воля Божия. Что бы ни было! Все зависит от Тебя, Богородица, как Ты велишь, так и будет. Иду уверенно, ничего не боясь, а шаги преследующей меня женщины стучат, стучат сзади. Пошла я еще тише и, понимая безвыходность моего положения и возложив в молитве все упование свое на Матерь Божию, обрела уверенность и спокойствие еще больше. Иду и молюсь, даже не замечаю, где иду. Одна мысль, одно

прошение — к Богородице, но слышу, что меня догоняют шаги. Дошла до пересечения улиц, завернула за угол, перекрестилась и вижу — идет рядом со мной женщина моих лет. Так же, как я, одета, все в точности, платок легкий на голове, пальто, сумочка. Идет рядом, вполоборота ко мне лицом. Лицо мне до удивления знакомое, но светлое, озаренное необычным светом.

Взглянула я, и больше на Ее лицо смотреть не могла, так оно было светло и прекрасно. Идем рядом, я молюсь, радуюсь, что со мной необычайная Спутница, но что за Спутница, не знаю, а шаги за спиной по-прежнему стучат. Прошли до следующего перекрестка, и моя Спутница, обернувшись ко мне, сказала повелительно, строго: "Остановитесь и стойте. Я пойду вперед". Сказала строго, а лицо полно доброты и света. Остановилась я, а Она — Спутница пошла вперед. Одеждой, ростом, фигурой на меня полностью похожа. Странно мне показалось зто, но я остановилась. Женщина, что шла за нами, дошла до меня, оглядела с ног до головы, потопталась, но было такое впечатление, что она на меня смотрит с удивлением. Обошла меня стороной и побежала за моей Спутницей, а Та быстро шла вперед.

У женщины, что следила за мной, когда она ненавидящим взглядом оглядывала меня, лицо было злобным и темным, казалось, вся она переполнена ненавистью ко всему живущему.

Я стояла, не имея сил сдвинуться с места, и смотрела, как впереди шла моя Спутница, похожая на меня одеждой, а за Ней — женщина-агент, шедшая до зтого за нами. Дойдя до перекрестка, завернули они за угол и скрылись, я очнулась и, молясь, пошла в обратную сторону и к часам двум разнесла все письма.

"Кого послала мне в помощь Матерь Божия? Кого?" — постоянно думала я. Но зто была Ее благодатная и великая помощь.

Через год меня арестовали, допрашивали несколько раз, следователь настойчиво добивался, что за Женщина шла рядом со мной и куда Она или я скрылись. Вызывали даже женщину-агента, рассказавшую: "Иду я, товарищ лейтенант, за ней следом, а она все петляет и за углы заскакивает, смотрю — на углу ул.Казакова кто-то стоит, подошла, и задвоилось у меня в глазах. Обе одеты одинаково, точка в точку, в платках, в ботинках, пальто, сумка, повадка при походке, наклон головы. Пошла я за ними и понять не могу, какую я от дома вела, а какая на углу появилась. Смотрю — одна остановилась, а другая быстро вперед идет, я подумала, да и пошла за уходящей. Шла, шла минут десять, а потом она у меня посреди улицы вдруг исчезла. Я Вам, товарищ лейтенант, и тогда и сейчас правду говорю — прямо так и исчезла.

Вы спросите, пусть признается, как сделала? Словно в цирке".

Что я могла ответить? Следователь кричал, даже на одном допросе бил, а я все молчала и отвечала: "Не знаю", — беспрерывно молясь Матери Божией, и наконец не выдержала и сказала: "Никуда я не пряталась и не исчезала, это меня Матерь Божия спасала, я шла и всю дорогу Ей молилась". Следователь на это засмеялся, но бить перестал.

Приговоры в эти годы были суровые, но и здесь помогла мне Богородица, дали мне только высылку на три года за сто километров от Москвы, что было самым малым наказанием.

Кого послала Матерь Божия в ответ на мою молитву? Сама ли пришла и увела следившую за мной женщину, или послала кого-то из святых, или Ангела моего хранителя. Но реально видела я чудесную свою Спутницу, слушала Ее голос, происшедшее зафиксировано в протоколе допроса.

Отца Арсения пришлось мне увидеть только в 1958 году. Рассказала я ему и спросила, что это было? И о. Арсений сказал: "По молитвенной просьбе Вашей оказала Вам великую милость Пресвятая Богородица, наша Заступница и Охранительница от бед и напастей. Чудо и большая милость была явлена Вам и мне, ибо, сохранив письма, отвела Она от многих и многих аресты, ссылки и лагеря.

Слава Тебе! Господи! Слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас. С иконой Казанской Божией Матери никогда не расставайтесь. Молитесь перед ней чаще".

Воспоминания А. В. Р-ой.

ЛЕНА

Я приехал к о. Арсению рассказать о своих делах, поисповедоваться и получить советы о многих жизненных вопросах, волновавших меня, но он был болен, и мне пришлось прожить несколько дней у гостеприимной Надежды Петровны, дожидаясь, когда о. Арсений поправится и сможет принять меня.

На второй день приехали двое, оказавшиеся мужем и женой. Юрию Александровичу было около сорока лет, а Елене Сергеевне лет тридцать пять. Оба высокие, интересные, несколько шумные и подвижные, но внутренне удивительно единые во всем, что касалось веры, жизни и отношения к людям.

Они мне понравились. На другой день я вместе с ними пошел по старинным церквам, монастырям и музеям. Разговорились и вечером я, как-то незаметно для себя, рассказал,

какими путями пришел к церкви, и, закончив, довольно бестактно почему-то спросил своих новых знакомых: "А как вы пришли к церкви?" Юрий Александрович посмотрел на жену и сказал: "Да вот, через нее", — и оба чему-то рассмеялись.

"Может быть, расскажете?" — опять спросил я, но Юрий с Леной растерянно переглянулись и перевели разговор на другую тему.

Третий день совместной жизни у Надежды Петровны еще больше сблизил нас. Наконец о. Арсений поправился настолько, что смог говорить с нами. Прожили мы еще два дня, и Надежда Петровна, как всегда накануне отъезда, устроила для всех живущих чай, называемый "прощальным".

Отец Арсений даже поднялся с постели, вышел из своей комнаты и сел с нами за стол. Врач Ирина, духовная дочь отца Арсения, специально приехавшая из Москвы для ухода и лечения, внимательно следила за каждым его шагом и движением. О.Арсений расспрашивал нас всех о Москве, новостях и сам много рассказывал нам интересного и нужного. С особой приветливостью смотрел он на Юрия и говорил с ним и вдруг в середине одного разговора сказал, обращаясь к Юрию и Лене: "Напрасно не рассказали, как пришли к церкви, обязательно расскажите или напишите и передайте Александру Александровичу (так зовут меня). Обязательно напишите и передайте", — повторил о. Арсений.

Мы были удивлены тем, что о. Арсений знал о моем вопросе к Юрию и о том, что он не ответил.

В Москве Юрий и Лена стали частыми гостями в нашем доме, а мое собрание старопечатных книг искренне заинтересовало их и привело в восторг. Месяца через два после встречи у о. Арсения Юрий смущенно передал мне свои записки, которые я, с разрешения его и Лены, даю вам читать. Прочтите! Этого хотел и о. Арсений.

"...Кончил я десятилетку, поступил в институт, стал студентом. Спорт, книги, театр, туризм были моими увлечениями. Проводил время весело, бездумно, беспечно, но учился хорошо и после окончания института был оставлен аспирантом. Через три года защитился, стал кандидатом наук и, преисполненный собственного достоинства, ушел на исследовательскую работу, как теперь говорят, в "почтовый ящик". Работа интересовала и увлекала. Раньше каникулы, потом отпуска и выходные дни проводил в туристических походах и поездках. Собрал большую библиотеку и все стремился и стремился куда-то. Чего-то мне всегда не хватало. В своих исканиях искал нового, прекрасного.

Бывало, идешь походом в горах, перед тобой расстилается безграничный мир гор, воздуха, облаков, альпийских лугов, осенних лесов, покрытых багряным листом, и хаотического

нагромождения скал. Прозрачная дымка покрывает далекие горы, на всем лежит печать таинственности, величавости и красоты, до боли в душе подавляющей тебя необъятностью и совершенством. Хотелось поклониться природе, поблагодарить ее за красоту, подаренную человеку. Наши дремучие северные леса заставляли меня погружаться в русскую сказку и чувствовать себя беспомощным пигмеем, затерянным среди великанов.

На привалах пели песни, в пятидесятых: "Кузнечик — коленками назад", "Флибустьеры", "Шагай вперед, хозяин ты земли" и многое другое. Время проходило весело, интересно, но приезжал домой и начинал ощущать внутреннюю пустоту, неудовлетворенность, тоску.

Любил несколько раз и каждый раз думал, что искренне, но проходило время, и наступало охлаждение, безразличие.

Горе принес многим, да и сам бывало страдал от отчаяния, но думал только о себе, а о чужих переживаниях не задумывался. Иногда любовь приходила, словно внезапный приступ тяжелой болезни — трясет, глохнешь и ничего не видишь, а то вползала любовь серенькая, нудная и тянулась, лишь занять время.

Вот так и шла моя жизнь, внешне удачливая, интересная, но внутренне пустая, и это я временами сознавал.

Работала у нас в конструкторском отделе девушка, инженер-конструктор лет двадцати пяти. Способная, волевая, упорная. Звали ее сослуживцы Елена Сергеевна. Рассказывали, что когда пришла в отдел работать, то стали звать ее: "Ленка, Лена", но очень серьезно она сказала: "Зачем так сложно, зовите просто Елена Сергеевна", — и отучила. Я с ней по работе часто встречался, но внимания, как на женщину, не обращал. Лена не казалась мне неинтересной, но серьезность и собранность ставили ее в моих глазах в положение этакого "синего чулка". Проработал с ней около года и все не замечал.

Собрались на экскурсию в Ростов Северный, бывал я там несколько раз, но поехал, потому что мои всегдашние спутники справляли чей-то день рождения, а я не захотел там быть.

В семь часов утра собрались в экскурсионном автобусе, он был заполнен в основном пожилыми людьми, молодых сидело всего человека четыре, в числе которых была и Лена. Приехали. Пошли, как всегда, по храмам, музеям. Экскурсовод рассказывает, но Елена Сергеевна ходит в отдалении одна и внимательно рассматривает иконы, фрески, храмы. Я экскурсовода тоже не слушал. Подошел к Лене и спросил: "Вы послушайте. Очень интересно". — "Мне неинтересно, я по-своему воспринимаю древнее русское искусство".

Пошли по музею. Рассказывает почти так же, как экскурсовод, но в интонации, оттенках слышится что-то другое. Иконы, жизнь святых, эпизоды из русской истории зазвучали в ее рассказе какой-то другой жизнью: мягче, теплее, искреннее, и на переднем плане выявилось отношение верующего человека к вере, Богу, и все это преломлялось через душу верующего. Когда пошли по храмам, Елена Сергеевна оживилась, и ростовские фрески в ее рассказе раскрылись для меня по-новому.

Фрески, иконы, архитектуру храмов подняла она на ступень одухотворенности, величественности, связав все с верой и жизнью нашего народа, его прошлым.

Заинтересовала меня Елена Сергеевна. На работе стал подходить к ней, разговаривать. Съездили в Суздаль, Углич, и поездки эти дали мне много нового. Спросил — как ей удалось узнать так подробно о древнерусском искусстве. Ответила: "Интересовалась, читала". Дальше — больше. Начал ухаживать без особого интереса. Думалось, скоро достанется.

Провожал как-то вечером и обнял, грубо, сильно, и поцеловал. Оттолкнула, вырвалась, ушла. Заело это меня. Пытался на работе подойти, заговорить. Не разговаривает, молчит, избегает. После работы догонял и пытался заговорить, молчит. Не стала одна ходить. Сказала мне только: "Не ожидала, что Вы такой грубый. Не искусством Вам заниматься! Показное, наигранное все у Вас!"

В институте сослуживцы, особенно женщины, которые все замечают, подсмеивались надо мною, видя мою привязанность к Лене, и говорили мне: "Вот она безответная любовь-то, Юрий Александрович, и до Вас дошла".

Началось лето, уехал я на юг в отпуск. Встретился там с одной знакомой, горы, палатки, походы... Увлекся, и Лена как-то забылась. Приехал в Москву и чувствую, не могу без Елены Сергеевны, нужна она мне как воздух. Опять пытался говорить, провожать — все безрезультатно. Молчит, не отвечает. Говорит только на работе по делам, и то односложно. Один раз хотел заговорить с ней на улице. Иду за ней. Вошла в метро, доехала до одной станции. Вышла и пошла переулками, я в отдалении иду за ней, дошла до церкви и, войдя, стала проходить между молящимися вперед. Прошла и встала около какой-то иконы, потом я узнал, что Николая Чудотворца. Перекрестилась несколько раз и запела вместе с хором. Я встал в стороне и наблюдаю. Лицо преобразилось, посветлело и стало сосредоточенным. Такую Лену я никогда не видел.

С этого раза каждую субботу начал, таясь, ходить в эту церковь. Встану в стороне между молящимися и потихоньку

наблюдаю за ней, но через месяца полтора Лена увидела меня. Хотел заговорить, извиниться, но ничего не помогало, и вскоре ушла она из-за меня из института. Сослуживцы, и то это поняли.

Однако я продолжал ходить в церковь, меня интересовало, что заставляет современного человека верить, да еще такую девушку, как Лена. Прихожу, прислушиваюсь, стараюсь вникнуть, понять богослужение. Мне казалось, можно интересоваться древней архитектурой, живописью, историей, любить старину, но как можно в наше время верить в Бога? Зачем? Да еще молиться. Стоять рядом с пенсионерами, старухами, слушать чтение священнослужителей, малопонятное и невразумительное. Поют, конечно, хорошо, но можно пойти в концертный зал и услышать в исполнении лучших певцов прекрасный концерт, и при этом сидя, среди достаточно культурной публики.

А здесь?

Мне захотелось вникнуть в природу современной веры. Узнать, что влечет и заставляет человека верить? Лена, увидев меня, перестала ходить в эту церковь, я продолжал, присматриваясь и изучая. Увидел, что стоят не одни старики и старухи, есть и молодежь. Рослые парни, одетые по-современному, молодые девушки, женщины с детьми, интеллигентного вида мужчины. Что могло привести сюда Лену и этих людей? Что? Хотелось спросить, подойти, разговориться.

Вначале каждую субботу, а потом и в другие дни приходил в церковь. Вслушивался, пытался понять, но из общего строя богослужения понимал отдельные слова, фразы. Вдумывался в смысл услышанного. Трудно, очень трудно разобраться. Возникает мысль, что почти два тысячелетия люди верили в Бога, Иисуса Христа, Божию Матерь, молились, поклонялись, умирали за веру, и не потому, что кто-то обманывал их или они заблуждались, а потому, что вероятно, вера в Бога является необходимой потребностью человеческой души, необходимостью. А может быть, это одно из тех психологических или психических состояний человека, которые еще недостаточно изучены?

Читаются и поются молитвы "Ныне отпущаеши раба Твоего...", "Свете тихий...", "Благослови, душе моя, Господа...". Запоминаю слова, прихожу домой, записываю, вдумываюсь и постепенно, как древняя надпись, расшифровываются фразы и смысл. Многое становится понятным, но в голове еще полный туман. Когда народ в храме поет, я тоже начинаю петь, это поднимает настроение, захватывает. Я стараюсь узнать как можно больше о христианстве. Сведений, почерпнутых мною из книг по иконописи, описанию старинных храмов, оказывается ничтожно мало. Начинаю поиски. Достаю

Евангелие, Библию, книги дореволюционных изданий о церкви, расспрашиваю кое-кого из родственников и знакомых.

Что-то проясняется, но чтение Библии запутывает, а мысли Евангелия понятны, добры, но в наше время слишком уж наивны. Иду в библиотеки, разыскиваю сочинения о религии, но там все поносится, осмеивается и ругается, и я чувствую лживый, поверхностный подход к проблемам веры, хотя кое-кто справляет церковные праздники. В церкви никого не знаю, и спросить неудобно. Случайно у одних родственников нахожу старый учебник — катехизис. С жадностью читаю его, многое проясняется, изложение сухое, тяжелое, деревянное, казенное, но смысл некоторых молитв и богослужений становится понятен. Я уже знаю, что происходит в храме во время богослужения, но в основном вечерни и утрени, так как прихожу на эти службы. Изучить, понять, осмыслить становится моим увлечением. Я вхожу в какой-то новый, ранее не известный мне мир. Мир, как оказывается, не отгороженный от современной жизни, а включающий ее.

Я так же увлекаюсь путешествиями, природой, но что-то новое, вошедшее в мою жизнь, сделало ее осмысленной, одухотворенной, заполненной, и в то же время многое кажется мне странным, несовременным, надуманным. Лену уже давно не вижу. Несколько раз бывал в других церквах, но и там ее не видел. Больше полутора лет понадобилось мне, чтобы понять службу и постичь основные правила веры, но как я еще мало знал тогда.

Многое из прежнего ушло, и новые интересы вошли в мою жизнь. Отпуск провожу в Загорске. Снимаю комнату и каждый день хожу в монастырь. Стою у раки преподобного и знакомлюсь со студентом Академии. Он объясняет и помогает многое понять, отвечает на мои вопросы. Это счастливая встреча. Наконец наступает день, когда я понимаю, почему люди верят в Бога. Я пришел в церковь только для того, чтобы увидеть Лену, но теперь прихожу потому, что не могу не ходить. Верю ли я? Или привык к церковной службе? Даже мне самому еще трудно ответить. Молитвы, читаемые в церкви, я не просто слушаю, а вникаю в их смысл и временами ловлю себя на том, что молюсь. Иду домой, а в душе еще долго живут слова молитвы, возгласов, песнопений. Прошло почти два года, как я пришел в первый раз в церковь из-за Лены. Пришел, догоняя ее, потом стал ходить из любопытства, сейчас хожу, как верующий.

Пасха. Окончился великий пост. Идет утреня. Состояние торжественности, радости охватывает стоящих в храме. Народ поет "Христос Воскресе из мертвых! Смертию смерть поправ..." Пою, конечно, и я. Всего меня переполняет нео-

быкновенный восторг, душа стремится ввысь, хочется обнять все и вся. Нет усталости, обид, нет тревог.

Кончается заутреня, отстояв обедню, иду к выходу. Народу много, пройти трудно, и я решаю выйти через левый выход храма. На ступеньках стоит Лена. Не удивляюсь встрече и говорю: "Христос Воскресе!" Лена порывисто поднимает голову, смотрит на меня. Брови радостно взлетают, глаза сияют от внутреннего восторга, лицо счастливо взволновано. Я, смотря на нее, повторяю: "Христос Воскресе, Лена!". "Воистину Воскресе!" — отвечает Лена и неожиданно тянется ко мне, и мы христосуемся на ступеньках храма. Спускаемся по ступенькам храма и идем вместе. Куда? Зачем?

Где-то из-за домов пробивается рассвет, город тих и спокоен, воздух свеж и прозрачен. Я беру Лену под руку и говорю: "Лена! Два года я ходил в эту церковь, вначале из-за Вас, потом из любопытства, а теперь прихожу, потому что верю". И начинаю рассказывать о себе. Говорю, говорю и говорю, а в душе по-прежнему звучит пасхальная служба, звучит "Христос Воскресе!".

Лена идет молча и слушает, а я смотрю на нее и все еще продолжаю говорить. Мы идем по улицам, переулкам, бульварам, не замечая, где идем. Вероятно, попадаются прохожие, но я не вижу их. Сейчас я весь в охватившей меня пасхальной службе и, нечего скрывать, полон радости, что иду с Леной. Все сегодня удивительно хорошо. Пасха, жизнь, настроение и то, что я с Леной! Мне кажется, что я переродился. Я иду и говорю Лене о Пасхе, о вере, о своей жизни и о ней самой, Лене. Она идет, опираясь на мою руку, слушает и молчит, только временами взглядывает на меня. Мне становится беспокойно и страшно от ее молчания, и я, сжимая ее руку, говорю, теряясь и задыхаясь: "Лена! Вы знаете, Лена? Вы знаете, что я хочу сказать Вам", — начинаю я третий раз и никак не могу закончить фразу до конца.

Она не вырывает руку и не отталкивает, а только смотрит на меня большими темными глазами, потом опускает их и тихо произносит: "Знаю!"

Прохожие, вероятно, с удивлением смотрят, как здоровый верзила на углу переулка обнимает и целует девушку, а, возможно, в этот ранний час и нет прохожих.

"Юрий! — говорит Лена. — Я знала, что ты по-прежнему бываешь в церкви, теперь это будет наша общая церковь".

Я не отвечаю, да, я просто обнимаю Лену, и мы идем дальше, а перед нами опять возникает церковь, из которой мы ушли после обедни, в ней идет вторая обедня.

Входим. Медленно проходим к иконе Божией Матери, прикладываемся, молимся и уходим.

Лена говорит: "Идем к моей маме, она ждет меня после заутрени".

Вот так я и пришел к церкви. Все остальное вам ясно и без моего рассказа.

Об о. Арсении. Через мать Лены два года тому назад мы приехали к нему первый раз, а теперь я езжу и езжу, каждый раз унося от него ни с чем не сравнимую радость постижения веры, наставление и руководство, как надо жить верующему в нашем современном обществе.

Написал Вам свой рассказ за один длинный вечер, написал, заставив себя вспомнить прошлое, хотя оно и не такое уж прошлое, женаты мы с Леной только четыре года.

Юрий".

КОРСУНЬ—ЕРШИ

1963—1971 гг.

В 1932 году арестовали меня, Юлю и Соню. В эти годы в основном брали верующих, или, как тогда называли, церковников.

Мы трое пришли к о. Арсению девочками, к моменту ареста мне было 23, Юле и Соне по 24 года. Дружили и всюду бывали вместе — в церкви, в гостях, в театрах, поездках, музеях.

Сидели в одной камере в Бутырках, камера была большая, человек на сорок, почти все церковники и, в основном, молодежь. Продержали три недели, вызывали два раза к следователю, вызвали третий раз, зачитали приговор — высылка из Москвы на четыре года. Приговор был какой-то странный, всех приговаривали на три года высылки, следующая ступень была — лагерь. Выпустили и предложили ехать в Архангельск, а там, мол, назначат место жительства. Я училась на четвертом курсе медицинского института, Юля работала на фабрике швеей, а Соня чертежницей в каком-то конструкторском бюро.

Дома плач, мама с папой бросились хлопотать, просить, но все оказалось безрезультатным, так же было и у Юли с Соней. Через десять дней выехали мы в Архангельск и доехали без приключений. Явились в НКВД, дали нам направление в райцентр, названия которого раньше мы и не слышали.

По Северной Двине поднялись вверх на двести километров, от пристани добрались на лошадях и оказались в нашем райцентре. Пока ехали на пароходе, увидали, что кругом голод, магазины пустые, хлеба не продают, висят только хому-

ты, дуги и постромки. В дороге питались тем, что взяли с собой из Москвы.

После долгих уговоров разрешили переночевать в коридоре "дома крестьянина", утром пошли в райотдел. Разговоры шепотом, слухи одни страшнее других. Пришли к уполномоченному, очередь ссыльных. Крик, ругань, матерщина, только не бьют. Кого на лесозаготовки, кого на сплав или строить дороги, всех без разбора: мужчин, женщин, молодых, стариков. Страшно, молимся про себя.

Подошли, подаем документы, что-то хотим сказать. Взглянул искоса и зашелся в крике — "контра", "проститутки", и через слово матерщина.

Юля высокая, красивая, настоящая русская красавица, посмотрел на нее и чуть бить не стал. Кричит: "Сволочь! Отъелась на рабочих харчах!"

Документы отобрал и ушел куда-то. В очереди говорят: "В лес, девушки, пошлют, на смерть, а тебя, высокая, к начальству в кровать" (это про Юлю).

Господи, Господи! Чего мы только не натерпелись. Пришел уполномоченный, бумаги подписаны, бросает их нам и опять в крик: "Сегодня же вон из города", — и пошла ругань.

Взяли бумаги, у всех троих направление в село Корсунь. Стали искать подводу. Расспрашиваем, где Корсунь, говорят, верст двадцать от райцентра. Бегали, искали и только к середине дня нашли возчика с двумя ящиками на возу. Заломил с нас немыслимую цену, что-то около тридцати рублей. Выхода нет, согласились. Возчик был пьян, всю дорогу ругался, пытался приставать то к Юле, то к Соне, меня назвал хворобой и пренебрежительно махнул рукой. Два или три раза телега опрокидывалась в грязь, поднимали телегу, ящики, собирали упавшие вещи и совсем раскисшего возницу. С невероятным трудом проехали около десяти верст и заночевали в какой-то деревне. Утром тронулись, но у Юли пропал узел с одеждой, искали долго, не нашли и поехали дальше. Выезжали, возчик был мрачен и трезв, но по дороге опять захмелел, видимо, незаметно выпил. На одном из поворотов воз опрокинулся, и Юлин узел с одеждой оказался старательно зарытым на телеге под сено.

К вечеру второго дня добрались до нашей Корсуни. Ткнулись в один дом, второй, третий — хозяева не пускают. Возчик сбросил наши вещи и уехал. Моросил дождик, густо и тяжело лаяли собаки, кругом окружала темнота. Мы устали, промокли, хотелось есть и плакать от полной неизвестности. Молиться в этот момент я не могла. Юля же не теряла присутствия духа и, помню, сказала нам: "Девочки, вы постойте здесь и молитесь Николаю Угоднику, а я пойду по селу, может быть, кто и пустит".

Минут через тридцать пришла Юля, сказала, что нашла ночлег у одной старухи.

Большая изба. Огромная русская печь, по стенам лавки, стол, прибитый к полу, в углу темная доска иконы. В избе холодно, но печь горячая. Разделись, забрались на печь, улеглись и пролежали без сна всю ночь. За ночь вещи высохли, мы прогрелись и оживились.

Бабка высокая, костлявая и необычайно злая к нам, ссыльным.

"Нагнали вас тут, поганцев, — говорила она нам, — вот ничего и не стало. Ты скажи, девка, куды керосин делся? Сахара нет, соли нет. Принесло вас".

Утром обнаружили, что пропал мой сверток с платьем, конечно, украл возчик. Цену за жилье бабка заломила, как и возчик за подводу, большую. Поели, что было с собой, переоделись и пошли в сельсовет для отметки прибытия.

В большом пятистенке размещался сельский совет. Помещение было замусорено и заплевано до предела. Председатель, высоченный рыжий мужчина, хмуро оглядел нас, взял документы, записал в книгу фамилии и сказал: "В Корсуни жить не разрешу, валяйте отселева в Ерши, и всего три версты. В понедельник и четверг на отметку являться ко мне или к Михалеву. Милиционер Михалев приезжать будет. Вам не разрешено никуда отлучаться. Народ не смущайте, агитацию не разводите, у меня чтобы тихо все было, а то в райцентр отправлю, там разговор короткий. Мне за вас отвечать надо".

Я робко спросила, где можно купить продукты. Председатель засмеялся и зло сказал: "Советская власть врагов не должна кормить, не обязана". Тем наш разговор и кончился.

Пришли к бабке и видим: в избе собрались одни девки и бабы — разложили наши вещи на лавках, рассматривают, примеряют, смеются. Особенно смешными показались им наши лифчики и кружевные комбинации, только и слышалось: "Срамота!"

Еле-еле собрали разбросанные вещи и под дружный смех пошли в Ерши. Все взять не смогли, книги и тяжелые корзинки оставили. Нагрузились до предела. Три версты оказались пятью. Моросил дождь, ноги тонули в грязи, разъезжались, обессилев, дошли.

Сняли избу у одинокой бабки Ляксандры. Бабка была маленькая, сухонькая, подвижная. Большие голубые выцветшие глаза доброжелательно и приветливо смотрели на людей. Жила бабка плохо, сыны уехали в город и не появлялись в деревне, занятые своими делами, дочери повыходили замуж и забыли мать, денег никто не присылал, и она одиноко коротала свой век, питаясь тем, что давал огород.

Нас встретила хорошо и даже была рада. Деревенские новости мы знали уже на другое утро, но они не обрадовали нас. Ссыльных в деревне не было, а те, что были, умерли от голода зимой, работы найти невозможно, председатель сельсовета злой человек, купить ничего нельзя, народ сам живет впроголодь.

В избе было тепло, спали мы на печи, над головой шуршали голодные тараканы, из щелей вылезали и кусали блохи, на полу спала старая овца — единственная скотина бабки Ляксандры. Первое время питались тем, что привезли, но продукты кончились и надо было что-то делать. Писали письма в Москву, но переводы и посылки нам не доставляли, надо было получать разрешение ехать в район на почту, а председатель не давал. Пошли проситься работать в колхоз, не взяли, хотели собирать грибы, малину и чернику для заготовителей Центросоюза, собрали, сдали на пункт, но денег и продуктов нам не дали, а посмеялись. Мы поняли, что нас обрекли на голодную смерть. Бабка Ляксандра сказала: "Жалко вас, девки, и ничем помочь не могу. Год прошлый у Ипатьевых семья жила, так же билась, померли с голодухи — ссыльные ведь".

Настал для нас голод, ни купить, ни достать ничего нельзя, мы днями сидели голодные. Стали менять носильные вещи, но крестьяне, зная наше бедственное положение, давали за шерстяное платье ведро картошки, за ботинки два фунта муки.

Было сырое лето, на огороде бабки Ляксандры ничего не уродилось, и она тоже голодала, делясь с нами, чем могла. Человеческой надежды не было никакой, и мы просили Николая Угодника, Матерь Божию помочь нам. Наступил момент, когда я усомнилась в возможности Божией помощи. Только Юля всегда и всюду верила, надеялась и говорила нам: "Господь не оставит нас, Матерь Господа нашего поможет. Отец Арсений поручил нас Ей — Богородице". Милая Юля, как много давала она мне сил своими утешениями, молитвой. Соня замкнулась, молчала, и если в Москве она много внутренне давала нам с Юлей, то теперь я опиралась только на Юлю.

Лето было дождливым, овощи на огородах ела мошкара и гусеницы, картошка гнила в земле, но грибов и малины в лесу было много. Решили собирать грибы, чернику, малину и сушить. Ходили по двое, одна из нас оставалась дома на случай проверки, чаще оставалась Соня.

Грибов было много, малины тоже, но собирать ее было труднее. Бабка научила нас сушить грибы в русской печи, и за лето мы насушили грибов килограммов тридцать с лишним. Было большим счастьем, что на дворе у бабки, не

знаю почему, было завезено несколько саженей дров и хвороста. Пришла холодная осень с проливными дождями, заморозками, по утрам лужи покрывались льдом, повалил первый снег. Из носильных вещей оставили только самое необходимое, а остальное сменяли на картошку. Незаметно установилась зима с морозами и жестокими метелями. Бабка где-то на чердаке разыскала две пары старых подшитых валенок, благодаря которым, мы могли выходить на улицу без опасения отморозить ноги.

Два раза в неделю являлись в сельсовет Корсуни на регистрацию, эти дни были для нас самыми страшными во все время нашей ссылки в Ершах и Корсуни. Председатель, отмечая документы, с особым удовольствием матерился, кричал, заставлял подолгу ожидать на улице, уходил куда-то или просто сидел на скамеечке около сельсовета и обменивался новостями с проходящими друзьями и товарищами, делая вид, что не замечает нас. Каждую минуту мы ждали, что куда-нибудь отправят или заставят выполнять неведомо что.

Если председатель отсутствовал, регистрацию вела молодая женщина с необычайно грустными, усталыми глазами, лицо ее с правой стороны было чем-то изуродовано, и поэтому к посетителям она поворачивалась всегда левой стороной. Она молча брала наши справки, давала в руки перо для расписки в журнале и, не произнося ни одного слова, отпускала. Только однажды, посмотрев на Юлю, сказала: "Какая ты красивая", — и здоровая щека ее залилась румянцем.

Часто в понедельник и четверг сельсовет почему-то днем бывал закрыт, мы ждали до темноты, появлялся председатель или секретарь, регистрировал нас, и мы шли в Ерши ночью по раскисшей грязи в дождь. Хуже всего было ходить зимой в метель. Становилось страшно, жутко, отовсюду чудилась опасность, но мы шли и шли.

Раза два-три приставали парни, но милость Божия спасала нас.

Несколько раз приезжал в Ерши на лошади милиционер Михалев, обыкновенно долго топтался в сенях дома, вытирая ноги, молча входил, садился на лавку, доставал тетрадь, химический карандаш, смотрел на нас, словно на неодушевленные предметы, давал расписаться в книге, вставал и говорил всегда одну и ту же фразу: "Дела, дела, на месте, значит, девки!" — и, оглядывая нас и избу недобрым взглядом, уезжал. Лицо Михалева было квадратной формы, лохматые брови топорщились над глазами, глубокие морщины, словно след от удара топором, прорезали в самых неожиданных направлениях лоб, щеки, подбородок. Михалев

производил впечатление языческого идола, вырубленного из куска дерева, лицо казалось недобрым, злым.

Бабка Ляксандра при его приходе начинала суетиться, волновалась и выходила из дома. Мы Михалева не любили, боялись его посещений, взгляда, носимой им тетрадки и даже лошади, на которой он приезжал.

Лютая северная зима скрутила нас, и мы только тем и спасались, что грелись у печки. Тепло поддерживало нас, но голод одолевал. Грибы, грибы и грибы в двух видах — суп и каша из них. Если удавалось достать пять или шесть картошек, крошили их в грибное месиво, и нам казалось, что живем по-царски.

Юля начала болеть, вначале желудок, потом ослабли ноги, руки, и она окончательно слегла. Первый раз в начале декабря не пошла на регистрацию. Пошли я и Соня, сказали, что Юля больна, но председатель не поверил, начал кричать и ругаться, изощренно, цинично, угрожающе. Идя домой в Ерши, мы всю дорогу плакали. На другой день приехал Михалев, проверить, не сбежала ли Юля, но увидел, что больна, разрешил не являться.

Недели через две из района приехали с обыском, перерыли все вещи, отобрали Евангелие, Псалтирь, молитвенники, и с этого времени мы могли молиться только по памяти.

Соня раза четыре или пять ходила одна зачем-то в Корсунь и один раз даже ночевала там. Выглядела она лучше Юли и меня, но последнее время подолгу задумывалась, молча ходила по избе, садилась и отчужденно смотрела в окно.

Я пыталась заговорить, спросить ее, но она упорно молчала и как-то в одну из сред ушла утром в Корсунь, осталась там ночевать, а в четверг принесли от нее записку:

"Умирать с голоду не хочу, надо жить. Судите меня, но я не вернусь. Одной молитвой не проживешь. Прощайте. Соня".

Мы с Юлей расплакались, а бабка Ляксандра, придя вечером, доложила нам: "Сонька-то с голодухи к Ваське Строкову ушла в Корсунь, в председателях колхоза ходит. Жена его весной померла, увидел Соньку, приглянулась ему, ну и спутались. Охлопотал он ее или так взял, дело ихнее, как королева жить теперь будет".

Юле от всего происшедшего стало хуже. Пошла я в Корсунь искать Соню, спрашивала и не нашла. Как же могло случиться, думала я, вместе были у о. Арсения, всех он вел, и Соня служила примером для многих. Почему так случилось, почему? Задавала себе вопрос и не могла ответить. Еще более и истовее мы стали с Юлей молиться, умоляя Господа дать нам силы и помощь.

Бабка Ляксандра, спасаясь от голода, решила уехать к сестре в Шенкурск. "Не помощница я вам, девки, а лишний рот". Остались мы вдвоем. Прожили еще месяц, питаясь грибами. В понедельник я пошла на регистрацию. Юля совсем ослабла, и я боялась оставить ее одну.

С трудом добрела до Корсуни. Шел мелкий, колючий снег, ветер сбивал с ног. Дверь сельсовета оказалась на запоре, я потопталась и в растерянности пошла вдоль улицы. Мелькнула мысль — буду просить милостыню. Только прошла несколько шагов, смотрю — на порог одного дома выбежала девочка лет десяти и закричала: "Тетя! Тетя! Зайдите сюда". Вошла в дом, хозяйка усадила меня за стол и стала кормить.

"Я, голубушка, давно за Вами следила из окошка, как Вы к сельсовету ходили на отметку, часами ждали. Ты на отметку приходить будешь, ко мне заходи, отогреешься, покормлю. Сонька-то ваша за председателем колхоза ходит. Не тужите о ней, дерьмо завсегда кверху всплывает. Бог с ней. Хлеба-то на дорогу возьми и картошки".

Наелась я, отогрелась добротой человеческой, отдохнула и, когда увидела в окошко председателя, пошла отмечаться. Пришла в Ерши радостная, возбужденная, рассказываю Юле, кормлю ее. Прожили три дня, кончилась еда, опять настал голод. В Корсунь на отметку я не могла идти, не было сил.

Утром, не помню какого дня недели, пошла за дровами. Вышла на крыльцо, охватило меня холодом, и увидела я отчетливо лес, прилесные поля, огороды, покрытые пеленой снега. Красота необьятная, что-то нежное и торжественное было в этой голубизне снега, хрустальной чистоте воздуха, темной дымке леса. Во всем очаровании зимнего света было столько неземного, что я произнесла вслух: "Господи! Ты же здесь, но почему оставил нас. Помоги!" Но никто не откликнулся, и, качаясь, брела я носить дрова. Поленья падали из рук, но я носила и носила их в избу, охваченная раздражением и злостью. Мы брошены, мы оставлены. Умираем!

Кончив носить дрова, я остановилась на крыльце, погода изменилась, пошел крупный снег, зимнее солнце скрылось, темные сизые тучи закрыли небо, бросая на землю хлопья снега, кругом потемнело, померкло, и перед глазами кружились, переплетались и бились белые птицы. Мне стало нестерпимо жарко и душно, страх охватил меня. Держась за заледенелые стены крыльца, я с трудом открыла дверь, захлопнула ее и почти ползком добралась до лавки, где была моя постель.

На печи лежала Юля, у меня не хватило сил забраться к ней. Забылась я в беспамятстве и, как потом сказала Юля,

бредила всю ночь. Утром проснулась, попробовала встать, не смогла, окликнула Юлю, она ответила. Мы еще жили, но долго ли будем жить?

На второй день я очнулась, около меня стояла Юля и давала мне воду. Я попыталась встать, с трудом поднялась, заставив ее лечь. В доме было холодно, печь не топилась два дня, протопить не хватило сил. Мокрота и кашель душили, знобило, и я начала молиться. Утром я услышала, что в сенях кто-то возился, долго отряхивался, наконец дверь открылась, и вошел Михалев. Увидев нас лежащими, подошел, откинул одеяло, осмотрел и сказал: "Дела, дела", — и вышел.

Мы с Юлей впали в забытье, сейчас нам было безразлично — был Михалев или не был, мы умирали. Смерть медленно вползала в наш дом, в наше тело. Короткий день кончался, за стенами свистел ветер, неся хлопья снега, в избе было холодно, и старые тулупы бабки Ляксандры уже не грели.

В темноте Юля еле слышно спросила: "Люда, ты жива? Я скоро умру". Мы стали молиться Божией Матери, Николаю Угоднику и Господу, умоляя простить и принять наши души. Уже не было страшно одиночества, смерти, холода, мы понимали неизбежность происходящего и положились полностью на волю Божию. "Господи, не остави нас грешных!" — сказала Юля, и я, мысленно перекрестившись, провалилась в беспамятство.

Очнулась от удара двери. В избу вошли двое, по голосам чувствовалось — мужчина и женщина. Чиркнула спичка, зажглась лучина, и я увидела Михалева.

"Дела, дела, девки! С женой приехал". По избе ходила женщина, открывала печь, накладывала в нее дрова, передвигала чугуны. Разожгла печь и подошла к нам. "Ишь ты, как оголодала, — сказала она Юлии. — Тела-то почти не осталось". Оглядела меня, провела рукой по лицу и, обращаясь к мужу, сказала: "В печи надо девку пропарить". "Господи! Что зто?" — подумала я. Голова отчетливо работала, а память фиксировала все происходящее. Михалев вышел, внес два мешка, зажег принесенную свечу, отыскал вход в подвал и снес туда мешки.

Жена Михалева была неразговорчива, время от времени открывала заслонку, бросала в печь дрова, что-то готовила, грела, наливала. Печь топилась вовсю, но в избе было еще холодно. Михалев вышел и стал носить в избу дрова, охапка за охапкой, складывая их у печи. Наносив дрова, Михалев сказал жене: "Я поехал, а то заметят, ты под утро придешь", — и вышел.

Вера, так звали жену Михалева, закрыла дверь деревянной щеколдой, села на лавку и стала дожидаться, когда прот-

опится печь. Дрова прогорели, изба нагрелась. "Вши-то есть?" — спросила нас Вера и, узнав, что нет, удовлетворенно сказала: "Тогда враз вымою".

Часов в семь в избе стало жарко, вероятно, уже поздно ночью Вера разбудила меня. "Влезай, девка, в печь и мойся золой, липовым цветом с малиной напою, через три дня встанешь". Помогла раздеться, поднялась на гнеток и по соломе залезла в печь, там уже стояли чугуны с водой, ковш и зола. Мыться в печи научила нас бабка Ляксандра. Было неудобно, очень жарко, но мне вдруг стало лучше. Время от времени Вера открывала заслонку и, заглядывая, спрашивала: "Девка, а ты жива?" Я вымылась, приятно ломило суставы, пропала головная боль, хрип и кашель исчезли. "Посиди, посиди, прогрейся", — говорила мне Вера. Потом помогла вылезти, натянула на меня свою домотканую рубашку, завернула в тулуп и буквально забросила на печку. Напоила настоем из трав, накормила и стала таким же порядком мыть Юлю.

Утром Вера разбудила меня. "Слушай, девка. Мне по темноте от вас уйти надо, на ночь-то я приду. Ты тулуп накинь и дверь запри от греха. Подругу-то корми помаленьку, но чаще. Лежите да ешьте".

Прижалась я к Юле, а она мне говорит: "Вот видишь, по молитвам отца духовного Арсения и нашей неотступной просьбе Господь и Матерь Божия не оставили нас".

Почти каждый день приходила к нам Вера, кормила, готовила, топила. Михалев дня через четыре приехал, привез еще мешок картошки и ведро квашеной капусты. На пятый день я поднялась, Юля поправлялась медленно. За окнами крутили метели, надсадно, тоскливо, по-волчьи выл ветер, цепляясь за углы дома, морозы не уходили, а с каждым днем крепчали.

Но мы впервые за время ссылки были согреты человеческим теплом добра и любви совершенно незнакомых нам людей, помощи от которых, как нам казалось, нельзя было ожидать. Зримо, физически ощутимо Господь и Матерь Божия через Андрея, так звали Михалева, и Веру оказали нам помощь, спасли. Это было настоящее, большое чудо, оказанное нам по молитвам о. Арсения и великой милости Божией. Мы с Юлей беспрестанно благодарили Господа и с благоговением смотрели на дядю Андрея и Веру. Дивны дела Твои, Господи, и только Тебе одному ведомы пути человеческие.

Юля ожила, стала проявлять интерес к окружающему, говорила со мной и Верой, вспоминала прошлое, молилась вслух. Мы верили в милость Господа, но невольно приходили мысли: кончатся продукты, привезенные дядей Андреем, перестанет приходить Вера, что будет? Опять голод? Но

милость Божия безгранична. На десятый день я настолько окрепла, что чувствовала себя так, как когда-то в Москве.

В этот день же Вера сказала: "Андрей в больнице с братенем говорил — фельдшер он там — сходи, девка, обещал санитаркой взять. Заработок небольшой, но жить можно, продукты по талонам будешь получать, с народом здешним познакомишься, а там, что Бог пошлет. Юлю куда-нибудь потом пристроим. Андрей, девки, вас не оставит".

В понедельник утром пошла я в Корсунь. Искрился снег, горел диск солнца, и высокое просторное небо, повторяющее, отражающее искристость снега, было белое над головой и синеватое вдали. Все ложилось на душу легко, спокойно. Не перечеркивало того, что было, а, наоборот, давало возможность осмыслить, понять величие Промысла Божия.

Мы с Юлей перестрадали, умирали, но это было в прошлом. Сейчас ощущение жизни, радости того, что мы живем, заглушало и отдаляло перенесенные страдания и вселяло уверенность, что мы не одни — нас окружают люди, готовые в любой момент помочь нам, с нами Бог.

Может быть, сейчас единственно важным казалось устройство на работу, теплый платок, защищающий тебя от мороза, рукавицы, валенки. Да, это было жизненно необходимым, но не в этом было главное.

Сверкающее солнце, голубовато-искрящийся снег, темнеющий лес, охватившее меня чувство никогда не испытываемой и нахлынувшей радости, голубизна небесного свода заставили остановиться, прислониться к дереву и прославить Господа. Громко, громко!

Я шла и думала: мир наш с Юлей, кажется, сузился, он умещался в простых житейских вещах и заботах, и в то же время он был духовно безграничен, широк, всеобъемлющ.

У нас отняли молитвенник, Евангелие, Псалтирь, но того, что мы помнили, знали, того, чему научил нас о. Арсений, было вполне достаточно, чтобы быть с Богом, идти к Нему, просить Его, не быть одинокими. Мы были богаты.

Показались окраины Корсуни. Отметилась в сельсовете и стала разыскивать больницу. Больница оказалась фельдшерским пунктом, размещенным в бараке, оставленном лесозаготовителями. Было две палаты по шесть человек в каждой, маленькая каморка, называемая аптекой, приемные кабинеты, один из которых назывался — операционная. Конечно, все это я узнала, поступив работать.

Пошла к фельдшеру — Ивану Сергеевичу, он был заведующим врачебным пунктом, аптекой и родственником дяде Андрею. Спросил, что болит? Сказала, что насчет работы. Вспомнил, расспросил, дал согласие принять.

Несколько дней я мыкалась, председатель сельсовета не разрешал, фельдшер ходил в сельсовет, звонил в райотдел НКВД, Райздрав и наконец получил разрешение.

Вставала в пять утра и шла из Ершей в Корсунь, в мороз, метель, ночь. В первое время было страшно, но положилась на волю Божию. Идешь, бывало, жутко, но молишься всю дорогу и пройдешь ее незаметно.

В сельмаге по талонам давали продукты, промтовары, жители стали узнавать меня и иногда продавали картошку, капусту или меняли на промтовары, но самое главное было то, что дядя Андрей не раз привозил нам картофель, сало или даже мясо.

К апрелю месяцу Юля поправилась окончательно, появился румянец, живость, веселость. Прежней стала моя Юля. Вечерами мы много занимались с ней, когда было свободное время. Достала книжки за полную среднюю школу, решали задачи, читали. Книги я брала в Корсуни в школе, перезнакомилась с учителями.

В мае месяце отдали больнице еще один барак, увеличили штат, прислали врача-терапевта Зою Андреевну, молодую женщину лет 28-ми с ребенком. Меня перевели медицинской сестрой, а Юлю взяли санитаркой. Зажили мы уже хорошо, только мало приходило писем, а посылки ни разу за год не получили. Посылки приходили в райцентр, за получением надо было туда ехать, а разрешение на выезд из Корсуни нам не давали, и посылки, пролежав положенный срок, отправлялись обратно.

Прожили год, началась весна. Дядя Андрей приехал "проверить", на месте ли мы, и дал нам полтора мешка картошки на семена.

"Землю, девки, хорошо перекопайте и унавозьте". Пять дней копали землю, удобряли, благо старого навоза у бабки Ляксандры лежало много в сарае, а тут и сама Ляксандра от сестры из Шенкурска приехала.

"Девки, а вы-то живы? Вот не чаяла увидеть, да и сытые. Это Бог вам помог, а мне сестрин хлеб — во где сидит".

Обрадовалась порядку в доме, помогла огородом заниматься, семена капусты, репы, моркови где-то достала и говорила: "Заживем теперь, девки. Заживем".

В больнице работа налаживалась, работать было интересно, мы с Юлей многому учились. Фельдшер Иван Сергеевич оказался и человеком и специалистом замечательным. Новый врач Зоя Андреевна и я без стеснения спрашивали у него совета, опыт был у него громадный, и он умел ненавязчиво посоветовать, поправить, сказать, при этом сам всегда оставался в тени. Имей Иван Сергеевич высшее образование, давно стал бы профессором, настоящий русский самородок.

Второй год прожили хорошо. С Юлей мы еще больше сдружились и сжились по-особенному. Человек чистой и светлой души, она покорила меня своей мягкостью и в то же время стойкостью и беспредельной верой. Я часто наблюдала за ней в больнице. Больные любили ее. Если кто-нибудь тяжело страдал, она умела подойти, успокоить, утешить. Те из больных, которые соприкасались с ней, становились ее друзьями, знакомыми, готовыми сделать для нее все, что бы ни попросила, но она ни у кого ничего не просила.

На третий год приехал брат Юли, а вслед за ним и моя мама. Мы смотрели на них, как на людей иного мира, далекого-далекого от нас. Нам привезли книги, одежду, продукты. Разговоров, радости не счесть, но приезд вызвал и неприятности.

Недели через две после отъезда родных вызвали нас в район. Кто был? Зачем был? Что привезли? В то время, когда мы находились в райцентре, у нас произвели обыск, но ничего не взяли; уезжая, мы книги спрятали. В райотделе нам угрожали, пугали, грозили послать на лесозаготовки.

О Господи! Как все было трудно. Вернулись подавленные, рассказали дяде Андрею.

"Обойдется! Васька Крохин донес. Вы, девки, никого больше не приглашайте, срок-то ваш скоро кончается. Не ровен час и добавить могут".

Бабка Ляксандра больше не уезжала, привязалась к нам, полюбила, и мы отвечали ей тем же. В начале четвертого года отнялась у бабки рука и нога, но говорить могла свободно. Грубоватая речь, резкие, непривычные для нас выражения деревенского северного языка прикрывали нежную и добрую душу русской женщины. Оставленная сынами и дочерьми, она считала это вполне естественным, как птица, вырастившая своих птенцов, нежно и заботливо когда-то ухаживавшая за ними, но знавшая, что наступит время и они улетят от нее.

Писем дети больше не писали, а она не писала, так как не знала толком их адресов. Кто-то из детей был слесарь, учителка, инженер, но где?

Нас бабка полюбила и после приезда из Шенкурска звала "доченьки". Годов, как она говорила, было ей за восемьдесят. Жила бабка до смерти мужа хорошо. С тех пор, как мы стали работать в больнице, бабка прониклась к нам необычайным уважением, а меня, ведшую фельдшерский прием, называла не иначе, как по имени и отчеству — Людмила Сергеевна. Последние годы мы жили хорошо, были сыты, одеты, работали. Тяжелую домашнюю работу делали сами, ничего не давали делать бабке, а когда она слегла, старались всеми способами облегчить ее болезнь. Молились мы с Юлей вслух,

и бабушка привыкла к этому и тоже молилась с нами, говоря: "Хорошо, доченьки, на душе спокойно. Это Господь вас на мою старость привел". Месяца за три до смерти позвала нас бабушка и сказала: "Доченьки, хочу наследство вам оставить, пригляделась я к вам, и должно оно пригодиться". Потребовала, чтобы мы дверь заперли, окна занавесили и спустились в погреб. Отрыла я там в земле крынку, высыпала на стол содержимое: николаевских денег бумажных рублей на шестьсот, золотых десяток двадцать штук, несколько золотых колец и сережек.

Говорим: "Куда и зачем нам это, бабушка?" — "Куда, куда? Это Бог скажет, когда время придет. Всю жизнь муж копил для детей, а вы ближе сынов и дочерей стали, им не отдавайте", — и взяла с нас слово. Убрали мы крынку в подвал и забыли о ней.

Умерла бабушка Александра — на похороны пришли две старушки, соседки. Детям даже сообщить не смогли, адресов не знали.

В больнице мы прижились, относились к нам хорошо, но и работали мы с Юлей не покладая рук. Фельдшер Иван Сергеевич тяжело болел, и я вела прием вместо него. Пациентов было много. Врач Зоя Андреевна умела работать с больными, ладила с начальством из райздрава. Добилась строительства каменного корпуса больницы, увеличения штата, купила новый инвентарь. Смело делала операции, которые вначале меня пугали. Зое Андреевне все удавалось, работа с ней много дала мне и научила как врача.

Десятки лет прошло со времени ссылки, но я всегда помню ее и навещаю несколько раз в год. Живет она под Подольском.

Прошло четыре года, кончилась ссылка, но отпустят ли? Многих оставляли на второй срок или направляли в лагерь. Обратились мы к дяде Андрею, рассказали о наших опасениях.

"Дела, дела, — думал я об этом. Свет не без добрых людей. Проситесь на работу здесь остаться, а я уж помогу". Зачем оставаться, не сказал, мы мечтали только об отъезде. Вызвали нас в райотдел, дрожим, волнуемся. Шел 1936 год, кругом слышались разговоры о начавшейся волне репрессий, писалось в газетах о процессах, расстрелах, арестах. Принял нас начальник райотдела, полистал наши дела и спросил, куда мы хотим ехать, назвали нашу Корсунь. Удивился, сказал: "Да! Здесь кадры нужны".

Получили документы и обратно в Корсунь. Пришли в сельсовет, получили справки для прописки и получения паспорта, а оттуда пошли к дяде Андрею.

"Дела, дела, девки! Хорошо, что здесь остались, надо паспорта чистые получить. Есть в районной милиции человек, за золотое кольцо чистые паспорта выдаст. По чистому паспорту всюду пропишут, главное, что не по справке НКВД выдан. Да где золото-то достать?" Вспомнили мы о наследстве бабки Ляксандры, рассказали: "Дела, дела, девки, посмотреть надо".

Принесла я, показала. Выбрал два тяжелых кольца обручальных, а про десятки сказал: "Опасное золото, никому не показывайте, одну десятку увидят, донесут — и опять тюрьма, подумают, что золотых много. Идите паспорт получать, я предупрежу там, в районе".

Поехали в район получать паспорт. Принимает начальник паспортного отдела, очередь тянется медленно. Вошла я первая, боюсь, села, даю документы.

"Из Корсуни? Давайте". Просто, обыкновенно, открыто. Взял справки, кольцо, потом зашла Юля, и все повторилось.

Прожили мы в Корсуни более полугода. Паспорта у нас были чистые, без указания, что выданы по справке НКВД, выписались и уехали, я в Иваново кончать медицинский. Юля в Александров кончать среднюю школу экстерном и потом тоже поступать на медфак.

Месяца за три до отъезда шла я из больницы и увидела Соню, метнулась она в сторону, но по улице тянулись заборы, и тогда, повернувшись, пошла на меня. Поравнялись, я к ней: "Соня!" — а она резко сказала: "Ничего не говори мне. Довольна, счастлива, ни о чем не жалею. Умирать не хочу, рада, что выжили. Одними молитвами не проживешь. Прощай", — и пошла.

Злое, раздраженное было у нее лицо, и что-то чужое отложило на ней отпечаток. Я поняла, она боится нас, хочет стать другой, забыть прежнюю жизнь. В одежде проглядывала мещанственность, прежней интеллигентности уже не было. Пытливая мысль, раньше жившая в ее глазах, угасла, остался страх, что-то испуганное и больное. Через много лет я опять встретилась с Соней. Голодная, холодная, жестокая жизнь в Ершах-Корсуни в первый год придавила нас вначале, все было против нас: люди, природа, окружение и даже Соня, наша любимая Соня в самый трудный период жизни нашей своим уходом нанесла нам, казалось, непоправимый удар, который почти доконал нас. Уход Сони на какое-то короткое время подорвал во мне веру в великое Провидение Божие. Все решительно было против нас. Мы умирали, нам никто не мог помочь, но вдруг неожиданно пришла помощь от человека, которого мы считали наибольшим своим врагом, и тогда в ослепительно ярком свете открылась нам Великая Милость Господа, открылось то, что не знает человек, и слова "Неведомы пути Твои, Господи" стали особенно понятны. Это было

настоящее чудо, которое открывает вдруг прекрасное, сокровенное и что-то Божественное, находящееся в человеке, скрытое до поры до времени, так было с дядей Андреем и Верой. И обратное произошло с Соней. Трудности, испытания сняли с нее веру, как что-то наносное, и осталось одно житейское, будничное. Много встречали мы хороших людей: фельдшер Иван Сергеевич, врач Зоя Андреевна, бабушка Александра, или, как она звала себя, "бабка Ляксандра", добрая, чистая душа. Трогательно отдавала она нам свое наследство, трогательно заботилась, любовно называя "доченьки". Наследство бабушки помогло нам получить чистые паспорта, дало возможность получить образование, вернуться в Москву, прописаться.

Дядя Андрей с его постоянными словами: "Дела, дела, девки", молчаливый и сумрачный человек, с грубым и неприятным лицом, работавший старшим милиционером, оказался с нежной душой, добрым и отзывчивым. Нет, это не те слова, чтобы охарактеризовать дядю Андрея — замечательного, великодушного человека, готового в нужный момент положить душу и жизнь за други своя. Я очень виновата перед ним. Уезжая и прощаясь с Верой и дядей Андреем, мы горько плакали, и в этот момент он сказал: "Дела, дела, девки! Наследство бабки Ляксандры отдайте мне, а то в дорогах обокрадут, я в удобное время перешлю в баранке".

Не нужно, совершенно не нужно нам было с Юлей это наследство, и мы отдали его, но что-то подлое и противное шевельнулось у меня в душе: "Возмет дядя Андрей золото и не отдаст. Уезжаем". Прошло два года и получила я от дяди Андрея посылку, лежали в ней домотканые коврики и березовый туесок, наполненный засохшими баранками. Разломила я их и выпало наследство бабки Ляксандры.

Если бы я могла рассказать, как я плакала от стыда, от сознания своей мерзопакостности.

Дядя Андрей и Вера были куда лучше многих нас, верующих и постоянно говорящих о вере и заповедях Господних.

Не знаю, верил или не верил дядя Андрей. Спросить его с Юлей не решались, стеснялись, но разве в этом было только дело. Делами своими он у многих верующих людей поддержал веру, спас. Об этом я узнала спустя много времени.

В 1949 году мы встретились с дядей Андреем и Верой в Москве, адрес они мой знали — мы переписывались.

Согнулся он, постарела и Вера. Всю Отечественную войну прослужил сержантом, ранен не был, вернулся в Корсунь. При встрече сказал, как всегда: "Дела, дела, девки!". А "девкам" уже под сорок, были замужем, имели детей. Я сильно постарела, но Юля по-прежнему была красива, время почти не тронуло ее.

Радость наша была настолько непосредственной, что я увидела, как по лицу дяди Андрея побежали слезы, он виновато утирал их, стараясь низко наклонить голову.

В 1963 году мы с Юлей навестили нашу Корсунь. Дядя Андрей с Верой жили в маленьком домике, чистом и аккуратном, получали пенсию, работали на заводе. Корсунь неузнаваемо разрослась, вырос лесозавод, появился завод плит, механический и еще что-то.

Нашей деревни Ерши больше не было, жители бросили дома и перебрались в Корсунь. От дома бабки Ляксандры остались одни куски кирпича и черепки. Больница, где мы работали, разрослась, но ни одного человека из тех, кто работал с нами, не встретили.

Корсунь переименовали в поселок и дали другое название, от прежнего ничего не осталось. Жители были почти все приезжие из окрестных деревень и сел.

Прожили мы с Юлей три дня и уехали. Полные воспоминаний и грусти, что расставались с дядей Андреем и Верой.

ДО И ПОСЛЕ

Корсунь—Ерши

1971 г.

В конце 1962 года о. Арсений посоветовал многим из нас написать воспоминания о том времени, когда мы пришли в церковь, росли в ней, об испытаниях, выпавших на нашу долю, о людях, оставивших в сердцах наших памятный след, о жизни в ссылках и лагерях.

"Напишите! — говорил о. Арсений. — Расскажите о своей жизни в двадцатые и тридцатые годы, о жизни тех, кого вы знали и любили, это многим поможет понять те времена, оценить и не забыть путь, которым люди тех лет шли к вере и жили".

В начале 1963 года почти за два месяца написала я воспоминания о жизни и ссылке в селе Корсуни и деревне Ерши.

Прочтя записки, о. Арсений сказал:" Вы описали только один период своей жизни, дополните написанное, расскажите о своей семье, Юле, Соне, о жизни в военные годы, о том, что помогло укрепить веру, сохранить жизнь, уберегло от напастей и искушений".

Почти восемь лет собиралась продолжить записки и только в 1971 году решилась написать, но если "Корсунь—Ерши" дались мне относительно просто, то вторую часть вос-

поминаний приходилось одолевать с большим трудом. Записей и дневников я не вела, поэтому многое из прошлого потускнело, изгладилось. Бессонными ночами, перебирая годы, что-то удалось восстановить, когда была жива Юля, обращалась к ее памяти и к памяти близких друзей, но некоторые эпизоды настолько ярко запечатлелись в моем сознании, что я описывала их, словно видела только сейчас. Воспоминания не отличаются стройностью и хронологичностью, я писала так, как они возникали, и часто, рассказывая о чем-то происшедшем в тридцатые или сороковые годы, перескакивала в пятидесятые и шестидесятые, потому что мне хотелось провести сравнение или попытаться сделать обобщение.

Формирование религиозных взглядов, отношение к вере, нравственные установки, вытекающие из учения церкви и Святых отцов, учение о молитве, как о пребывании и соединении человека с Богом, почитание святых и особенно Божией Матери, любовь к ближним — все зто было вложено в нас о. Арсением.

Находясь подчас в самых трудных обстоятельствах, без всякой, казалось, духовной поддержки, не имея общения с близкими по духу людьми, мы только поэтому и выжили, что черпали из полученного источника силы для борьбы с унынием, невзгодами и сомнениями.

Мы всегда верили, что Господь и Матерь Божия по молитвам о. Арсения сохранят нас.

Трудно далась мне зта часть воспоминаний, не один раз писала я их, переписывала и опять начинала писать. Давала читать друзьям, исправляла и опять писала заново и чувствовала постоянную неудовлетворенность от написанного. После многих переделок решила оставить так, как получилось. Знаю — много повторов, фразы вяжутся словами "было","так как", "что" и так далее, но что же делать, если только так сумела написать.

О СЕБЕ

В нашей семье религия, церковь признавались и почти почитались, но поверхностно, бездумно. Церковь существовала, но зачем, для чего?

Папа по натуре был скептик, подсмеивался над церковью, обрядами, духовенство презирал, называя "долгогривые".

Мама ходила, именно ходила в церковь на Рождество и на Пасху или когда случались неприятности, а также похороны родственников и знакомых. Меня водили в церковь редко, для порядка, так было заведено, прилично, но выучили

молитвам: "Отче наш", "Богородица", а также молиться "за маму и папу". Вот что я знала до 15-ти лет. Класс, в котором я училась, был разношерстный, смесь интеллигенции и детей рабочих. Все тянулись к новому, как всегда, насмехались над прошлым, ругали попов, монахов, и я, конечно, не составляла в этом отношении исключения. В школе дружила с очень милой и хорошенькой девочкой из "приличной семьи", как говорила мама. Девочку звали Соня, мы всюду были с ней вместе.

Однажды во время каникул от нечего делать зашли в церковь, был праздник Преображения Господня — 19 августа. Пробрались вперед, службу не понимали, но она нам понравилась, захватила, вовлекла куда-то ввысь, облекала во что-то легкое, светлое. Отстояли до конца.

Выйдя из храма, Соня сказала: "Люда, до чего же хорошо, радостно на душе". Потом еще и еще раз пошли в эту церковь. Соня уже многих знала, кое с кем разговорилась, пошла на исповедь и уговорила меня. Я приготовилась рассказывать о своих взглядах и настроениях. На амвоне стоял худощавый, чуть выше среднего роста священник. Подойдя к нему, я опустилась на колени, взглянула и увидела, что он молодой, и почему-то смутилась, сразу забыв все, что хотела сказать. Он ждал. Так продолжалось несколько томительных минут, потом он мягко и вопросительно проговорил: "Вы зачем пришли?" Я стала рассказывать о себе, потом почему-то о Соне и о том, что мне нравится и что не нравится в церкви, и закончила тем, что богослужение для меня непонятно и сложно.

Священник слушал меня не перебивая, и уже за это я была ему благодарна. Кончила, и он стал задавать мне вопросы — о смысле веры, жизни и, если я молчала, сам отвечал на них, рассказывая о молитве, грехе, значении милости к людям, добре. Спросил, что меня особенно мучает, беспокоит. Я недоуменно пожала плечами и ответила, что меня ничего не мучает и не беспокоит.

"Я познакомлю Вас с человеком, хорошим, добрым и знающим православие, дружите с ним, он поможет во многом разобраться, и тогда Вы придете к исповеди как к великому таинству христианства, очищающему человеческую душу от скверны и греха. Вам надо много узнать", — и, благословив, отпустил, не приняв мою исповедь, подчеркнув, что я к ней не готова.

Всю службу я раздумывала, с кем меня познакомит священник, вероятно старуха или пожилая женщина. Хотелось уйти, чтобы не ждать нравоучений.

Священник о. Арсений познакомил меня с Наталией Петровной. Господи! Как я благодарна ей, сколько она отдала мне времени, сил и поистине сделала из меня верующего

человека, открыв то, что не было мне известно. Наталия Петровна, так я звала ее всегда, а ей было только 24 года. Только лет десять тому назад я осмелилась назвать ее Наташа. Прошло шесть месяцев, и я пошла на исповедь к о. Арсению, с сознанием значения ее и необходимости для верующего человека.

Я слушала его проповеди, бывала на беседах, занималась в кружках, много читала духовной литературы под руководством его и Наталии Петровны. Шли годы, и у меня сформировались взгляды, понятия, выработалась линия поведения, я изучила службы и стала, как мне казалось, по-настоящему верующей.

Первые годы мама с папой смеялись надо мной, считая хождение в церковь пустым, но не опасным увлечением, ребячеством. Папа, как всегда, иронизировал, рассказывал анекдоты о духовенстве и монастырях, цитировал высказывания Вольтера о религии. Потом отношения в семье обострились, постов моих не признавали, когда я молилась, старались отвлечь и мешать. Дома решили, что меня вовлекли в церковную секту, и мама однажды в субботу, ничего не сказав мне, пошла к о. Арсению, простояла всю службу, но только на другой день после обедни попала к нему.

Увидев ее в церкви, я волновалась, ожидала скандала. Наташа успокаивала, говоря: "Положись на милость Божию", — но дома никаких разговоров не было, только мама после встречи с о. Арсением стала ходить в церковь.

Вот так мама и я стали духовными детьми о. Арсения. Папа перестал иронизировать, о чем-то они, видимо, говорили с мамой, успокоился, принимал все как должное. Папа был человеком исключительной доброты, душевности, глубокой образованности, умный в жизни, но не имел собственного мнения, а, безгранично любя маму, смотрел на все ее глазами. Несколько раз папа приходил в нашу церковь к о. Арсению, но, как я поняла из маминых разговоров, речь шла уже не обо мне. Церковь, вера дали мне в жизни все. Только благодаря этому, я прожила светлую жизнь, несмотря на большие испытания, выпавшие на мою долю.

Я не была любимой или нелюбимой дочерью о. Арсения, все у него были одинаковы, только одни больше отдавали церкви, потому что имели способности и выделялись, а другие, подобные мне, приходили получать утешение, руководство, наставление и питаться от древа жизни. Очень много дала мне церковь, я много узнала и поняла, но всегда искала совета, поддержки, старалась опереться на человека более сильного и опытного в духовном отношении, и Господь посылал мне таких людей.

Еще в конце двадцатых годов о. Арсений, благословляя меня, сказал: "Люда! Вам много дано Господом, во многом Вы преуспеваете в жизни и науке, но в вопросах веры Вам отведено быть всегда ведомой". Так оно и было всегда. Тогда же о. Арсений поручил Юле опекать меня.

ЮЛЯ

В вопросах веры мне отведено быть только "ведомой", так сказал о. Арсений. Тогда меня это страшно задело: мы почти одногодки, я поступила в университет, а Юля кончила только семилетку. Наша семья корнями вросла в старую русскую интеллигенцию, а Юля? Отец и мать рабочие, без образования. Когда-то я так думала, но жизнь показала, насколько прав был о. Арсений, как он знал людей.

Встретились и познакомились мы с Юлей в церкви. Стояли в правом приделе, всегда на одном и том же месте, и приблизительно через полгода начали здороваться, потом, выходя после службы, шли до остановки трамвая, разговаривая, и стали подругами. Я же познакомила Юлю с Соней. Вот тогда и началась наша долголетняя тройственная дружба, продолжавшаяся до ссылки в Корсунь—Ерши.

Соня имела хороший и приятный голос, училась пению, пела в церковном хоре, принимала, несмотря на свою молодость, участие во всех церковных делах, всегда знала больше нас, и это как-то выделяло ее среди других.

Юля была тихой и скромной, старалась не выделяться, и даже если что-то хорошо и знала, то ждала, когда ее спросят. Родилась Юля в рабочей семье, верующей, богомольной. Мать Юли, внешне спокойная, тихая женщина — Мария Тимофеевна, ходила в Чудов монастырь к о.И., семью вела строго в православном духе. Детей не баловала, приучала ко всему и незаметно сделала их помощниками по дому.

Отец — Сергей Петрович— из староверов, человек суровый, резкий, но справедливый, верил крепко, обстоятельно, ходил с женой в Чудов, но редко, больше в свою приходскую церковь, говоря: "Милость-то Господня всюду одна". Когда приходскую церковь закрыли, вычитывал службы дома. Несмотря на внешнюю суровость, в душе был мягок, отзывчив и добр. В жене души не чаял и полностью ей подчинялся. Среди родственников ходили рассказы, что Сергей Петрович полюбил Марию Тимофеевну, когда ему было пятнадцать лет, а ей тринадцать, и это чувство пронес он через всю свою долгую жизнь, считая ее самой лучшей женщиной в мире.

Мне казалось, что Юля и брат жили в отсвете этой любви, и это отложило отпечаток на всю жизнь семьи. Мария Тимофеевна умерла первой в 1942 году, Сергей Петрович пережил ее на девять лет. Утрату перенес тяжело, но понимал, что кто-то должен уйти первым, и радовался, что тяжесть разлуки суждено нести ему, а не ей. Работал Сергей Петрович, как тогда говорили, металлистом, а на самом деле был квалифицированный слесарь-лекальщик, мастер на все руки. Увидела я Марию Тимофеевну, когда ей было около пятидесяти лет, но и в эти годы она была еще красива.

Атмосфера в их доме была пропитана верой, но без ханжества и умиления перед чем-то сладковатым и чуждым истинному православию. Когда я в первый раз пришла в их дом, меня поразило обилие духовных книг и журналов "Паломник". Светских книг было мало, но почему-то был полный Диккенс и Всеволод Соловьев.

Мария Тимофеевна службу знала хорошо, пела по-монастырски на гласы и непередаваемо четко и молитвенно читала по-славянски акафисты, службы, каноны и этому научила также и детей. Хотя, как я уже писала, образование у меня тогда было более обширным, чем у Юли, в отношении знания Святых Отцов, истории церкви и церковной службы я ни в какой мере не могла сравниться с ней и поэтому, как могла, училась у нее. Очень большое влияние на меня оказали исповеди Юли, вернее, приготовление к ним. Исповедь для Юли была большим духовным событием. Исповедовалась Юля не чаще четырех раз в год. Недели за две до исповеди она начинала готовиться, внутренне прибирала себя, просматривала и продумывала свои поступки, дела, разговоры, обиды, взаимоотношения с окружающими. Каждый день в течении двух недель читались покаянные молитвы, кафизмы. Юля становилась по-особому собранной, постилась, старалась меньше общаться с людьми, говорить. Если исповедовалась вечером, а причищалась утром, то вся ночь посвящалась молитве. Несколько дней после причастия была светлой, обновленной, и всегдашняя ее обаятельность еще больше усиливалась.

Еще в Ершах я много говорила с Юлей об исповеди, приготовлении к ней, значении и влиянии на душу верующего. Конечно, все, что мне рассказывала Юля, полностью вытекало из поучений Святых Отцов, наставлений о. Арсения, иначе и быть не могло, но главное было в том, что Юля своим примером показывала, как стать такой, как учит, советует и наставляет церковь.

В 1940 году, уже будучи врачом, я приехала к Юле в тот областной город, где она училась в медицинском институте. Было лето, экзамены у нее кончились, и мы решили поехать в

одно из сел, где была церковь, благо, нас там никто не знал. Еще до моего приезда Юля стала готовиться к исповеди, начала готовиться и я. Юля снимала комнату на окраине города, комната была маленькой, перегородка из тонких досок, хозяйка шумливая. Из-за перегородки постоянно доносился ее визгливый голос и ругань в адрес мужа или соседей.

Читать вслух или молиться мы не могли, каждое наше слово или движение слышалось по другую сторону стен. Мы говорили и молились только шепотом. Хозяйку раздражало, что она не слышит наших разговоров, она злилась, пыталась внезапно войти или подслушать. Эта постоянная напряженность портила мне настроение, раздражала, и я жаловалась Юле.

"Ты, не обращая внимания, молись!" — говорила она мне, и я невольно обратила внимание на Юлю. Стоя около стола, она читала молитвенник шепотом, и я видела, что она не слышит ругани хозяйки, убогой обшарпанной комнаты, выщербленного пола. Она ничего не видит, она молится, полностью уйдя в молитву. А я? Я блуждаю по комнате взглядом, прислушиваюсь к разговорам за стеной. Юля привлекла меня к себе, сжала мою голову и, читая над моим ухом шепотом молитвы, невольно заставила меня молиться. Конечно, эта комната была неудобна, но другой нельзя было снять, так как станция скорой помощи, где работала по ночам Юля, была через два квартала. Ночным поездом ехали в село. Сельский храм поразил меня: огромный, в мраморных колоннах, полный солнечного света, легкой дымки от ладана, он невольно настраивал верующего на молитвенное настроение. Народу в церкви было мало, все больше старики и старухи. К священнику на исповедь стояло два человека. Стали и мы. Исповедники поднимались на амвон, священник спрашивал имя, покрывал голову епитрахилью и читал разрешительную молитву.

Пошла Юля. Прошло десять, пятнадцать минут, наконец двадцать, стоящие позади меня две старушки стали возмущаться и довольно громко говорить: "Что-то отец наш Фрол закопался, или грех у девки большой. Тянет батюшка, надо раз — и в сторону".

Исповедь шла на левой стороне амвона. Когда Юля подошла, священник громко спросил имя, она ответила "Юлия". Спросив что-то, батюшка поднял руки с епитрахилью, собираясь, видимо, покрыть ее голову и дать отпущение грехов, но потом нагнулся к Юле и замер, простояв так до конца исповеди. Юля вышла, и пошла я. Священник стоял растерянный, и мне даже показалось, что со слезами на глазах.

"Вы ее подруга?— спросил он и, не дожидаясь моего ответа, сказал: — Хороший, очень хороший человек, дала мне, иерею, наглядный урок".

После обедни о.Фрол попросил нас зайти к нему, долго говорил с Юлей, явно проявляя к ней особое уважение, и при прощании спросил: "Вы не монахиня?"

По дороге я рассказывала, что видела, на что Юля ответила: "Люда! Ты пришла на исповедь, а не по сторонам смотреть", — и она была права. Эта исповедь Юли в сельской церкви надолго запомнилась мне. У Юли был особый дар рассказывать и передавать знаемое, она обладала феноменальной памятью и способностями, что дало ей возможность экстерном закончить среднюю школу и с отличием кончить медицинский факультет.

В 1961 году о. Арсений сказал: "Господь дал ей неоцененный дар внутренней духовности, глубокую веру и вечное желание отдать себя людям. Вглядитесь, как она живет, ведет семью, воспитывает детей, относится и лечит больных — она монахиня в миру,—и, обернувшись ко мне, сказал.— Спросите Люду, она жила и дружит с Юлей".

Вспоминаются Юлины рассказы в Корсуни—Ершах, в них вырисовывается ее облик.

Зимними и осенними долгими вечерами, когда мы не работали в больнице, а сидели дома, было томительно и тоскливо. Керосина не было, приходилось жить почти в темноте. Зажигалась лампадка перед маленьким образочком Николая Чудотворца и читали утреню, вечерню, акафисты, псалтырь. Первое время читали, что могли, по памяти, когда у нас отобрали книги, а потом, когда родные привезли псалтырь, часослов и несколько акафистов, читали по этим книгам. Бабка Ляксандра также молилась с нами. Кончив молиться, мы все трое забирались на широкую, теплую русскую печь. Покрывались ряднинкой и блаженно лежали. Я лежала, прижавшись к Юле, бабка около меня. В избе стояла тишина, только изредка потрескивал пол, вьюга билась о стены дома, или ветер свистел и гудел на все голоса в трубе. Я просила Юлю, чтобы она рассказала что-нибудь из житий святых, бабушка тоже говорила: "Расскажи".

Некоторое время Юля молчит, собираясь с мыслями, потом начинает рассказ, и в темноте вырастает пещера, вырытая в склоне горы, одиноко растущая пальма, отшельник, сидящий на козьей шкуре, деревянный крест, или где-то в общих чертах возникает силуэт римского города, цирка, дворца и влекомая на смерть девушка-христианка.

Но особенно мы любили рассказы из жития Преподобного Сергия, Серафима Саровского, Николая Угодника, Феодосия Тотемского, Иоасафа Белгородского. Дремучий русский лес,

инок Сергий, строящий себе келью, ученики, пришедшие к нему, первая деревянная церковь, возникающий монастырь, и на Руси является Великий святой Сергий Радонежский, воплотивший в себе все русское православие. Юлин рассказ, взятый из жития Преподобного Сергия и читанный мною не один раз, становится ярким, красочным, но по-особому близким здесь, в ссылке, среди таких же дремучих лесов.

Духовная сила Православной Церкви сливалась с историей Руси, понятием Родина, нашей суровой природой, монастырями, верой, и я понимала, что все это наше родное, неотделимо близкое, хотя и находящееся сейчас в опале, но без которого невозможно жить.

На четвертый глас мы начинаем петь тропарь : "Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти вельми подвизался в жизни временней..." и заканчиваем : "...и не забуди, якоже обещался еси, посещая чад твоих, Сергие преподобне, отче наш".

Потом пелась стихира "Преподобне отче наш Сергие, мира красоту и сладость временную отнюдь возненавидел еси, монашеское житие паче возлюбив, и Ангелом собеседник быти сподобился еси, и светильник многосветлый Российския земли..."

Темная изба, мечущийся по стенам отсвет лампадочного огонька, безмолвная тишина дома уходили, и я отчетливо видела жизнь Преподобного Сергия, церковь, где он молился, и тот далекий отделенный столетиями мир, живший верой в Господа.

Слушать Юлю доставляло большую радость, я часто думала, насколько хорошо надо было знать, запомнить и любить жития святых, службу, историю Русской церкви, чтобы суметь передать все очарование, красоту, силу веры и любви к Богу, людям, церкви — для этого и самому надо было быть очень хорошим человеком. Запомнилось мне чтение акафистов Николаю Чудотворцу, Божией Матери, Сергию Преподобному, канонов или церковных служб. Юля читала ясно, отчетливо. Веселая и общительная в жизни, она сразу становилась строгой и серьезной, голос приобретал торжественность, славянский язык звучал четко, каждое слово было понятно, значительно.

Вот тогда-то я и осознала, что молиться нужно только на славянском языке, наш разговорный язык слишком опошлен, подчас циничен. Мы молились, и тяготы жизни, страхи отступали, и сознание, что с нами Бог, охватывало тебя. Сколько мне дали Юлины рассказы, как помогли выдержать тяжесть ссылки, жизнь на краю маленькой деревеньки, затерянной среди лесов, среди чужих, враждебно настроенных людей, — может понять только тот человек, который сам пережил все это.

Вспоминаются рассказы из патерикона. Маленькие пятистрочные повести, читанные когда-то по нескольку раз, в пересказе Юли расцвечивались яркими красками, оживали.

"Авва Павел, увидя человека, пашущего на осле свое поле, сказал своим ученикам..." И этот простенький, давно забытый рассказ в дополнительном толковании Юлии становился целью жизни. Хотелось подражать и поступать именно так, как говорил авва Павел. Бабка Ляксандра, слушая Юлины рассказы или молясь с нами, восклицала: "Да как же хорошо, Господи! Господи! А люди еще грешат".

Бабушке особенно нравились рассказы из патерикона, она готова была их слушать по нескольку раз, открывая в них каждый раз что-то новое, необычное. Любила жития Алексия Человека Божия, Трифона-мученика и Адриана и Наталии, а также апокрифические сказания о Божией Матери, которых Юля помнила довольно много. Иногда задавала вопрос: "А почему же поп-то наш в Корсуни, когда церковь стояла, ничего не рассказывал, аль запрещено при царе было? Красота-то какая, а народ не знал".

Иногда вечерами после молитв бабушка сказывала нам северные сказки. Сказывала хорошо, колоритно и, вероятно, могла стать известной сказительницей. Надтреснутый старческий голос становился певуч, протяжен. В избу к нам вкатывался белок-колобок, вбегала хитрющая лиса-кума, скакал на сером волке Иван-царевич, плясала на курьих ножках избушка с Бабой-Ягой и Кощеем Бессмертным, которых бабка наделяла отвратительными прозвищами и нередко довольно крепко ругала словами, свойственными русскому народу, но это случалось, когда она очень увлекалась. За четыре года совместной жизни бабушка ни разу не рассказала двух одинаковых сказок. Начало было всегда одинаковым, стереотипным, но после двух-трех фраз знакомая сказка становилась новой, вводились новые действующие лица, расцвечивались подробности. Мы с Юлей любили эти сказки и некоторые даже записали. Добрая, хорошая бабушка Ляксандра, наша "заботница и ухаживательница", как она себя называла!

Забегу на несколько лет вперед и расскажу, как я однажды начала пересказывать своим детям сказки бабушки Ляксандры. Я рассказывала, а ребята вертелись, крутились и не слушали моих сказок. Мне было обидно, я считала сказки интересными и любила их. В момент рассказа пришла Юля с мужем и детьми, я пожаловалась ей и просила рассказать бабушкину сказку.

Напились чаю, о чем-то поговорили, и Юля начала рассказывать, и вдруг произошло чудо. В комнате зазвучал бабушкин голос, вбежала лиса, пытаясь обмануть ленивого, но

хитрого кота, зашумел лес, закукарекал петух. Слушая Юлю, я видела бабку Ляксандру, нашу избу в Ершах, огонек лампадки перед иконой Николая Чудотворца, где мы молились более четырех лет, и вдруг разрыдалась. Никто ничего не понял, кроме Юли, которая тоже расплакалась, и сказка осталась неоконченной.

Тогда, в Ершах, я тоже рассказывала, это были пересказы повестей, романов, но я сама чувствовала, что звучали они бледно. Юле я много рассказывала о строении человека, кровообращении, внутренних органах, этого требовала работа в больнице.

Бабка не любила моих лекций, говоря: "Ты бы, доченька, что-нибудь для души рассказала, а про печенки мне ни к чему".

Вспоминаются наши походы в лес. Шел третий год пребывания в Ершах. Работа в больнице поставила нас "на ноги", был кусок хлеба, надежда, что проживем здесь до конца ссылки. Летом в воскресенье, когда не было дежурств, шли в лес, выбирали полянку, расстилали старенькое байковое одеяло, ложились на спину и безмятежно отдавались своим думам. Кругом стояли высоченные, прямые, как стрелы, сосны, ржавые снизу и золотистые ближе к кронам, тяжелые разлапистые ели с темной и претемной хвоей. Белые облака с синеватой оторочкой плыли по голубому небу, верхушки сосен, качаясь, пытались дотянуться до них, и от беспредельного небесного простора слегка кружилась голова, и мысли теряли четкое очертание. Хотелось полететь за облаками в бездонное небо, и в этот момент уходили Ерши, райцентр с его вызовами на регистрацию, мысли, окрашенные тревогами и волнениями.

Проходил час, каждая из нас думала о чем-то близком и дорогом, потом Юля касалась меня рукой и говорила: "Давай молиться". Первым читался акафист Божией Матери, потом опять безмолвно лежали, вспоминая родных, церковь, друзей. Солнце поднималось выше и выше, щемящее чувство тоски охватывало временами душу, и тогда я просила Юлю что-нибудь рассказать. Сколько хорошего дали нам эти дни.

Вернусь к воспоминаниям о Юле. Через несколько лет после окончания института она вышла замуж. Замужество ее многих удивило, расстроило. Я перестала с ней видеться, осуждала ее вдоль и поперек, ругала. Вышла она замуж за молчаливого, хмурого человека, совершенно не верующего. Ухаживал он за Юлей около двух лет, упорно, настойчиво. Первое время она избегала его, но потом разрешила приходить к ней домой. Бывало, придешь к ней, а Игорь сидит насупленный, неразговорчивый, отвечающий только двумя словами: "да", "нет". Я говорила: "Юля, гони его, он

чужой, не наш". "Да что ты, он хороший", — отвечала она. За Юлей ухаживало много молодых людей верующих, родных по духу, но почему-то безрезультатно. В конце второго года ухаживания Юля согласилась выйти замуж, но поставила условием венчаться.

Венчались далеко от Москвы в сельской церкви, пригласили и меня. Я рвала и метала, отказывалась ехать, но все же поехала.

Во время венчания меня поразило Юлино лицо, оно было залито слезами и в то же время было как-то по-особенному светлым, полным раздумий. Я боялась, что замужество изменит Юлю, оторвет от церкви, а постоянное общение с неприятным (на мой взгляд!) мужем наложит плохой отпечаток. Трудно передать, как я жалела, что нет с нами о. Арсения, который остановил бы ее от этого неверного шага, но все опасения оказались напрасными. Замужество не изменило Юлю, она так же часто молилась дома, ходила в церковь, встречалась с друзьями. Трудно сказать, что она сделала, но через год муж ее неузнаваемо изменился: суровость и замкнутость исчезли, и Игорь превратился в добрейшего и общительного человека, деятельного помощника жены во всех ее делах, но самое главное, он стал глубоко верующим человеком.

Для многих из нас, и в особенности для меня, он стал другом и обрел черты совершенно новые, дотоле неизвестные.

Отец Арсений, встретившись с Игорем в 1958 году, с особой теплотой отнесся к нему.

Через два года после замужества родилась дочь, и Юля внешне переменилась, появились новые заботы, радости, огорчения, но внутренне она осталась прежней, конечно, молитве, церкви и друзьям теперь оставалось меньше времени, слишком много уходило его на работу и семью.

Наша дружба никогда не прерывалась, и по-прежнему я стремилась к Юле со всеми своими горестями и несчастиями. Прибежишь к ней, расскажешь о своем горе, выслушает она, подойдет к иконам и начинает молиться, сперва одна, потом со мной. Скажет после два-три слова, кажется, совсем простых, обнимет тебя, и ты уходишь спокойной, в полной уверенности, что Господь не оставит тебя и все идет как надо.

Заканчивая записки о Юле, скажу, что она оказала на меня огромное влияние, да и только ли на меня? Формирование духовного характера в основном происходило под ее непосредственным влиянием, и о. Арсений говорил мне об этом не один раз.

ТРИ СМЕРТИ

В первый день войны меня взяли в армию, несмотря на то, что у меня уже был сын. Направили хирургом в госпиталь для легко раненных. Ехали по направлению Минска, но уже около Смоленска нас повернули к Москве. Высадили за Смоленском, где мы и развернули работу. Раненых было много, везли без сортировки, кого попало. Начальник госпиталя попался суетливый, безалаберный, кричал без толку, но считался хорошим хирургом.

Войска отступали, госпиталь все время менял расположение, меня перебросили в полевой эвакопункт. Попали в окружение, выходили с войсками под непрерывной бомбежкой, обстрелом. Где-то везли раненых на машинах, конных подводах, оборудование, инструменты тащили на себе. Вырвались из окружения. Госпиталь — то расформировывали, то формировали вновь, и вдруг мы стремительно стали отходить на Восток.

Не о войне и своей жизни хочу рассказать, а о смерти трех совершенно незнакомых мне людей. Смерти, которая необычайно поразила меня и дала возможность осознать неисповедимость путей Господних.

Вспоминается день, когда я дошла до предела человеческих сил, и мне казалось, что жить уже невозможно. Кругом страдания, смерть, стоны, слезы, разруха. В душе у меня ничего не осталось живого, все онемело, заглохло. Такой опустошенной, онемевшей я жила почти месяц и впереди виделся только мрак и страх.

Несколько последних дней шел дождь или мокрый снег, землю расхлябило, мы с трудом выдергивали ноги из липкой грязи и продолжали двигаться в тыл с транспортом раненых. Я шла за санитарными повозками, и мне казалось, что небо над нами никогда не раскроется, солнце на нем не появится до самой моей смерти. Небо серое, низкое, промозглое, мир сузился, перемокшие оголенные деревья стали безлики, съежились и осели в разжиженную землю. Тусклый короткий день был просто длинным сумрачным вечером без конца и края. Мы не устали и не измучились, это не те слова, которыми можно охарактеризовать предел полного израсходования человеческих сил и внутренней душевной подавленности. Мне помнится, я шла и молилась только одним словом, повторяя при каждом шаге: "Господи! Господи! Господи!"

Где-то позади нас гремел бой, то приближаясь, то удаляясь, а мы ползли по месиву грязи и наконец добрались до деревни и в уцелевших домах разместили раненых и развернули операционную.

Грохот далекого боя приблизился, стали приносить раненых. Наш главный хирург, высокий, худой человек с изможденным лицом, делавшим его похожим на аскета, оперировал, а я почти автоматически, бездумно помогала. Раненых поступало много. Врачи, сестры, санитары измучены, измотаны, и трудно понять, как мы еще что-то можем делать, но делаем. Главный хирург Семен Андреевич исступленно работает и своим примером бодрит и нас.

Тогда на фронте я в какой-то мере боялась и не любила его. Во время операции, борясь за человеческую жизнь, он не щадил себя и нас, становился грубым, жестким, излишне резким, но в обыденной жизни был немногословен и застенчив.

С поля боя принесли юношу-солдата, его сопровождал лейтенант, тяжело раненный в ногу, просивший как можно скорее осмотреть и помочь раненому солдату. У юноши было девичье лицо, нежный пушок покрывал щеки, лицо заостренное от страданий, глаза закрыты. Сестры стали снимать с солдата одежду, подошла и я. Ранен в живот, откинула бинты перевязок, разрезанные ножницами, и увидела месиво из крови, грязи, обрывков одежды. Сознания нет, сильнейший шок, смерть неизбежна.

Подошел главный, посмотрел и сказал: "Все". Мы хотели уходить, но солдат вдруг открыл глаза и отчетливо сказал, смотря на меня: "Я умираю, рана смертельна, достаньте крест, он в верхнем кармане гимнастерки, приложите и перекрестите. Имя Алексей, прошу Вас".

Я склонилась над ним, достала маленький крестик, приложила к губам умирающего и трижды громко произнесла: "Господи! Прими душу страждущего и умирающего раба Алексия, во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь!"

Алексей глубоко вздохнул, поднял руку для крестного знамения, но рука бессильно упала и смог только сказать: "Господи! Прими душу мою. Благослови Вас Бог! Господи!" — вздохнул раза два и умер.

Главный хирург, сестры и санитар взволнованно смотрели на умирающего, пораженные, как и я, особой благостью и верой Алексея. Лейтенант, пришедший с солдатом, плакал.

Дня через три вечером, когда мы уже добрались до железной дороги и ехали в санитарном поезде, куда нас погрузили со всеми ранеными, главный хирург вдруг сказал мне: "Вы сделали хорошее дело, это надо было выполнить!"

Солдат, совсем мальчик, страдающий от неизмеримых болей, сознающий, что умирает, и призывающий имя Божие, показал в этот тяжелейший для меня жизненный момент глубину человеческой веры и осветил на долгие годы еще и еще раз путь, которым надо идти. Что такое моя жизненная

тяжесть по сравнению с его страданиями, предстоящей смертью, и он, несмотря ни на что, стремился к Господу, уповал на Него, звал.

Расскажу о Семене Андреевиче, главном хирурге.

После смерти Алексея нас что-то незримо сблизило. Внешне это ничем не выражалось, он так же был резок, требователен, так же кричал на операциях на меня, как и на всех остальных, но я чувствовала, что какая-то нить соединяет нас. Во время операции он стал давать мне пояснения, советовал, иногда вызывал на сложные операции, даже если я в этот день не дежурила, указывал, что читать из специальной литературы, без моих просьб приходил на операции, которые делала я.

Проработав в тыловом госпитале больше двух лет, я рассталась с ним, он уехал в Москву, как тогда говорили, "на повышение", оставил свой московский адрес и сказал, когда меня демобилизуют и я приеду в Москву, чтобы обязательно ему позвонила.

Окончилась война, госпиталь расформировали, врачей уволили в запас, и я оказалась дома в Москве, в семье. Работала в поликлинике рядом с домом, это казалось мне верхом успеха. Проработала около года, поехала в институт повышения квалификации. Там я и встретила снова Семена Андреевича, где он читал лекции, но подойти к нему постеснялась. Я простой заурядный врач, а он профессор, заведующий кафедрой. На третий день он сам подошел ко мне и сказал улыбаясь: "Людмила Сергеевна! Что же это Вы?"

После окончания института усовершенствования врачей я перешла работать к нему в исследовательский институт, и здесь-то и увидела в нем не только известного хирурга, но и большого ученого, многогранно способного человека, страстно влюбленного в хирургию и живущего постоянно только одной мыслью — спасти человека, помочь больному, облегчить страдания.

Довольно скоро мы познакомились семьями, и в домашней обстановке Семен Андреевич оказался застенчивым и чутким человеком, по-настоящему приветливым хозяином дома. Окончательное становление меня как врача-специалиста проходило под его непосредственным руководством и влиянием, и все мои успехи в этой области в той или иной мере связаны с ним.

Мир тесен, жена Семена Андреевича, Наташа, и ее мать, Александра Васильевна, оказались духовными детьми отца Петра, жившего под Ярославлем, к которому я часто ездила в последние годы.

Время было такое, что мы скрывали друг от друга многое. Хотя и бывали то они у нас, то мы с мужем у них, обна-

ружилось это совершенно случайно. В 1953 году, будучи у нас, Семен Андреевич вспомнил о смерти юноши-солдата Алексея, и о том, как я благословила его. Наташа, посмотрев на меня, внезапно спросила: "Вы верующая или просто так сделали?"

Какое-то мгновение помедлив, я ответила: "Верующая". С этого и началась наша дальнейшая дружба, но уже основанная на другом. Огромен мир человеческий, но пути Господни неисповедимы.

Запомнилась на всю жизнь и оставила тяжелое впечатление смерть одного подполковника, тяжело раненного, лет сорока пяти.

Раненный в обе ноги и нижнюю часть живота, он тяжело мучился, временами кричал и буквально выл по-звериному, не мог смириться с мыслью, что умирает. Крик его наполняла злость, ненависть ко всему живущему, он поносил Бога, Матерь Божию, Святых, призывал беспрерывно темную силу.

В неестественно расширенных глазах жил ужас и страх. Смотря куда-то в пространство, подполковник временами кричал: "Уйди! Не мучь меня!" или с кем-то разговаривал, отвечая на вопросы, или вроде бы допрашивал и угрожал: "Поддай ему, поддай. Заговоришь у меня, не такие говорили".

Эти разговоры перемешивались с изощренными ругательствами, проклятиями, криками, леденящими душу. Вначале мы думали, что он бредит, говорит и кричит в беспамятстве, но на обращенные к нему вопросы он отвечал разумно, рассказывал о себе. Временами что-то поднимало и бросало его на кровати, обезболивающие лекарства не помогали, рвал повязки, мы привязывали его к кровати, чтобы он не упал на пол, но все было безуспешно.

Фактически являясь трупом, он проявлял огромную физическую силу. Видя его страдания, я стала молиться о нем, а однажды, стоя за занавеской, сделанной из простыни и отделявшей его от кровати другого умирающего, и слыша проклятия, ругань и крики, я незаметно перекрестила его три раза. Как же он богохульствовал и кричал после этого. "Уберите ее, — это он про меня. — Вон! Вон! Она мешает мне, мучает. Уберите!" Видеть же, как я его крестила, он не мог. Я вторично перекрестила, но, испугавшись и ужаснувшись крика, богохульства и ругани, убежала, мне было страшно той тёмной силы, заключенной в нем. Слабый, обессиленный, он в этот момент сорвал повязки, разорвал бинты, привязывающие его к кровати и бросил фарфоровый поильник в дверь, пробив доску. Меня к себе на перевязку не допускал, а если чувствовал, что иду по коридору, или видел, изобретательно ругался и богохульствовал. Сестры и санитарки не любили и боялись подполковника.

Однажды я дежурила по госпиталю, ночью меня вызвала испуганная молодая врач Татьяна Тимофеевна, ласково называемая многими Танечка, дежурившая в это время во втором корпусе. "Людмила Сергеевна! — говорила она мне поспешно. — Подполковник в пятой палате буйствует, ничего не могу сделать. Помогите!" Я побежала в корпус, поднялась на этаж. Из пятой палаты слышался невообразимый крик, рев и ругань. Больные в других палатах волновались, сестры и санитары стояли в коридоре. Танечка то вбегала, то выбегала из палаты.

Я вошла, подполковник бился на кровати, словно в припадке эпилепсии, бинты пропитались кровью, бинты-привязи частью были сорваны, в глазах, налитых кровью, горела нечеловеческая злоба и ненависть. Увидев, что я вошла, он всю свою ярость обратил на меня и закричал: "Крест на ней, крест, я-то знаю, — и полилась ругань и богохульство. — Я попов и таких, как ты, многих в расход ввел, попалась бы ты мне раньше!"

Таня сквозь слезы говорила: "Я боюсь его, Людмила Сергеевна! Он какой-то весь внутренне черный, злобный. Я многих видела сумасшедших и умирающих, но такого никогда. Откуда такая злость, чем помочь?"

Действительно, чем помочь? Сестры и санитарки, стоя в коридоре, переговаривались и успокаивали больных. Я приказала привязать больного к кровати, предварительно сделав перевязку, и ввести успокаивающее лекарство, и решила остаться с ним. Было страшно. Подполковник по-прежнему поносил меня и кричал на весь этаж. Я села на стул около кровати и начала молиться про себя, повторяя после каждой молитвы: "Господи Иисусе Христе Сыне Божий! Силою Честнаго и Животворящего Креста Твоего спаси и сохрани меня и успокой раба твоего Григория", — так звали подполковника.

Молиться было трудно, я напряглась, сосредоточилась, пытаясь устремиться молитвой к Богу. Подполковник не затихал, проклинал, поносил. Прошло минут двадцать, я изнемогала, с лица от напряжения стекал пот, но страх у меня прошел, встав, подошла к подполковнику и трижды осенила его большим крестом. В первое мгновение он по-звериному зарычал, при втором крестном знамении стал затихать и при третьем замолк. Лицо приняло спокойное выражение, глаза закрылись, и он, казалось, заснул. Двадцать минут молитвы у постели человека, одержимого нечистым духом, настолько истомили меня, что в коридор я вышла полностью обессиленной, еле держась на ногах. Татьяна Тимофеевна спрашивала: "Что с ним?" Разве я могла сказать, что темные силы овладели его душой.

Дня через три подполковник умер. Мне рассказывали, что смерть была мучительной, страшной. Когда этот человек поступил в госпиталь, мы считали, что проживет он не более трех дней, но он прожил почти три недели. Земная жизнь, грехи его не давали возможности умереть. Санитарки говорили: "Нечистая сила его не отпускает, грехов много на душу взял. Связался с ней, вот и мучает его".

Третья смерть в госпитале также поразила меня. Умирал майор лет 55-ти, знал, что умрет. Газовая гангрена обеих ног, ампутация за ампутацией, исчерпаны все средства, но гангрена поднимается все выше и выше. Дней за пять до смерти вывезли его в отдельную палату, а за два дня до смерти позвал меня.

"Людмила Сергеевна! Помощь мне Ваша нужна, давно к Вам приглядываюсь, верующая Вы? — я согласно кивнула головой. — Не удивляйтесь, что узнал, старый — вот людей и вижу. Давным-давно в церковь ходил, а потом отошел, забылось все как-то, а Бог есть. Хочу прощения у Него попросить. Умру, заочно отпойте, а сегодня к вечеру святой воды и просфоры частицу достаньте. Может быть, у Вас и сейчас есть?" "Есть", — ответила я, пошла за своей сумочкой и достала кусочки, почти крошки хранившейся у меня просфоры и маленький пузырек от лекарств, в котором всегда находилась святая вода. Это было мое сокровище, бережно хранимое и всегда бывшее со мной во время войны.

"Хотел бы в грехах покаяться, но как? Расскажу Вам, а Вы, когда Бог пошлет, священнику расскажите от моего имени. Можно это сделать?"

Я не знала, можно ли? Но утвердительно кивнула головой. Майор лежал прямо передо мной, с ампутированными ногами выше колен, с заостренными чертами лица, высохший, совершенно седой. Последние дни возникали боли, приводившие его в бессознательное состояние, но он не кричал, не стонал, а только крепче сжимал обескровленные губы в те моменты, когда сознание еще не покидало его.

Еле слышно, временами замолкая от боли, он начал рассказывать. Говорил с большими перерывами около трех часов, говорил не щадя и не выгораживая себя, потом замолк минут на десять и сказал: "Все, все без утайки рассказал Вам, Людмила Сергеевна, нерасказанное мучило меня. Теперь прошлое в Ваших руках, мне стало легче. Дайте!" Он бережно проглотил кусочки просфоры, отпил из ложки святую воду, медленно перекрестился три раза.

"Слава Богу, умру по-человечески. Отпойте в церкви еще Дашу, Федю и ..." — потерял сознание. Через день, так и не приходя в сознание, умер.

В 1946 году, после демобилизации, я рассказала исповедь майора, звали его Николаем, отцу Петру, а в 1958 году о. Арсению.

Отец Арсений, выслушав, сказал: "Глубокая, проникновенная исповедь внутренне большого человека, да приимет его Господь в обители Свои. Поминайте в молитвах своих Николая, Дарью и Феодора, и я на проскомидии буду всегда поминать", — и прочел для Николая, как для исповедника, разрешительную молитву.

Вспоминая эти видимые мною смерти совершенно различных людей, я отчетливо ощущала тогда огромное влияние силы Божией, это укрепляло во мне веру, вселяло уверенность, давало возможность жить и понимать Господнее произволение.

Смерть солдата Алексея показала беспредельность человеческой веры, ее силу, стремление и любовь к Богу. Открытое проявление темных сил при смерти подполковника Григория давало возможность увидеть то, о чем никогда нельзя забывать и с чем надо постоянно бороться молитвой к Богу и Матери Божией или, говоря современным языком, быть духовно бдительным.

Смерть майора Николая, человека, в последний час пришедшего к Богу, открыла тогда мне пути человеческие и дала возможность услышать исповедь искреннюю, не щадящую себя, и тогда я воочию поняла — что такое исповедь полная, исповедь души человеческой.

ЕЩЕ РАЗ КОРСУНЬ — ЕРШИ

Возвращусь еще раз к жизни в ссылке, в Корсуни—Ершах, для того чтобы показать, как милость Господа и Пресвятой Богородицы хранила нас.

Зимой после почти двухсуточного дежурства Юля и я шли из Корсуни в Ерши. Ярко светила луна, голубел искрами снег, дорога, петляя между сугробами, уходила в лес: Тишина стояла необычайная, только скрип снега под ногами нарушал ее. Усталые от работы, бессонных ночей, ухода за тяжело больными, мы с удовольствием шли по дороге и, выйдя за околицу Корсуни, по установившемуся у нас с Юлей правилу, начали молиться. Прочли правило, акафист Божией Матери. Юля начинала, я продолжала читать и так, меняясь, молились до самого дома. Отошли от Корсуни около версты, навстречу шло четверо, подошли подвыпившие молодые парни.

"Монашки! Наконец-то дождались", — местные жители за глаза называли нас монашками. Не сворачивая, пытались мы

пройти по дороге вперед. "Стой, девки, не напрасно ждали. Ублажим!" Обнимают, хватают за руки, говорят гнусности, толкают, дышат в лицо винным перегаром. Прошу: "Ребята, пустите, оставьте, домой идем".

Смеются, понимают, что если и пожалуемся, никто за нас не заступится — мы ссыльные. "Айда к стогу, посмотрим, что за монашки".

Я, отталкивая, прошу отпустить, кричу. Юля стоит на дороге словно одеревеневшая. Губы сжаты, глаза на парней смотрят отчужденно, строго, а я отбиваюсь и вижу: Юля медленно поднимает руку, крестится несколько раз, крестит меня и так же неподвижно стоит посередине дороги.

Отвращение, беспомощность, леденящий душу страх наваливаются на меня, и даже мысль о Боге приходит только тогда, когда я вижу крестящуюся Юлю. Продолжая бороться с ребятами, я сквозь слезы кричу: "Матерь Божия! Помоги!" Парни тащат меня к стогу, Юля стоит с двумя парнями посередине дороги, они ошалело топчутся около нее, и вдруг сзади раздается: "Эй! Давай с дороги", — из Корсуни движется конный обоз. Оттолкнув парней, я бросаюсь к саням и кричу возчику: "Отец, спасите! Насилуют!" — "Садитесь, девки, да никак ты — фельшерка. Я вас, поганцы, сейчас топором огрею, будете знать, как приставать".

Парни ошалело топтались, а Юля тихо подошла и села рядом со мной на сани. Обоз остановился, возчики подошли к нам. "Ежели, девки, они вас обидели, мы хулиганам зададим, их тепереча много развелось".

Приехали в Ерши, я всю дорогу плакала, Юля сидела молча. Рассказываю бабке Ляксандре, трясусь, а Юля опустилась на колени перед образочком Пресвятой Богородицы и начала молиться. Ночью спросила Юлю: "Ты испугалась?" "Конечно, испугалась и понимала, что ничто человеческое не могло спасти нас, только милость Божия и заступничество Матери Божией было нашей надеждой, и Пресвятая Богородица не оставила нас и послала нам помощь".

Вспоминается шестое ноября 1935 года в клубе, расположенном в бараке, где проводили торжественный Октябрьский вечер. Почему-то пригласили и нас в обязательном порядке. Клуб полон народа, на помосте президиум. После торжественной части обещали крутить кинокартину. Идти не хотелось, но наша заведующая сказала, что надо пойти. Сели в самых задних рядах. Доклад о международном и внутреннем положении: через фразу — "великий, мудрый, гениальный вождь, отец родной" и, конечно, о бдительности и врагах народа.

Началось чествование передовиков труда, тогда их называли стахановцами. Один, второй, третий выступают, расска-

зывают о своих трудовых успехах и вдруг на трибуне высоченный лесоруб, недавно лежавший у нас в больнице, начавший выступление с международного положения, потом прошелся по врагам народа, перешел к трудовым достижениям и потом называет Юлино имя, отчество и фамилию: "Товарищи! Лежал я в больничке, тяжело болел, думал, помру, но выходила меня санитарка стахановка Юлия, настоящий ударник труда", — и пошел, и пошел. Почему в президиуме нет, благодарность не зачитывали?

Собравшиеся в зале кричат, одобряют оратора. Поднялся в президиум "наш Рыжий", так мы называли председателя сельсовета, и, срывая голос, начал говорить. "Граждане, тут неувязочка вышла, санитарка, которую назвал лесоруб Федин, не ударник труда, а вражина, враг народа, отбывающая наказание в нашем районе. Сейчас она с подругой пробралась на наше собрание. Федин попался на удочку врага. Удалим враждебный злемент с нашего трудового собрания. Ставлю на голосование. Кто за? Кто против? Воздержавшихся нет. Единогласно".

Под общее улюлюкание и свист мы стали выбираться из задних рядов. В проходе толкали нас и даже плевали в лицо.

Прошло не одно десятилетие, но даже теперь обидно и горько, как отнеслись к нам на собрании. Мы боялись неприятностей от НКВД, все могло быть в зто время, но, слава Богу, обошлось без последствий.

Работа в больнице оборачивалась для нас иногда неприятностями. У председателя сельсовета, "нашего Рыжего", жена должна была родить. Привезли, положили в больницу, и сразу начался скандал у врача Зои Андреевны. Председатель кричал: "Не дам, не позволю роды контре принимать. Знаем мы их, всюду вредят, ребенка изуродуют. В район поеду, снятия добьюсь". Зоя Андреевна успокаивала разбушевавшегося отца, обещала сама принимать роды, но роженица, пролежав четыре дня, ночью в мое дежурство родила. Ребенок родился здоровый, роды прошли благополучно, жена председателя оказалась приветливой женщиной, всему была рада и благодарна, хотя и сознавала себя, в некотором роде, первой дамой в Корсуни.

Какой же был шум, когда председатель узнал, что роды принимали мы с Юлей, и я начала думать, что нашей жизни в Корсуни приходит конец.

"Если ребенок или мать заболеют, тюрьма вашей своре", — кричал он. Но Бог был милостив, ни в больнице, ни дома мать и ребенок более полугода ничем не болели, что и на самом деле было удивительно. Господь хранил нас.

Еще тогда в Корсуни мы отчетливо поняли, что такие люди, как председатель сельсовета, медсестра Полина, работавшая

в больнице, сотрудники райотдела НКВД, унижавшие и издевавшиеся над нами, искренне верили, что мы враги, и их отношение к нам являлось результатом внутренней убежденности в нашей виновности. Осуждать этих людей было трудно, предшествующие годы воспитали в них недоверие и ненависть к людям.

Встречалась и другая категория людей — жестоких и безразличных, которые просто не умели сочувствовать, представлять себе чужое горе, чужую боль. И наносили удары, мучили и убивали с полным бездушием, потому что они никогда не знали и не хотели знать евангельских истин о добре, любви и милости. Эти люди любили только себя.

Расскажу еще о нескольких тягостных днях в Ершах.

Бабушка Ляксандра умерла, и мы жили в избе одни. Юля была в больнице на дежурстве, я дома. С вечера слегка морозило. Ночью погода переменилась. Утром с реки рваными клочьями пополз серый туман. Цепляясь за нижние ветки деревьев, кустарники, он падал в низины и медленно карабкался на склоны. Вначале пелена тумана стелилась по земле, и чудилось, что все закрыто серым и плотным одеялом, на котором поднимались мокрые деревья, крыши домов, верхушки заборов, но затем он стал подниматься к небу, стараясь слиться со свинцовыми облаками, неподвижно висевшими над миром.

Жду прихода Юли, время тянется мучительно и нудно.

Домашняя работа переделана, приготовлен обед, протоплена печь, наколоты дрова, несколько раз прочитано правило. В избе полутемно, керосина нет, лампадку не зажигаю, мало масла. Пробую уснуть для того, чтобы не видеть серого, грязного дня, мутной пелены тумана, отделившей от меня свет, солнце, лес, для того, чтобы избавиться от мрачных мыслей, сковывающих сознание. Уснуть не удается. Тяжелые и серые мысли приходят одна за другой. В душу вползает тоска, гнетущая, пугающая так же, как туман, ползущий по земле и сжавший ее в своих объятиях.

Пробую бороться, но уныние, тоска, черные неумолимые мысли подламывают меня, обессиливают, сминают. Мечусь по избе, пытаюсь что-то делать — не помогает. Начинаю молиться, опускаюсь на колени, становится легче, но потом сбиваюсь, тревожные мысли вытесняют молитву, и опять наступает приступ страха, тревоги. В изнеможении падаю на лавку, зарываюсь головой в одеяло и начинаю рыдать, но темная, именно темная тоска одолевает все больше и больше, становится трудно дышать, думать.

"Господи! Господи! — кричу я. — Помоги!" Начинаю и опять кончаю молиться.

Что-то страшное, пугающее и давящее стоит сзади меня, я оборачиваюсь, боюсь, крещусь несколько раз, прижимаюсь спиной к стене, но ничего не помогает.

Скрипит дверь, я еще больше пугаюсь, входит Юля, а я рыдаю во весь голос, она бросается ко мне: "Что с тобой?" Бессвязно рассказываю, плачу и еще дрожу от страха. Зажигается лампадка, я вижу лучистые Юлины глаза, светлое, доброе лицо, и я начинаю рассказывать о гнетущей тоске, страхе и о чем-то стоящем позади меня.

Юля успокаивает, запирает дверь на засов, подходит к иконам, начинает читать акафист Ангелу Хранителю. Первые же слова его снимают тяжесть, успокаивают, молитва проникает в душу, и я постепенно оживаю. Я знаю, Юля очень устала, но я сейчас эгоистична и не отпускаю ее, и она не стремится уйти от меня, а всеми силами пытается помочь мне. Уже поздно, мы ложимся, и я рассказываю ей, что было со мной. Юля слушает и говорит о молитве к Ангелу Хранителю, о том, что он всегда с нами, и напоминает мне стихиру: "Яко приял еси от Бога крепость хранити душу мою, не престай кровом твоих крил покрывати ю всегда".

"Молясь Ангелу Хранителю, ты отогнала бы темное, что стояло за твоей спиной и вошло в твою душу".

Помню месяца через два меня так же охватила тоска и страх, но, начав молиться Ангелу Хранителю, я отогнала смущающие меня страхи. Такова сила молитвы к Ангелу Хранителю.

ПИСЬМА

В разлуке с друзьями и родными письма имели огромное значение, они приносили радость, ты начинала понимать, что не забыта, о тебе помнят и любят.

Письма от о. Арсения являлись жизненно необходимыми, в них давалась духовная направленность, давались ответы на наболевшие вопросы, определялся дальнейший путь в церкви. Писем, написанных мне о. Арсением, сохранилось около тридцати, но перед самой войной я отдала их М.Н., жившей на даче, на сохранение, а она их почему-то сожгла. Сохранились только два письма, полученные в Корсуни—Ершах и хранившиеся у мужа. Привожу их текст:

"Люда! Пути Господни неисповедимы. Знаю о жизни Вашей, понимаю трудности, оторванность от церкви, дома, друзей. Неуверенность, вечные опасения разъедают душу. Положитесь полностью на волю Божию, возложив упование на Господа, Он всегда с нами.

Молю о Вас Бога, верю, что все будет хорошо.

Больше опирайтесь на Юлю, верьте ей во всем. Господь дал ей чистую веру, сильную и хорошую душу. Всегда будьте вместе. Тяжелая весть о Соне расстроила меня, но в Соне много хорошего, доброго, и это никогда не угаснет в ней. Настанет время, и она опять придет к Богу. Удастся ли написать еще? Не знаю. Приложите все усилия для окончания медицинского института, помогите Юле кончить экстерном среднюю школу и поступить в медицинский институт.

Молю Бога о помощи Вам, молю Господа о Соне, и Вы не забывайте меня, ибо главные тяготы впереди. Да хранит Вас Бог и Пресвятая Богородица". Подписи, конечно, нет, только до боли знакомый почерк. Второе письмо было получено через несколько месяцев и состояло всего из трех строчек.

"Тяжко в ссылках и заключениях, но Бога ради должны мы нести крест свой, где бы Вы ни были, не забывайте совершать добро людям. Молитесь Пресвятой Богородице друг о друге и обо мне грешном. Господь всегда с нами".

Что писал о. Арсений Юле, я не знала. У нас было установлено писем друг другу не показывать.

Эти два письма предопределили мой дальнейший жизненный путь.

НЕСКОЛЬКО ГРУСТНЫХ МЫСЛЕЙ

В двадцатые, тридцатые и сороковые годы мы были молоды, полны сил, откровений, горели желанием помогать друг другу. Первые годы о. Арсений был рядом с нами, вел нас и, даже находясь в ссылках, руководил нами. Церковь нашу закрыли, служили по домам, община стала жить скрытно.

Аресты следовали за арестами, одних заключали в лагеря, других посылали в ссылку, кое-кто затаился или отошел.

Война многих из нас разбросала в разные концы страны. Начался голод, эвакуация, переезды, мобилизация. Об о. Арсении не было никаких известий, говорили, что он расстрелян, умер от голода в лагере. Даже в это суровое время община, а может быть, и не община, а просто мы, духовные дети о. Арсения, держалась вместе.

Окончилась война, мы почти все собрались в Москве, встречались, пытались как-то объединиться, заботиться друг о друге, как в былые времена, изучать что-то, ухаживать за нашими больными, но ничего не получалось.

Те из духовных детей о. Арсения, которые после войны приняли священство, уехали из Москвы, и ездить к ним часто стало невозможно.

На исходе сороковых годов и в начале пятидесятых мы вдруг обнаружили, что сильно сдали, постарели, стали не душевны, черствы, нетерпимы к другим людям. Слова о любви друг к другу, о помощи произносились так же, как и раньше, но мы хотели, чтобы больше заботились о нас, чем мы о ком-то. Нас подменили.

У каждого была семья, свои заботы, болезни, работа, дети, и во всем этом растворилась вера и добрые пожелания. Не было человека, который наставил бы нас, а сами оказались немощны.

Только около наиболее стойких и верных духовных детей о. Арсения, таких, как Наташа, Варя, Юля и еще нескольких других, группировалось небольшое количество людей, но некоторые отошли и ходили только в открытые церкви. Встречались редко, случайно, больше на похоронах, на больших церковных праздниках.

Разговоры были о здоровье, кто как живет, кто умер, болен, родились дети, внуки, получили квартиру, защитил диссертацию. Былые споры, разговоры, взаимно обогащавшие нас, совместное чтение святоотеческой литературы, обмен мнениями —все ушло в прошлое.

Былой свет померк, духовная жизнь еле теплилась.

Поражу Пастыря, и рассеются овцы, — и вдруг в 1957 году мы узнали, что о. Арсений жив и на свободе. Первые встречи, разговоры, исповеди, огромная ни с чем не сравнимая радость охватила нас. Мы потянулись к о. Арсению, к родному очагу, под его кров, но не все. Кто-то не поехал, отошел, боялся.

Стало горько за человеческую неблагодарность, черствость, забывчивость — за нас же страдал о. Арсений.

Прошел год, и в небольшом домике, в городке далеко от Москвы, появились не только мы, но и много тех, кого встретил о. Арсений на дорогах лагерных странствий. Приезд о. Арсения. встречи с ним заставили многих из нас жить по-новому, стряхнуть житейскую накипь, стать ближе к церкви. Мы по-прежнему ходили в разные церкви Москвы, но душу свою несли к о. Арсению, там у него оставляли свои горести, обиды, сомнения, тяжести жизни, отдавали ему грехи наши и получали духовное наставление и утешение, дававшее нам возможность жить в духе веры. Помню слова о. Арсения: "Идите в мире путями заповедей Господних, будьте милостивы друг к другу, старайтесь в делах своих и помыслах быть подобно монахам, хотя и живете в бурном житейском море, и тогда милость Божия не оставит вас". И еще говорил: "Молитва к Пресвятой Богородице — одна из главных и сильных молитв для верующего. Каждый день про-

веряйте поступки свои и давайте ответ в содеянном себе и Господу".

Несмотря на то, что о. Арсений был с нами и возродил многих из нас, все же мы стали другими. Молодость ушла, жизнь измотала и изломала нас, я чувствовала, что в наших молитвах больше звучали просьбы, чем прославление Господа, а когда-то было по-другому.

Однажды я спросила о. Арсения, почему так? И он несколько грустно ответил мне: "Это в какой-то мере естественно. Слишком много тяжелого перенесли люди, пережили. Было сделано все для того, чтобы вытравить из человека веру, поставить в такие условия, когда необходимо думать только о том, как выжить, преодолеть созданные препятствия. Взгляните, как построена кругом жизнь: радио, журналы, телевизор, газета, кино и театр заставляют вырабатывать стандартный образ мышления, единый для всех, а это ведет к тому, что человек ни минуты не может оставаться со своими мыслями, почувствовать Бога.

Сам темп современной жизни, ускоренный, стандартный и все время напряженный, заставляет думать односторонне в желательном кому-то направлении. Наедине с собой человек не может побыть, даже отдых его в санаториях, домах отдыха построен по определенному ритму и программе. Человеку говорят, вкладывают, учат тому, что задано, предначертано. Массы людей собраны вместе и в то же время разобщены борьбой за существование. Вот это и отразилось даже на верующих, подвело под общий стандартный уровень, сделало равнодушными. Стандартность мышления, заданное мышление мешает человеку стать верующим, а верующему сохранить веру. Но помните, Церковь Божия и в этих условиях будет жить вечно. Сохраняйте веру свою, боритесь за индивидуальность мышления, молитесь больше, читайте Священное Писание, и Господь сохранит вас, не даст потерять ясность мысли, думать, как безликая масса равнодушных, холодных людей".

ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ

Рассказ Надежды Петровны

1972 г.

"Господь хранил нас, хранил неотступно и милостиво". В 1957 году, окончательно поселившись у меня, о. Арсений первое время ни с кем не общался, а потом написал несколько

писем, и стали к нам приезжать в день по нескольку человек, в субботу и воскресенье бывало и до десяти.

О.Арсению я первое время напоминала, что это опасно, но он полагался на волю Божию, а я боялась и даже устанавливала некоторую очередность посещений, особенно в воскресные и праздничные дни. Соседи на нашей улице были хорошие и плохие, но, к сожалению, плохих было больше. Времена, конечно, были не те, что при Вожде, но все же мы оба репрессированные, бывшие лагерники, а о. Арсений священник, и при этом не служащий в церкви. Всякое могло быть.

Приблизительно через год после приезда о. Арсения заходит ко мне участковый Павел Семенович, за глаза звали его у нас "Пашка-хап". На вид лет тридцать пять, роста среднего, русый, голубоглазый, лицо открытое, улыбчивое. Вот за эту-то улыбчивость мы все его на улице побаивались. Квитанцию на штраф пишет, говорит предупредительно и улыбается.

Вошел в дом, поздоровался, спросил о моем здоровье, все ли благополучно, а потом о жильце спрашивать стал. Кто, что, откуда? Я рассмеялась и ответила: "Павел Семенович! Жилец-то прописан и милиция о нем все знает. Скажите прямо, что Вам надо?"

"Да ничего, собственно, не нужно. Да вот соседи говорят, что много народу к Вам ездит. Жилец-то священник, может на дому священствует, а это законом запрещено, для этого церкви есть".

Во время этого разговора вышел из своей комнаты о. Арсений, поздоровался и сел.

"Вы обо мне спрашиваете?"

Павел Семенович немного замялся и сказал: "Да, о Вас, гр.Стрельцов. Спрашиваю, не священствуете ли на дому? Из лагерей прибыли?"

Разговорились, Павел Семенович чему-то посочувствовал, что-то о сектантах сказал, что в городе объявились. Козырнул знанием секты иеговистов, что идут на поводу у американцев, что-то о Боге сказал. Отец Арсений отвечал и, на мое удивление, разговор поддерживал. Около часу просидел у нас Павел Семенович, выпил чаю, закусил, и денег я ему дала, в старых деньгах сто рублей. Взял, как всегда, не отнекивался, за эти поборы и прозвали его "Пашка-хап". Деньги в руки не брал, надо было положить их в боковой карман шинели или кителя. Когда деньги в карман всовывали, делал вид, что не замечает.

Уходя от нас, сказал: "Вы это, насчет приезжих осторожней",— и ушел, а потом раз в месяц стал заходить, то номер на доме посмотрит, то ограда в порядке ли, есть ли собака, домовую книгу полистает и все норовил с о. Арсением поговорить.

И как-то случалось, что о. Арсений с ним встречался, то на звонок выйдет, то услышит наш разговор и так же из комнаты выйдет, и станет наша беседа общей.

Разговоры у них странные были. О.Арсений почему-то о своей жизни рассказывал, о Москве, нашем городе, его истории, а иногда Павел Семенович начинал о себе и семье рассказывать или вступал в рассуждение о слышанном.

Не любила я этих визитов Пашки, а разговоров тем более, и как-то о. Арсению сказала: "Ну что Вы с ним разговариваете? Ходит, выглядывает, каждый раз деньги берет. Чистой воды хапуга".

О.Арсений задумчиво посмотрел на меня и ответил: "Надежда Петровна! Вы внимательно вглядитесь в Павла Семеновича и тогда увидите в нем большую искру Божию".

А я про себя подумала, где у этого хапуги может быть искра Божия?

Года два ходил к нам Павел Семенович и, прямо на удивление, всегда-то встречался с о. Арсением. Придет, посидит, выпьет чаю, закусит, поговорит и уходит. Первое время я ему деньги в карман, как всегда, вкладывала, но потом перестал брать. Не любила я его приходов, боялась, что высматривает, а о. Арсений, наоборот, при приходе Павла Семеновича оживлялся, и мне даже казалось, был рад ему.

Года через три не только что деньги брал с нас, а, бывало, придет к о. Арсению, то селедку какую-то особенную, то банку красной икры из раймага принесет, что с черного хода начальство получает, и никогда никаких денег за покупки не брал, а только говорил: "Это мой презент". Прошло еще года два, о. Арсений стал приглашать Павла Семеновича даже в свою комнату, мы все возмутились и стали говорить о. Арсению, что этого делать нельзя, а он в ответ только улыбался. Павел Семенович несколько раз предупреждал меня о соседях или о том, чтобы в некоторые субботы не приезжали или приезжал один-два человека, и тогда приходилось идти на вокзал и предупреждать приехавших о необходимости отъезда. Вероятно, в эти дни следили за домом, и, действительно, два или три раза я заставала в саду людей, изображавших пьяных, "случайно" пролезших через довольно высокую ограду.

Заходил к нам Павел Семенович не чаще двух раз в месяц, при этом обязательно побывав у соседей. На нашей улице говорили: "Хотя Пашка и хап, а у него на участке порядок".

О чем говорили о. Арсений и Павел Семенович в последние годы, не знаю, но только видела, что Паша привязался к нему.

В ноябре шестьдесят третьего года Павел Семенович пришел к нам расстроенный, умирала у него мать. Сел в столовой и заплакал. О.Арсений стал успокаивать.

"Мать верующая, всю жизнь Богу молилась, а в церковь не могла ходить, я-то партийный, по должности у людей на виду, в милиции служу. Мать очень переживала, что я участковым работаю, прозвище мое знала: Пашка-хап. Да что делать, жизнь так сложилась. Очень прошу Вас, о. Арсений, прийти к нам с Надеждой Петровной и маму поисповедовать и причастить, сама тоже просит, я ей про Вас много рассказывал. Вы ко мне вечером тихонько заходите, домик в саду стоит, я у калитки ждать буду".

Часов около восьми, как договорились, вышли мы с о. Арсением и пошли. Я чего-то боюсь, а о. Арсений чему-то радуется. Вышли на улицу: темень, дождь, пришли, у калитки ждет Павел, провел в дом. Мария Карповна совсем плоха, говорит еле-еле, только глаза горят, худая, высохшая.

Вышли мы в соседнюю комнату, стоим, переговариваемся. Жена Павла плачет навзрыд и только повторяет: "Такого человека, как Пашина мама, не найти, меня опекала, внуков воспитывала, в церковь хотела, а из-за нас ходить не могла. Иконку Матери Божией в чулане держала, там и молилась каждый день".

Часа через два вышел о. Арсений и нас позвал. Мария Карповна после исповеди оживилась, попросила приподнять ее на подушке и сказала: "Батюшка, Пашу моего и Зину не оставляйте. Христом Богом прошу. Хорошие они, а это, что Павел в милиции служит, ничего, он добрый, душа у него есть, многим помогал, как умел".

Потом ко мне обратилась: "Голубушка, Надежда Петровна, ты останься, отходную по мне прочти. Сегодня Господь приберет меня, ты уж просьбу мою уважь".

Никогда я отходной не читала, смотрю растерянно на о. Арсения, и что ответить, не знаю. О.Арсений сказал мне: "Останьтесь, я псалтырь с собой взял". Читать по-славянски умею, псалтырь много раз читала, о. Арсений и службу меня заставил изучить, с того времени, как я верующей стала.

Конечно, осталась, хотя и страшно. Жена Павла пошла провожать о. Арсения. Остались в комнате Павел и я. Зажгли свечку, стала я читать, волнуюсь, сбиваюсь, но потом взяла себя в руки.

Мария Карповна лежит с открытыми глазами и изредка с большим усилием крестится. Павел около меня стоит, Зина пришла, уложила детей и тоже с нами начала молиться.

Ночь, поздно, я уставать стала, временами воду пью, но читаю и читаю. Поднимаю голову, вижу, Мария Карповна что-то сказать хочет. Подошла я.

"Подожди, голубушка, чуток, прощусь я с Павлом и Зиной, и ты тоже после подойди".

Было в этом прощании что-то неизбежное, глубоко грустное. Мария Карповна была сосредоточенно серьезна, ласкова, и ни тени боязни не мелькнуло на ее лице.

Павел и Зина, припав к руке матери, тихо плакали, но в глазах каждого было столько глубокой любви и какого-то сознания, понимания, что смерть это не ужас, а Великая неизбежность, которую надо освятить лаской, добротой, и верить, что связь с умершим не прервется. В дальнюю дорогу уходила Мария Карповна.

Подошла и я. Почти шепотом сказала она мне: " Не оставляй их, голубушка, молись обо мне. Прощай!"

И опять читала я псалтырь. Около шести утра незаметно умерла Мария Карповна. Утром ушла я домой, а ночью о. Арсений отпевал умершую. После смерти Марии Карповны темными вечерами заходила Зина и молилась у о. Арсения со всеми, кто в это время бывал у него. Павел Семенович приходил днем под видом очередного обхода своего участка или поздно вечером, заранее предупредив о своем приходе.

В шестьдесят четвертом году поступил Павел на заочный юридический факультет, окончил в шестьдесят девятом, уехал из нашего города в другую область, где и работает сейчас народным судьей.

До самой смерти о. Арсения, т. е. до осени 1973 г. посещал его Павел, а после его смерти стал духовным сыном о.В. в другом городе, куда направил его сам о. Арсений.

Отец Арсений говорил мне, что у Павла необычайно чистая душа и, даже находясь на работе в милиции, он многим делал хорошее.

Запомнился мне один вечер, разговор с о. Арсением о силе веры у человека. Было это в один из тех редких дней, когда никто не приезжал. После долгой молитвы у себя в комнате, вышел о. Арсений к вечернему чаю. Настроение у него было радостное, вначале он много рассказывал об одном офицере, встреченном им в лагере, о необыкновенной чистоте его души, самопожертвовании, вызывавшем даже уважение охраны, при этом весь рассказ был удивительно ярким и произвел на меня большое впечатление. Вероятно, я его когда-нибудь запишу.

Потом разговор перешел на тему о силе веры, и о. Арсений сказал: "У каждого человека своя сила веры, и дается она Господом в зависимости от устроения, внутренних сил и собственного духовного подвига.

Монаху или иерею, прошедшему большой путь наставничества и подвига под руководством старцев, изучавшему Священное Писание, дано много и спросится много.

А возьмите Павла Семеновича и Зину, что им было дано? Почти ничего, но в душе была искра Божия, и эту искру заложила мать, все время поддерживая ее.

Еще полностью не осознав веры, Бога, сколько делали они добра, как мы узнали после от посторонних людей.

Достаточно было загореться в душе их пламени веры и засветились они, засверкали больше, чем те, кто пришел в первый час. В жизни своей, — закончил о. Арсений разговор на эту тему, — таких чистых душой людей встречал я не раз".

Последний раз с Павлом Семеновичем виделась я в Москве в начале этого года.

КРАТКОЕ СЛОВО В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Куски огромной жизни о .Арсения лежат в этих воспоминаниях. Мы видим доброго и простого человека с открытым и ясным лицом, не впитавшего в себя ни убеждений, ни привычек окружающего мира, пропитанного ложью, корыстью, тщеславием и жестокостью, мира, который по своему образу и подобию корежил и создавал многих из нас. О. Арсений был бескомпромиссен, отважен и безоглядно предан тому, что считал истинным и справедливым. Он не жертва жестоких и яростных сил, в конце концов обрекших его на тяжелые страдания и угнетение, а человек, свободно во имя Господа избравший свой путь к Богу и с редким достоинством, самоотверженностью и простотой прошедший его до конца.

Посмотрите, как мудро, грустно и в то же время пытливо вглядывается он в лица страшных и жестоких людей, окружающих его, как пытается найти путь к их сердцу, заронить в душу искру Божию, исправить и направить к совершению добра. Посмотрите, сколько людей он спас и поддержал в трудный, а иногда и в последний час жизни. Старые и молодые, солдаты, ученые, рабочие, крестьяне, врачи, инженеры проходят перед нами, как бы высеченные из камня, очерченные крупно и ясно, при этом характеристика этих людей раскрывается полностью, и мы ощущаем подлинность жестокой и суровой жизни, окружавшей о.Арсения, что заставляет нас надолго запомнить прочитанное.

Прочтя воспоминания, невольно вспоминаешь многих и многих людей, погибших и пострадавших за веру и нас.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть III. ДЕТИ

ОТЕЦ АРСЕНИЙ

Редактор О. В. Мудрова
Корректор О. Л. Леонова
Художественный редактор Н. В. Илларионова

Рисунки О. Киреевой
Художественное оформление и макет издания
Н. В. Илларионовой

Подп. в печ. 1.04.94. 9,5 п. л. Формат 60 х 90 $^{1}/_{16}$. Объем издания 18,5 п. л.: илл.
Тир. 200 000 экз. Заказ 9593
Православный Свято-Тихоновский Богословский институт
Адрес: 113184, Москва, Новокузнецкая ул., д. 23б.

Типография АО „Внешторгиздат"
127576, Москва, Илимская ул. 7.

Публикуемое издание подготовлено совместными усилиями Православного Свято-Тихоновского Богословского Института и Братства во Имя Всемилостивого Спаса. По благословению Святейшего Патриарха Алексия II в Богословский Институт были переданы накопленные сведения о судьбах репрессированного в XX веке духовенства Русской Православной Церкви. Эти данные вместе с другими архивами стали основой для большой работы по сбору и обработке материалов по новейшей истории Русской Православной Церкви.

Редакция обращается ко всем живым свидетелям, к людям старшего поколения, к работникам библиотек, архивов и музеев, к тем, кто уже ведет эту работу, — с просьбой сообщать все малоизвестные сведения о жизни Русской Православной Церкви XX в., ее духовенстве и известных деятелях на кафедру Новейшей истории Русской Православной Церкви по адресу: 113184, Москва, Новокузнецкая ул. 23б.

"Не стоит село без праведника" — гласит русская пословица. Кто эти праведники, если стоит еще наша Россия, пройдя через страшный XX век?

Эти праведники — лучшие люди нашего народа, в которых горел неугасимый огонь веры, священники и епископы, монахи и простые верующие люди, крестьяне и рабочие, дворяне, купцы, фабриканты, учителя, военные, представители всех сословий, — расстрелянные, сосланные на мучения и смерть в лагеря, гонимые за веру в Бога, за верность тому призванию, которое было им дано Богом.

Жизнь этих людей — это самые прекрасные страницы нашей истории, пример веры, верности и мужества нам и всем последующим поколениям. Этих людей, не отступивших от Бога даже перед лицом смерти, многие и многие тысячи. Почти все они уже покинули этот мир, но живы еще свидетели их жизни, которые могут рассказать о них, об их исповедническом подвиге и мученической кончине.

Пройдет еще немного времени, и этих свидетелей не останется. Наше время — последнее, когда можно записать и собрать бесценные свидетельства о жизни многих подвижников и исповедников XX века. Собрать, сохранить и сделать известными жизнеописания праведников — важнейшая задача нашего времени и наш долг перед Богом и людьми. Народ, сохранивший память о своем прошлом, сможет надеяться на будущее, свидетельства о житиях наших новых святых — лучшее средство доброго назидания младших поколений.

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ

в Москве



Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт был открыт весной 1992 г. по благословению Святейшего Патриарха Алексия II и был удостоен чести носить имя святого Тихона, Патриарха Всероссийского.

Институт является православным высшим учебным заведением, обеспечивающим богословское образование для мирян и высшее гуманитарное образование (историко-философские дисциплины, словесность, древние и новые языки и др.). Богословско-пастырский факультет готовит кандидатов для принятия священного сана.

Выпускники Богословского Института смогут квалифицированно работать в области просвещения, образования (начального, среднего и высшего), научной и богословской деятельности, церковных искусств (иконопись, реставрация, архитектура, церковное пение), искусствоведения, журналистики, музейного дела и т. д.

На дневном отделении Института предполагается большая программа по изучению новых и древних языков. На вечернем отделении Института преподаются гуманитарные и богословские дисциплины студентам, уже имеющим высшее образование. Отделение экстерната организовано для заочного обучения студентов по программам вечернего отделения.

После успешного окончания четырехлетнего обучения студенты получают степень бакалавра. Пятый год посвящается написанию дипломной работы. После ее защиты присваивается степень магистра.

На всех факультетах имеется подготовительное отделение.

Структура Института

Институт управляется Ученым Советом и избираемым им ректором , который утверждается Святейшим Патриархом Мос-

ковским и всея Руси. В настоящее время Ректором Института избран и утвержден протоиерей Владимир Воробьев.

На дневном и вечернем отделениях Института имеются факультеты:

Богословско-Пастырский (подготовка кандидатов в клир Русской Православной Церкви, а также преподавателей богословских наук).

Катехизаторский (подготовка преподавателей истории, а также преподавателей Закона Божия и других церковных дисциплин, миссионеров, лекторов, журналистов и др.).

Педагогический (подготовка преподавателей Закона Божия для детей, на словесном отделении — преподавателей литературы и русского языка для средних школ и православных гимназий).

Церковных художеств (подготовка специалистов иконоведения, иконописи, реставрации, мозаики, фрески, золотошвейного дела, музейного дела, церковной архитектуры).

Церковного пения (преподавателей церковно-певческого обихода, регентов, певчих, специалистов по истории и теории церковного пения).

В настоящее время в Институте работают более 120 преподавателей, в том числе выпускники и сотрудники Московской Духовной Академии, Московского Государственного Университета, Московской Государственной Консерватории и ГМПИ им. Гнесиных, ВХНРЦ им. И.Э.Грабаря, крупнейших художественных мастерских и музеев Москвы, известные иконописцы, реставраторы, специалисты церковного пения.

С осени 1993 г. число студентов превышает 1000 человек.

Прием студентов

В Институт принимаются лица православного вероисповедания, мужчины и женщины. Обучение бесплатное, общежитие не предоставляется.

I. Богословско-пастырский, катехизаторский и педагогический факультеты

На дневное отделение этих факультетов принимаются лица от 17 до 40 лет.

Вступительные экзамены: Закон Божий (прот. С.Слободской); Русская история до 1917 г.; Сочинение (предлагаются темы сочинений по русской литературе, а также свободные темы).

На вечернее отделение этих факультетов принимаются лица преимущественно с высшим образованием, в возрасте до 50 лет.

Вступительные экзамены: Закон Божий (прот. С.Слободской); Сочинение.

II. Подготовительное отделение

Срок обучения на подготовительном отделении богословско-пастырского, катехизаторского, педагогического отделений – до 1 года. Вступительные экзамены: собеседование по Закону Божию; Сочинение.

III. Факультет церковных художеств

На дневное отделение принимаются лица от 17 до 30 лет.

Вступительные экзамены по специальностям иконоведение, церковная архитектура: Закон Божий (прот. С.Слободской); Рисунок; Сочинение.

Вступительные экзамены по специальностям иконопись, реставрация, мозаика, фреска, золотошвейное дело: Закон Божий (прот. С.Слободской); Собеседование и просмотр работ (любого жанра); Копирование иконы; Сочинение.

При факультете имеется подготовительное отделение. Вступительные экзамены: Просмотр работ и собеседование по Закону Божию; Сочинение.

IV. Факультет церковного пения

Принимаются лица с каким-либо музыкальным образованием, на дневное отделение до 30 лет, на вечернее — до 35 лет. Специальности: регентование, пение в церковном хоре, преподавание церковного обихода, история и теория церковного пения.

При обучении особое внимание уделяется изучению обиходной традиции Русской Православной Церкви. Предусмотрено практическое освоение церковно-певческого обихода в действующих храмах.

Вступительные экзамены: Закон Божий (прот. С.Слободской); Специальность (сольфеджио, вокальное прослушивание); Фортепиано; Изложение.

При факультете имеются двухгодичное подготовительное отделение для лиц, не имеющих достаточного музыкального образования. Вступительные экзамены: Вокальное прослушивание; Закон Божий (прот. С.Слободской).

V. Отделение экстерната

Прием на катехизаторский и педагогический факультеты отделения экстерната осуществляется на тех же условиях, что и на вечернее отделение этих факультетов. На богословско-пастырский факультет экстерната принимаются только клирики Православной Церкви — священники и диаконы.

Прием документов начинается с 1 апреля.

Адрес:
113184, Москва, Новокузнецкая ул. 23б
Тел. 233-22-89;
Fax 292-65-11 for NIKAMOSKOW box 8354



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ
БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ

В издательстве Богословского Института

ВЫХОДИТ В СВЕТ КНИГА

АКТЫ СВЯТЕЙШЕГО ТИХОНА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ, ПОЗДНЕЙШИЕ ДОКУМЕНТЫ И ПЕРЕПИСКА О КАНОНИЧЕСКОМ ПРЕЕМСТВЕ ВЫСШЕЙ ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ 1917—1943 гг.

Сборник представляет собой собранный в годы гонений уникальный свод документов, большинство из которых являются бесценными свидетельствами истории Русской Православной Церкви XX в. Это не просто один из самых крупных научно-исторических архивов, очень часто это – потрясающие мученические акты наших новых святых мучеников, бесценный материал для житий и церковных служб новым святым, для богословия, прежде всего - для экклезиологии. Многие разделы книги читаются с захватывающим интересом как еще мало известная летопись страшных гонений, обрушившихся на Русскую Православную Церковь в XX веке. В сборнике имеются краткие биографические сведения и фотографии выдающихся иерархов, списки всех епархий и правящих ими архиереев, а также всех архиереев с перечнем епархий, которыми они правили в период с 1917 по 1946 гг. Многие недавно полученные сведения публикуются впервые.

Заявки принимаются по адресу:
113184, Москва, Новокузнецкая ул., 23б
Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт
Тел. 233-22-89
109017, Москва, Пятницкая ул., 51/14, стр. 2.
Магазин "Православное слово"
Тел. 231-34-22



Желающие участвовать вместе с нами в деле возрождения святого Православия на Руси своими пожертвованиями могут присылать их по адресу:

113184, Москва, Новокузнецкая ул., 23б
Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт
Тел. 233-22-89
Расчетный счет:
Новокировский филиал Уникомбанка г. Москва,
Тек. счет 700502, код по ВЦ (р/о): 4К; МФО 212166

109017, Москва, Пятницкая ул., 51/14, стр. 2.
Братство во Имя Всемилостивого Спаса
Тел. 233-28-69
Расчетный счет:
701901 в АКБ Презенткомбанк, уч. 9М, МФО 998930

FAX: (095)—233—56—97
E-mail: NIKA@EKRAN.MSK.SU


68



Православный Свято-Тихоновский
Богословский Институт



Братство во Имя Всемилостивого Спаса